

Пермяк Е.А.
Очарование темноты

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Милостивые государи и милостивые государыни, господа рабочие и госпожи работницы! Досточтимые мастера, мастерицы, наставники и пусковики! Прославленные искусники почтенных и преклонных лет! Неутомимые и верные наращиванию нашего общего процветания зауряд-техники и техники, зауряд-инженеры и инженеры, начальники цехов и управляющие Шало-Шальвинских заводов, мастерских и рудников! Любезнейшие господа гости, ваши благородия и ваши высокоблагородия, олицетворяющие власть и закон! Уважаемые коллеги заводчики, фабриканты, владельцы рудников, приисков, лесных угодий и всего, чем знатна и неисповедимо богата наша кровная уральская земля! Мы собрались здесь, чтобы откровенно поговорить и постараться выяснить, как нам жить и работать дальше. Поводов для разговора и размышлений в этом беспокойном году как никогда много... Главный из них состоит в том, что на Шало-Шальвинских заводах нет волнений, нет стрельбы и не льется кровь... Словом, изумляюще нет ничего похожего, что происходит на некоторых других фабриках, рудниках и приисках Урала... Главным виновником нашей тишины и нашего ошеломительного процветания в оскорбительных выражениях называют меня. Называют и угрожают мне в письмах без подписей и с подписями. Если бы я обвинялся в умении перехитрить, прикормить, отуманить рабочих, то это было бы понятно. Когда же меня называют их лакеем, — называют фабриканты, лесопромышленники, пароходчики, владельцы золотых приисков, то есть буржуазия, к которой я принадлежу, мне следует ответить на это во всеуслышание. Что и будет сделано сегодня в этом самом большом здании Шальвы, куда я пригласил всех желающих задать мне любые вопросы или упрекнуть в чем-то меня... Мне, да и вам, нечего скрывать. Откровенность и спор — лучшие из способов в наши бурные дни для выяснения истины...

Так начал свою речь Платон Лукич, глава фирмы «Акинфин и сыновья».

Он, стоя в центре арены цирка, как всегда, был в легких козловых сапогах, в темно-синей рабочей куртке, сшитой из плотной бумажной английской ткани. Его русоватые волосы слегка вились. В иссиня-серых глазах читалась уверенность. Звонкий голос легко доносил все оттенки каждого сказанного им слова вплоть до галерки, где густо толпился рабочий молодежь.

На скамьях верхних ярусов сидели «Платоновы однокашники». Так называли рабочих — сверстников молодого хозяина, которым не было тридцати.

Передние ряды и кресла у самого барьера арены были заняты рабочей знатью — мастерами цехов, наставниками производственных переделов — и стариками, вышедшими на «пенсион», но продолжающими работать по мере сил в свои полусмены, чтобы не давать состариться душе и рукам.

Все они были в очень справной одежде, какую не часто носили рабочие других заводов, смежных с шало-шальвинской горнопромышленной вотчиной Акинфиных.

Пока Платон Лукич Акинфин отпивает из хрустального стакана маленькие глотки сельтерской воды, посмотрим, что представляла из себя цирковая арена в тот вечер необычной сходки, имевшей быть 30 декабря 1905 года.

Не уместившиеся на положенных для публики местах цирка перевалили за барьер арены и устроились кто на чем. На гимнастических коврах. На принесенных домотканых лоскутных полосатых половиках. Иные присели «на кукорки», а то и запросто возлежали на свежих кремовых сосновых опилках арены.

За круглым позолоченным столиком, которым обычно пользовались иллюзионисты и фокусники, сидели двое: бессменный председатель и создатель «Кассы взаимного трудового кредита», сухопарый, хорошо и просто одетый вдовец Александр Филимонович Овчаров и второй — из «Платоновых однокашников» — главный управляющий Шало-Шальвинскими заводами Родион Скуратов.

Отпив сельтерской воды и взвесив тем временем, что нужно сказать дальше, Платон Лукич Акинфин снова ступил на круглый «орленый» коврик и дал волю своему молодому голосу:

— Я был и буду тем, кем я есть, пока меня физически не лишат возможности быть самим собой. Я останусь верен унаследованному мною месту в жизни и своим убеждениям. Мне уже много раз приходилось говорить, что люди испокон веков состоят в трудовых отношениях: одни предоставляют и организуют работу, другие выполняют ее. Предоставляющие и организующие работу пусть не всегда, но чаще всего находились и находятся в лучшем положении, чем те, кто выполняет ее. Поэтому находящиеся в лучшем положении нередко нарушают обязательный закон, который я называю для себя «равновесием взаимностей», и чем больше нарушается это равновесие, тем серьезнее возникают конфликты и распри. Они с особой силой сказались вооруженными восстаниями в Харькове, Сормове, Новороссийске... В нашем сибирском соседе — городе Красноярске — и на близком к нам пушечном Мотовилихинском заводе. Восстания наиболее беспощадны там, где заводчики, где управляющие казенными заводами заботились больше о себе и меньше о тех, кто создает и производит все богатства нашей земли — от дюймового гвоздя до паровых котлов и машин...

Сначала на галерке, потом в средних рядах зашелестели рукоплескания. Когда же они уверенно были поддержаны первыми рядами и двойным кольцом кресел, где восседали старики, оживились все ряды, от красноплюшевых до полосатой тесовой галерки, круто взбежавшей под купол цирка.

Отозвалась сдержанными аплодисментами и гостевая ложа. Ее в этот декабрьский вечер заполнили приехавшие дальние и ближние заводчики. Там же находились чиновник особых поручений при губернаторе и жандармские чины в форме и без нее.

Озираючись на ложу, похлопали для всякого случая полицейские, сидевшие ноги калачиком, образуя внутреннее охранительное кольцо арены.

Теперь всем нужно было думать с оглядкой на прошлое и с проглядом в будущее. Так поговаривали в Шалой-Шальве многие, и в том числе нижние чины полиции. Уж коли сам государь-император понужден с Государственной думой править, то при таком положении всего можно ждать. Никто не знает, куда повернется жизнь. Кто мог подумать, что Платона Акинфина выкликнут в Думу. Кто поручится, что такие, как он, из молодых, да ранние, не перевернут престол и, севши на золотой фокусный столик, не объявят себя кандидатами в президенты новой республики. Чем он не президент на круглом коврике с двуглавым орлом? Чем? Послушайте, посмотрите, сколько силы в нем и еще больше за ним и вокруг него.

— Мы в Шальве еще не сумели добиться желаемых успехов в гармоническом равновесии взаимностей. Но то немногое, что сделано, избавило наши заводы от

печальных столкновений сторон, от выяснения отношений, которые нельзя назвать мирными. Но это не значит, что нам нечего выяснять...

— Да, конечно, Платон Лукич, — подтвердил председательствующий Овчаров. — Для этого мы и собрались. — И тут же спросил: — А какой будет длина рабочего дня? На всех заводах, Платон Лукич, требуют восьмичасовой рабочий день.

Платон Акинфин ответил на этот, видимо, подготовленный вопрос:

— Я всегда говорил и говорю, что продолжительность рабочего дня будет такой, какую назовете вы или любой гз вас потребует для себя. Шесть. Четыре и даже два часа. Продолжительность рабочего дня при сдельной работе безразлична.

— А плата? — спросил Овчаров.

— Плата? Если вы пожелаете, также может быть определена вами. И эта возможность вам будет предоставлена. И вы убедитесь, что гвоздь, или гайка, или любое изделие не может обходиться дороже, чем способны они быть купленными. Если производимое нами будет продаваться с убытком, то наши заводы неизбежно съедят самих себя и лишат вас возможности поработаться, а меня — поработать. Будем все называемое называть называемым...

— Зачем же ты так, Платон Лукич? — остановил его кузнец с первого в Шальве большого парового молота. — Мы, рабочие, хотим знать, останутся ли наши заработки теми же.

Акинфин едва заметно улыбнулся, потом нахмурился.

— Не вам бы, Максим Иванович, задавать этот вопрос. Вам больше чем кому-либо известно, что с первого месяца моей эксплуататорской деятельности оплата за труд на заводах росла. Не круто, но безостановочно. Все, от продающих фирме свои женские и детские рабочие руки до отдающих свой ум и знания инженеров, начальников цехов, получали прибавки в соответствии с прибылями без требований, забастовок и манифестаций. Или я лгу? Отвечайте!

Ответил гул одобрения собравшихся.

— Нами, — Акинфин перевел глаза на управляющего заводами Родиона Скуратова, — повторяю, еще мало сделано, и все же никто из вас не назовет фабрики, завода, рудника в окружности ста или двухсот верст, где бы рабочий, мастер, техник, инженер получал больше, чем такой же по специальности на заводах хищных акул Акинфиных...

— Ну зачем же опять? — остановил тот же старик Скуратов.

— Так напечатано в листовке...

В ответ крикнули:

— Ее писали не мы, Платон Лукич!

— Но кто-то же писал ее. Не я же, ваш угнетатель. Не мой же отец, «старый кровосос». Не моя же благоверная, урожденная княжна Лучинина, по матери наследница графов Строгановых... Кто-то же напечатал ее в нашей фирменной хромолитографии и приляпал на ржаной клейстер к моим воротам!

— За всех мы не в ответе, — возразил чей-то голос.

— И я тем более, господа рабочие, мастера, техники, инженеры и начальники Шало-Шальвинских заводов. Но... Но мои глаза не залепить никаким клейстером, никаким листком, будь он оттиснут на коже буйвола. Я остаюсь верен себе и в эти опасные месяцы ожесточенной борьбы... Кого и с кем — вы знаете лучше меня... Следуя закону взаимного уважения поработанных и поработителей, я поступлю в этом месяце наперекор трусливой тактике иных заводчиков и фабрикантов. Они,

спасая свое благополучие, повышают заработки рабочим. Это разумная, но коротконогая игра. А я не игрок и тем более не разумник. У меня все на виду. Прямоту называют опасной, а я никого не боюсь, кроме истины. В этом месяце впервые за все эти годы вам будет понижен заработок...

— За что? — послышался громкий выкрик, за ним свист и снова выкрик:

— За что?

И вновь свист, другой и третий...

Не обращая на это внимания, Платон Лукич, так же владея собой, не возвышая голоса, ответил:

— За злостный убыток, причиненный не только Шальвинскому заводу. Не только ему, но и всем нам. Я не хочу знать, кто вывел из строя пять самых нужных винторезных станков. Это очень большой убыток... Дело не в стоимости самих станков. За них возьмут умеющие брать англичане не так много фунтов стерлингов. Но скоро ли доставит их транспортная улитка?.. Дело в потере огромного количества болтов, которые не произведут эти насмерть искалеченные быстроходные станки. А болты нужны вот так, — Акинфин «отрезал» концами пальцев правой руки свое горло. — Нужны почти всем цехам наших заводов, рабочие которых, ваши братья по классу, будут недополучать все эти месяцы, потому что без болтов и винтов они не могут выполнить порученные им заказы. Кому, скажите, нанес ножевой удар умертвивший станки? Только ли фирме? Он ударил по престижу рабочего класса. Он преступник по всем статьям и разрезам. Так не борются добросовестные революционеры, социал-демократы, считающие себя наследниками всех заводов и предприятий. Наследники не портят, не уничтожают своего наследства, если оно, по их словам, в самом деле будет им преподнесено самой историей...

Тут Акинфин снова прибегнул к своим глоткам, предоставляя паузу для размышлений слушающим его. Минута молчания, медленно минуя, готовила развязку:

— Управляющему заводами не так трудно разыскать террористов, чинящих расправу с безвинными машинами. Еще легче администрации отчислить с завода нарушителей, отобрать у них, согласно уставу и договору с Кассой, купленные в рассрочку жилые дома. Это легко! Легче ли от этого будет тем, кто не выполнит заказы и по получит за них? Вот и решите сами, как поступить, чтобы возместить рабочим и фирме недополученное. Это не один десяток тысяч рублей.

— Это далеко за двести тысяч, — подсказал управляющий заводами.

— Ну вот, видите, — с сожалением и вздохом продолжил свою речь Акинфин. — Ваше право — опротестовать иск фирмы. Право фирмы — уволить всех отвечающих за доверенные им материальные ценности. Что горше, что больнее, что бессердечнее, решите сами, если для вас не безразлична...

Речь прервал пропитой голос с галерки:

— Хватит балаганного представления!!!

Тут же раздался выстрел.

Акинфин вздрогнул и умолк...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стрелявшему молниеносно скрутили руки. Обыскали его и отобрали три пистолета.

У стрелявшего не надо было спрашивать фамилии, узнавать о его партийной

принадлежности. Стрелял член тайного черносотенного «Союза Михаила-архангела» Василий Зюзиков, личный приказчик обанкротившегося заводчика Кузьмы Гранилина.

Не одни политические озлобления руководили Гранилиным и его верным слугой Зюзиковым, но и месть «перевертышу» Платошке Акинфину за конкуренцию.

Все было как на ладошке. Полиция не могла отбить пьяного, плачущего Зюзикова. Он рвался к приставу, умоляя арестовать его и высвободить из рук шало-шальвинских лиходеев.

— Отпустите его, — приказал пристав, — он теперь так и так не жилец в вашей округе.

— Этот выживет...

— И пусть его, — миролюбиво махнула рукой зареченская старуха Мирониха на уводимого полицейским Зюзикова и прошамкала: — Виновата ли плеть да и руки виновны ли, секущие ею...

— А если бы он убил Акинфина? Как бы мы тогда? — спросила штамповщица Марфа Логинова с недавно пущенной Платоном фабрики «Женский труд». — Гранилин все равно прикончит нашего благодетеля. Если не зюзинскими руками, так другими... У банкрота еще есть для подкупов золотишко в подпечье... Сжечь тирана!

— В своем ты?

— В своем! Волнений у нас нет! Смертей нет... Так будут! Сжечь Гранилина за старое, за новое, за три года вперед... Что рты-то, бабы, поразинули? За мной, парни! За мной, сударики!

Парни и работницы с «Женского труда», перегретые событиями последних месяцев, пошли за Марфой. До того как Марфа сожжет Гранилина, мы не должны упускать происходящего в цирке. Там шумно радовался счастливый толстячок полицейский, сидевший в первом кольце охранения:

— Жив я, жив, братушки-ребятушки! Он только в руку меня, в руку! В левую...

Полицейского положили на цирковые носилки.

Платон сочувственно проводил глазами уносимого раненого, ничем не выдавая своего волнения. Гувернер ему еще в детстве преподал основы английского спокойствия, умения выглядеть в критические минуты человеком, не разлучающимся с юмором. Он снова отпил немножечко сельтерской и, перейдя на круглый коврик, обратился к замершим рядам:

— Могу ли я, господа, продолжить балаганное представление и надеяться, что меня не будут прерывать на полуслове выстрелами?

Снова засвистели. Засвистели громче и дружнее. И тут же из-под купола посыпались листовки, послышались негодующие крики.

Перешагнув барьер арены цирка, старый кузнец Максим Иванович Скуратов громко предупредил:

— Не рискуй, Платон! Неужели ты не видишь, что творится? Требую от имени всех, кто за тебя, уйти. Теперь мы не можем поручиться... Не ручаемся, Платон!

— Не ручаемся! — многогласно подтвердили «галерка», «Платоновы сверстники» и «рабочая знать». — Не ручаемся!

Перезакаливший свое хладнокровие за три студенческих года, проведенных в Лондоне, Платон Лукич помнил и наставление старого профессора: «Не испытывайте судьбу там, где она предупреждает вас опасностью». И он с достоинством согласился:

— Что ж, если вы не уверены в себе, то как же я могу надеяться на вас...

Сожалею, что нам в этот день по удалось выяснить наши дальнейшие взаимоотношения. Мы это сделаем при более благоприятной обстановке. Вез свиста, выкриков и террористических представителей.

Сказав так, Акинфин раскланялся и ушел.

У выхода из цирка жандармы и полиция обыскивали каждого. Они воспользовались выстрелом Зюзикова как поводом для разоружения.

Теперь разоружали всех и всюду.

Дворец заводчиков Акинфиных был оцеплен двойной охраной. Полиция охраняла семью миллионера от его братьев, ненавидевших Платона за конкуренцию, за быстрое и первоклассное оснащение своих заводов. Рабочие же охраняли Акинфина от полиции. Среди нее мог найтись не один такой же «зюзиков», которому стоило рискнуть и получить пятьдесят тысяч складчинных рублей за голову опасного искусителя новой иноземной модой, ублажения рабочих коротким днем, длинным рублем и всяческими идеями «равновесия взаимностей». Зачем они заводчикам, коли плеть на Урале достигала скорых прибылей, а нужда и безработица богаче кормила фабрикантов самым дешевым в Российской империи уральским каторжным трудом...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Резной, расписной, узорчато обшитый фигурным тесом, отороченный деревянным кружевом дом злополучного Кузьмы Гранилина нельзя уже было уберечь ни от огня, ни от людей, ни от буйного приступа хмельника ополоумевшего хозяина.

— До крайней крайности он дошел, — объявил толпе ночной сторож. — До разгона дошел всей домовой челяди...

После того как опрометью последней выбежала Мохнатка и, осатанело воя, поджав хвост, исчезла в ночи, Марфа Логинова рассудительно сказала:

— Кажись, самое время поджигать...

Дом запылал, как говорили потом, сам собой. Случилось так, что и пожелавший назвать поджигателей не сумел бы этого сделать.

Неистово яркий, солнечный огонь осветил раздумянные рождественским морозом женские лица. Потеплело так, что хоть сбрасывай шубейки, платки, треухи.

Кошки одна за другой вынырнули откуда-то из-под пламени. И не две, а три. Рядом с ними удирали жирные крысы. Штук пять. Видимо, вся семья. Несчастье заставило их не страшиться своих самых лютых врагов. И врагам с опаленными мордами было не до охоты.

— Горе что каторга — роднит князей опальных и холопов кандалных, — изрекла начитавшаяся того-сего старая греховодница, чертознаева племянница Мирониха.

Но теперь дважды разгоряченной толпе было не до суесловий Миронихи. Взволнованные голоса спрашивали самих себя и всех:

— Где же он сам? Неужели ускользнул через наши четыре кольца?..

— Может, сбёг кровавый подсылатель через подземный лаз?

— Да нет, бабоньки! Откуль, какой лаз? — неуверенно разубеждал изработавшийся до костылей обезбородевший сторож. — Не иначе — в голбце отсиживается... Ежели он дымом на небо не взлетел.

Голос старика заглушил грохот рухнувшего потолка и просевшего внутрь дома мезонина. Громада искр и черного дыма взметнулась в порозовевшую небесную высь.

Окруживших дом обдало жаром. Зашипел, превращаясь в пар, просевший вместе с крышей снег.

В это время невесть откуда с всклоченной бородой, в розоватых исподниках заметался между толпой, окружающей дом, и вновь разгорающимся пламенем очумевший пьяный Кузьма Гранилин.

— Ах ты мать-прематушка, святая, пречистая богородица, Неопалимая Купина! Сжался, смилостивься...

Мирониха входила в роль. Ее морщинистое, красивое и в эти годы лицо, испаханное вдоль и поперек острыми лемехами старости, было озарено зловеще-торжествующей ухмылкой и, подсвеченное играющим на нем пламенем, пугало и молодых.

Все смолкли, перестал шипеть и огонь. Мирониха вершила суд.

— Пресвятая! Владычица! — подняла она к небесам свои руки, ставшие еще длиннее. — Призри своим очистительным пламенем окаянного раба твоего Кузьму и водвори его, самосожженного, во славу твою, в кущи райские...

Подоспевший становой урядник с двумя стражниками нашел благоразумным отдать Гранилина на самосуд. Его, буйного, озверелого, и впятером не свяжешь и не доставишь на следствие по показаниям Зюзикова.

Суд вершила Мирониха:

— Не мечись, издеватель! Опомнись! Не угоднее ли твоей душе предстать пред господом в целости, нежели помятой, растоптанной в гневе людском...

Одержимый приступом белой горячки, Гранилин с разбегу бросился в прогал стены, выжженной пламенем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Догорал огонь и в камине будуара Цецилии Львовны, жены Платона Акинфина. И этому красновато-золотистому прирученному пламени также не было дела до людей. Что ему до другого, внутреннего огня молодой женщины, кутающейся в большой горностаевый палантин?

Она уже пришла в себя после выстрела в цирке и теперь, собравшись с мыслями и чувствами, объяснялась с мужем, сидевшим поодаль на резной прикаминной скамеечке:

— Тонни, мы давно говорим, не открывая рта, но далее так стало нельзя. Я вышла замуж за идеал, нарисованный мною, которым был ты. Мы верили, что нас венчает любовь, и все остальное слило нас в одно... Я знала, что ты принадлежишь не только мне, и не придавала этому значения, надеясь, что время и здравый смысл образумят тебя. Так не случилось. Ты, Тонни, увлекся другой. Ты весь в ее власти... Ты пожизненно будешь принадлежать ей. И если бы какая-то сила, какой, я думаю, нет, разлучила вас, ты бы оказался человеком куда более несчастным, чем могу предположить я, знающая тебя больше всех других и лучше, чем ты сам.

Она остановилась. Ее большие дымчато-серые глаза предупредительно спросили: «Следует ли продолжать?»

— Говори, говори, Лия, — попросил Платон, — мне это так необходимо...

Высокий, чистый, хорошо поставленный голос Цецилии Акинфиной снова зазвучал в освещенной луной тишине комнаты:

— Я долго искала имя твоей госпоже и не нашла. Одержимость? Страсть?

Мания? Болезнь?.. Неточные и чем-то унижающие тебя слова. Хотя все они и производные от них назывались теми, кто искал ключи к тайникам твоей души.

— Глупо это, Лия!

— А умно ли уравновешивать свет и тьму, огонь и воду?

— Опять банально. Зачем ты оглупляешь меня, Лия?

— Напротив, Тонни. Твоя душа сложна и нераскрываема, как завалишинский замок, который ты чуть ли не боготворишь.

— Это же миллион чистой прибыли...

— Зачем он тебе или мне?

— А фирме?

— Фирме? — Цецилия насмешливо обрадовалась: — Наконец-то нашлось лежавшее на поверхности слово! Фирма! Как, оказывается, просто открывается патентованный замок! Не утомляю ли я тебя, Тонни?

— Пока нет. Если ты не затянешь свои замочные аллегии до полуночи.

— Нет, нет, не затяну. Но я скажу все, чтобы потом снова молчать. Молчать до нового покушения на самое дорогое, что у меня есть. Я жена и мать... И что-то, надеюсь, еще...

— Фехтуй, фехтуй! Я не буду обороняться. Кажется, выстрел Зюзикова отлично наточил твою рапиру.

— Мы не в театре, Тонни, и тем более не в цирке. Мы в нашей, и только в нашей, с тобой жизни, единственной и конечной. Ни у кого не найдется таких миллионов, чтобы прикупить к ней хотя бы одну минуту... Зачем нам все это?

— Что, Лия, «все» и что «это»?

— Это — сорок два градуса за окном... Это — побледневшая луна и съездившаяся от лютой стужи... Это — воющие волки за дальним краем ограды нашего парка. Воющие от повальной шало-шальвинской тоски.

Будто по сговору, послышался глухой, заунывный вой.

Платон подошел к окну, а за ним в звездной рождественской синеве, услужливо иллюстрируя сказанное Лией, далекий, маленький лик луны выражал отчаяние и безысходность.

— Какая-то дурацкая мистификация!

Платон вернулся на прикаминную скамеечку, и негодующий голос жены опять зазвучал тонкой скрипичной струной:

— Я вовсе не утверждаю, что за первой пулей последует вторая, хотя можно предположить не только выстрелы, но и взрывы. Что стоит поднять на воздух наш дом, двери которого так неразборчиво гостеприимны! Мы обречены!

Волчий вой снова отозвался глухим далеким отзвуком сказанного Лией.

— Так что же, бежать отсюда?

— Зачем же, Тонни, бежать? Вернуться!

— Куда?

— В цивилизацию. В свою стихию.

— Лия, мы русские!

— Демидовы тоже не иностранцы, но предпочитают жить не в Тагиле, а в благодатных местах...

Платон перебил:

— Это не Демидовы, а демидыши!

— Кем бы они ни были, Тонни, им ничто не мешает владеть и повелевать из

своих далеких резиденций заводами.

— Им только кажется, что они владеют и повелевают. Царю тоже кажется, что он царь, а не коронованный какаду. Заводам, как и государствам, нужны не повелители, а дирижеры, любящие свою музыку и влюбляющие в нее свой оркестр, умеющие слышать его в созвучии всех играющих и каждого порознь, будь им подписывающий пикколист или подзвучивающий на одной ноте неизвестно кто. Допустим, молотобоец. Он тоже музыкант. Первые скрипки украшают оркестр и делают музыку, а барабан может испортить ее.

— Твой Скуратов отличный дирижер. Он вдумчив, честен и одарен. В этом смысле он музыкален не менее тебя, Тонни.

— Может быть, и более, чем я... Но Родик не пишет партитур.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Цецилию не убеждали, да и не могли убедить доводы Платона. Она не понимала, да и не могла понять мужа. Ее природе было чуждо все заводское, шумное, дымное, отравляющее, калечащее. И странным, надуманным и чем-то оскорбительным показалось ей сравнение несравнимого. Как мог Тонни, тонко чувствующий музыку, обожающий Чайковского, употреблять высокие слова применительно к чаду кузниц, к грохоту молотов и заводской обыденщине?.. Но до способов ли выражений мыслей ей теперь. Партитура так партитура. Пусть! Подумав так, она сказала:

— Партитуру, Тонни, можно писать и в Неаполе, и во Флоренции, а музицировать по ней в Шалой-Шальве.

— Черта с два! — вскочил Платон и бросил прикаминную скамеечку в огонь. — Музыканты этого рода превращались в жалких шарманщиков и тому подобных гранилиных...

Цецилия, видя, что разговор перешел с «пиано» на «фортиссимо», не захотела далее продолжать его в том же ключе, обрадовано воскликнула:

— Как мило с твоей стороны, Тонни, твоя маленькая скамеечка дала такой большой свет! В полумраке все видится темнее. Завтра наступит последний день этого страшного года. А потом будет видно, кому и в кого стрелять...

— Ты, да и азы все будете стрелять только в меня. А я непробиваем, Лия. Непробиваем! На мне панцирь моих идей, и за мной люди, верящие мне и убедившиеся в силе моего равновесия взаимностей...

— И прелестно...

Она приникла к нему, а затем кивнула маленькой головкой на дверь спальни:

— Уложи меня. Я боюсь волков...

Платон исполнил прихоть своей неуступчивой противоположности. При всех различиях с ним она для него была опорой и в размолвках. Споря с женой, Платон проверял задумываемое. И всегда либо начисто разубеждался в нем, либо вдохновлялся им.

...Скамейка ярко и быстро сгорела в мраморном камине, а дом Гранилина догорел только к утру. Мастерские и сезонно работавшие кустари «замочно-скобяного механического заведения» забросали снегом головни, чтобы не дать сгореть дотла окорокам и полопаться бутылкам в при домовом погребке, решили артельно воспользоваться питьем и едой.

— Наш пот и труд в его погребке, — сказал старик сторож. — Грех чужое брать,

а свое вернуть сам бог велит.

— Пускай он же велит и простить нам гулевы поминки по надругателю нашему и тирану, — поддержал сторожа истощавший молотобоец. — Кто как умеет, тот так и воздаст свою хулу за долгое истязание. Кому как надо, тот так пусть и судит о нас. Разбирайте забор, стелите помост. Всю вину беру на себя, если найдется такой судья, который опорочит нас за это святое отмщение!

— Святое! — повторил сторож. — Ибо есть непростимые прегрешения, за которые не сыскать возмездия, и всякая кара за них будет мала...

Сказанное нашло неожиданный отклик. Вдруг вспомнилось и то, что забылось. Битье. Увечия. Надбавки рабочих часов. Убавки заработанных рублей. Девичья повинность перед венчанием. Дармовой ребячий труд. Высидка в заводской тюрьме ни за что ни про что. Глянул не таки в сырой каземат. Попытки жаждой и голодом. Порки с присыпкой соли. Обязательные подношения к праздникам. Травля собаками...

Вспомнилось столько всего, рассказывалось про такие глумления, что и не пожелавшие участвовать в непотребном пиршестве не расходились по домам.

Теперь уже говорилось не о выстреле в цирке, не о подкупленном Зюзикове, а о зверствах Гранилина. Не все и не всё знали. Иным легче было носить в себе свою боль и молчать. Боялись хозяина до последнего дня. На отшибе, в глухом лесу, прятался рабочий поселок гранилинского замочного заведения. Грамотных на десятерых один. Люди привыкли жить в ярме. Запугивания Гранилина каторгой, виселицей держали в страхе мастеровых. А теперь...

Теперь больше нет страшного пугала. Нет и распроклятого дома, куда приводили на расправу к хозяину. Нет и главного живодера Зюзикова. Нет! И...

И сами собой развязались языки. Сама собой хлынула горечь злых обид за укороченные жизни, за искалеченные судьбы. И как удержать теперь в себе проклятия, как не предать им ставшее пеплом и золой?..

До погребка дорылись легко. Еще легче забор превратили в настил. Оставалось дождаться Кузьму Завалишина. Он у Гранилина выстрадал больше всех. А теперь Кузьма главный замочник Акинфиных. Туз бубен. Не иначе, тысячник. Свой дом о четырех горницах. Две лошади. Одна просто так, другая для выезда. Приедет ли? Что-то долго за ним посыльные бегают.

— Приедет! Как не приехать! Он же насквозь наш, тутошний, родной! — убеждал сторож.

Приехал! Прикатил гусевой на обеих-двух! В жеребковой дохе, в каракульчатом треухе, а сам все такой же...

— Здорово, братья-брательники-братки! Как ночевалось, как спалось? Видать, жаркие были сны?

Ответили приветливо. Повели на помост.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Позднее предновогоднее солнце, переваливши в лето на воробьиный скок, осветило на помосте до крайности забитый, темный люд. Не верится, что все это происходило в год великих потрясений, в год первой народной революции в России.

Пройдет немного лет, и эти люди спросят у самих себя: было ли такое?

Было!

Вот же они, вот гранилинские доведенные до нищеты мастеровые. Всмотритесь в их испытые лица. Потерявшие надежды люди молчат и ждут, что скажет, как повернет их жизни разбогатевший удачник Завалишин. А он, куражась, уже забыл, что так недавно был таким же, как и остальные, сидящие вокруг него.

— На морозе водка хуже берет, — делится с друзьями Завалишин. — Пью-пью — и ни синь-пороха! Неужели она жижнет от холода? Ну, да шут с ней! О деле поговорим...

А дело заключалось в том, переходить ли гранилинским рабочим в Шальву или перестраивать свое заведение и остаться при своих домах.

— К нам-то бы лучше вам, братья, — сказал Завалишин. — Сразу плата большим рублем... А этот заводешко, пока еще в нашенский вид приведут, на хрене да редьке вас повытомит.

— Зато здесь мы дома, — сказал свое слово старик на костылях. — И речка, и пруд, и огороды свои. А как пустят его в новом облиции, и коровенки будут свои, а то и лошади. У нас же раздолье, не то что в шало-шальвинской густоте.

Свой завод был сподручнее для всех, но до того, как старые мастерские перелопатят на Платонов лад, их нужно было купить. А купит ли его строптивый Платон Акинфин?

— Он не купит — я куплю, — топнул о помост Завалишин. — Подумаешь, деньги! Во что можно оценить две завозни да пять развалюх?

— А кто продаст? Наследница-то в монастыре. Вдруг да монастырь и заберет монахиново наследство? Опять закавыка.

Но закавык в этот пьяный день не было. Опять встрял старик сторож на костылях. Он про Гранилиных знал и то, что они не знали про себя.

— Оно так! Гранилин заставил битьем свою Зинаиду Сидоровну доброй волей пойти в монастырь. А как постриг ее подоспел, бунты начались, сходки, гам и равноправие. Тут-то раба божия Зинаида, которой прочили быть сестрой Зиновией в монашестве, восхотела повременить. А вдруг да воля для всех выйдет? Как она тогда размонашится? И настоятельница монастыря тоже попржижала свою старую плоть к зашатавшейся под ней скамье. Так что купить-продать теперь — раз-два-три. Она же полновластная наследница.

Как на сцене, появилась на помосте в черном одеянии Зинаида Сидоровна. И, как в театре, кто-то подкинул ходовую реплику:

— Легка на помине, наследница... Как нам теперь — вон?

— Зачем лее вон? Разве кто слышал такое от меня?

— Так неловко, поди, Зинаида Сидоровна, этак-то разгульно поминать?

Гранилина сразу нашлась и сказала готовые слова:

— По покойнику и поминки, по поминкам и обряд. Налейте и мне, мужики, зауспокойную. Трезвой-то я постесняюсь сказать ядреные поминальные слова моему суженому-ряженому, самым-самим безрогим пьяным чертом даденному.

Сказала так она и села рядышком с Завалишиным на откинутую полу его жеребковой дохи на кенгуровом меху. Выпила стаканчик и, не закусывая, другой. А он ей, как ровня:

— Да как же ты, Зинушка-голубушка, в такие ярые годы — ив монастырь?

— А как же ты, мастер, с такой золотой головой столько лет у него в шавках был?

Слово за слово, рюмка за рюмкой, стакан за стаканом и белое, и красное, ветчину топором нарубают, откуда-то и колбасная снедь выискалась. Ее тоже топором да в рот.

И дальше все так же, как по писаным ролям на представлении.

— Я все слышала про покупку завода, — первой начала Зинаида Гранилина. — На ловца и зверь бежит. Я с превеликим. Только не на скорбном пепелище такие дела делаются. А позвать мне тебя, господин богатея, теперь некуда, — сказала она, подмигнув Завалишину. — Я полностью погорелая вдова. Ни обувь, ни одеть, ни голову приклонить...

— Так дуй ко мне, Зинаида Сидоровна! — пригласил Завалишин. — В моем доме и хороводу не тесно будет.

Языки начали, глаза договорили. Пересела повеселевшая Гранилина с завалишинской полы в его ковровую кошевку — и хлысть по обеим-двум да махом-бегом в Шалую-Шальву.

«Так начался и не кончился этот долгий сказ», — говаривал в старые годы «Бабай-Краснобай», и мы тем же складом этот пересказ прервем и доскажем в свой срок, когда этой нитке надо будет воткаться в наш пестрый холст. Теперь же нам необходимо не воткать, а вернуть тонкий и острый шуруп о винтовых станках.

Платон Акинфин знал, зачем и что нужно было сказать о пяти искалеченных станках. Сказанное отозвалось громче, нежели можно было предположить. Оно коснулось сотен рабочих, и не только тех, кто производил изделия, так или иначе зависящие от винторезных станков.

Овчаров Александр Филимонович подозревал, что слесарь-механик Сергей Миронов, принятый пусковиком в механический цех, подослан заводчиком Потаковым, чтобы выведывать новинки главного шальвинского завода. Для этого были основания. У Потакова на небольшом его заводе, сопернике по роду изделий с Шальвой, сразу появлялось многое из того нового, что придумывалось, изобреталось ценой немалых усилий и затрат фирмы Акинфиных.

Прежде не было до этого дела, теперь же, когда заработок рабочих стал зависеть от сбыта предприятия, стало многое безразлично. Овчаров не мог уличить Сергея Миронова в порче винторезных станков, а намеки давал. Не сомневалась в этом и старуха Мирониха, которой Сергей Миронов доводился внучатым племянником, и старухе хотелось его спасти. Она отлично понимала, что Платон и пальцем не пошевелит, если будет доказано, что станки порушил Сергей. Рабочие сами его пускай не прикончат, но житья не дадут. Изведут. Затравят. Выживут. Такое бывало уже в Шальве.

Время не ждало. Запас болтов и винтов малых диаметров на исходе. Припереть Сергея Миронова легко. Но какая польза? Накажут, ко этим станки не вернешь.

Нашелся выход, при котором, не уличая Миронова, Овчаров вернет станки. Он пришел к Миронову утром в предновогодний день и сказал:

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Як тебе, Сергей Прохорович.

А тот:

— Не угодно ли, Александр Филимонович, с наступающим рюмочку шустовского пятирублевого? Мигом раскупорю.

— Это успеется, Сергей Прохорович. До шустовского пятирублевого хочу попросить тебя раскупорить дорогую двухсоттысячную потаковскую бутылку с зело ядовитым питием.

Миронов переменялся в лице, и это было замечено Овчаровым.

— Как понимать ваши слова, Александр Филимонович?

— Прямо. И только так, как я говорю, напрямки и один на один. Я знаю, кого подкупил Антип Сократович Потаков. Знаю, кто и зачем погубил пять станков. Мне жаль погубителя. И я прошу тебя помочь мне спасти его. Спасешь — и этого разговора не было. От Кассы награда, от фирмы — другая.

— А как и что я сделать могу?

— Ты же не ссорился с Потаковым, уходя от него. Полюбовно разошлись. Он мало платил, ты же хотел больше получать. На что ему сердиться на тебя...

— Так-то оно так, но как я ему скажу? Не пойманный не вор.

— А ты его и не лови, а просто любезнехонько попроси дать нам на два месяца, пока идет заказ, три своих таких же станка, которые он купил, точь-в-точь как наши и вслед за нашими...

— Александр Филимонович, — едва не плача сказал Миронов, — да разве он даст свои станки...

— Попросишь по-свойски — даст. Неужели он не пощадит человека, подосланного им совершить это злое преступление?.. Не отвечай, — предупредил Овчаров. — Взвесь свои возможности. Разве тебе не хочется обелить жестоко обманутого?

Овчаров как пришел, так и ушел, ввернув тонкий и острый шуруп в душу Миронова.

Переживать ему было некогда. Лошадь долго искать не пришлось. Двадцать верст не сто. К полудню Сергей был у Потакова. Он встретил своего лазутчика в беличьем халате.

Выслушав Миронова, Антип Сократович побледнел куда более, чем Сергей, слушая Овчарова несколько часов тому назад.

Скоро думающий и решающий Потаков понял, что у него есть один-единственный ход: прогнать провалившегося шпиона, отказаться от всего и, «сочувствуя» Акинфину, выполнить его заказ на винты и болты.

Однако же не из тех пугливых рябчиков был Сергей Прохорович Миронов. Он потребовал недоданную тысячу и предупредил:

— Я ничем не угрожаю вам, Антип Сократович, но за шальвинских слесарьков не ручаюсь. Вы сами понимаете. Меня засудят. Пусть. Но если вас... Подумайте... Есть время по-хорошему...

— Прочь! — закричал, затопал, трясаясь и потея, возмущенный Потаков.

Изгнанный, разъяренный Миронов не помнил, как он оказался в Шальве. Дома он разрыдался. Хотел наложить на себя руки. Зачем ждать, когда наложат их на него другие! В пруд головой — и прости-прощай, удачливая жизнь.

— Никто меня теперь не спасет, — жаловался он бабке Анне, той самой Миронихе, которая теперь ходила в опознанных ведьмах.

— Вот что, птенец... Я тихо думаю, да круто решаю. Ныне отдание Рождества Христова и день праведного Иосифа-обручника и царя Давида. Завтра день святого Василия Великого... Помолю-кось я им всем троим, может, какой из них и введет в разум Антипку Потакова. А ты с этого часа будь на людях. На людях... Не то проклянута! И боле со мной ни словечушка!

Засветло вечером пришел в механический полупустой цех Сергей Миронов и сказал:

— Из пяти изувеченных станков хоть два, да соберу. Кто будет помощничать? Набралось много желающих. Сергей отобрал шестерых.

— Новый год, ребята, встретим, когда пустим...

Это в цехе. Теперь посмотрим, что было дома. Дома Мирониха укладывала в плотный мочальный зимбель пороховой студень. Так она называла динамит, которого на рудниках можно было достать легче легкого. Никому он был не нужен, разве что для глушения рыбы. У запасливой старухи в амбарушках-погребушках берегся на случай и змеиный яд, и вяленая печенка ястреба-стервятника, и флаконное, припечатанное масло из лампы у раки с мощами Симеона праведного. Кому что. Мало ли... И в сухих муравьиных яйцах бывает нужда. И медвежье мясо требуется...

Уложив динамит в новый зимбель, с которым она ходила только на большой ярмарочный базар, Мирониха отправилась по той же дороге, по которой ее внук сегодня сгонял в два конца.

Двадцать верст не сто верст, но для старухи в семьдесят два года это пять часов ходу, а то и шесть, если мороз будет мешать дыханию.

Дойдет! Ноги не доведут — месть доставит. Он сбил внука, он охмурил его подачками — ему и отвечать.

— Ответишь, проклятый, за все ответишь, — истово перекрестилась Мирониха.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Балы! Во всех богатых домах балы! Кто победней, устраивают дома новогодние вечера или идут к своей ровне. А где есть места для сборищ, празднуют встречу там.

«Касса взаимного трудового кредита» дает ночное представление. Настоящих артистов мало, зато много доморощенных. Своих. И борцы, и фокусники. Дрессированные коты, и белые мыши. «Заграманичные клоуны» и «скоморохи с-из позапрошлого века для радости простого человека». Чего только, чего не придумает народ, если он сыт. И в смоле вымажется, и в перьях вывалается, лишь бы посмешить и самому посмеяться. А перед двенадцатью часами всем по сороковке вина и сайка с икрой, хочешь — с копченой колбасой на тот же билет... Мало — буфет рядом. Если и этого неостанет, иди допивать домой.

В этом году Платон не поздравит в цирке. Хватит с него одной стрельбы. А сорокаведерную платоновскую выкатят Скуратов и Овчаров. Без этого нельзя. Солнце может не взойти первого января, в домне может оказаться козел. Пруд обмелеет допрежь марта...

Словом, нельзя!

В белокаменном дворце Акинфиных в ночь под Новый год задолго до рождения Платона бывали «торжища ряженных». Позднее их стали называть балами-маскарадами. В этом году намечался такой же, но тридцатого декабря Цецилия Львовна сказала Акинфину-отцу:

— Не правда ли, па, к нам весь этот год никто не приходил без маски, и хотя бы один день нужно побыть без них.

— Резон! — ответил свекор. — И даже два. При маске легче быть и при пистолете.

— Этот второй резон меня и беспокоит. Прикажите мажордому маскарад отменить.

Так и было. Собрался узкий круг. Управляющие заводами. Инженеры. Три

доктора. Семья Скуратовых. Отец Никодим в расцвете сил и лет вместе с рыхловатой попадшей в атласах и каменьях. Из коллег-заводчиков пожаловал хмурый властитель руд и доменных печей Молохов с молчаливой женой и щебетуньей дочерью Агнией. Осмелился явиться гробовщик-монополист по фамилии Лихарев, по имени Урван, которому не кто-то, а сам бог дал это имя, метя шельму. Ему мог мягко дать отворот величественный мажордом, но дочь его Олимпиада так хорошо была костюмирована под королеву и к тому же отличалась женской добродетельностью после лафитника ликера, что пришлось сказать «милости просим» и помочь снять шубу. С Урвана — бобровую, с Липочки — соболью.

На тройке вороных примчался Антип Сократович Потаков с жирными подбородками и с тощей женой. По дороге Потаковы едва не сбили старую Миронику, несущую им динамит. Следовало бы назвать еще и еще прибывших на бал, если б не боязнь, что имена приехавших не будут запомнены и станут утомительны в перечислении.

В главном зале во сто цветных лампочек горела елка. Это стало первой пробой. Электричество пока было еще редким, а электрическая елка первой. Это для маленького, первого внука Вадимика Акинфина.

Дороже и проще всех была одета Цецилия. Ее темное платье и она сама при бриллианте незнаемо скольких каратов, именовавшемся «строгановским», были очаровательны. Такой камень украсил бы и рубище. Однако и в рубище не скрылось бы все то, что всеми называлось «божественным сложением». Известно, что сколько богов, столько же и божественных сложений. Сложением Лии, по всей вероятности, занимался Аполлон в соавторстве с богом змей. Отсюда ее гибкость, маленькая головка и удивительная пластичность рук.

Мужчины были одеты фракчно и сюртучно, только Молохов остался верен помеси купеческой поддевки с полукафтanjem грозненских времен. Он мог. У него таково состояние, что ему позволительно явиться и в подряснике, и в римской теге. И не только не осудили бы, а принялись подражать.

Платон Лукич тоже мог бы сесть за парадный стол в своей рабочей куртке. А он в отличном фраке, как и его родитель Лука Фомич. Они оба умеют носить фрак. Ну, Платон Платоном, он бывал и в Букингемском дворце, а вот у Луки в эти годы откуда такая статья? Только под мышками малость сыро да в брюки с тужиной влезают ноги. А так может сойти за графа, если, разумеется, не откроет рот.

Антип Сократович Потаков нарядился в зеленый фрак из бильярдного сукна. Он не знал об отмене маскарада и сожалел, что ему не удалось изобразить короля кия и пятнадцати шаров. А теперь ему пришлось оставить в гостинной на столике маску и корону с пятнадцатью зубцами, ювелирно вырезанную и составленную из пластин слоновой кости, инкрустированных инициалами имен тех знаменитых бильярдистов, которых он «положил», и цифрами значительных сумм, выигранных у них.

Разглядывая корону, желчный Молохов, также проигравший кое-что Потакову, сказал:

— Ты бы, Антип свет Сократович, шарами-то больше накатал, чем за дельным деланьем бубенчиков-колокольчиков. Хлопотны они и зело не круглы. В лузу целишь, а они от борта и в прогар.

Слышавшие это сдержанно улыбнулись, сводя на шутку сказанное всерьез. Все знали, о какой «лузе» говорит Молохов. На бильярде конкурентной борьбы невозможно было скрыть хитроумную наивность потаковской игры.

Он, подучившись в технологическом, вывез из Петербурга кроме совершенной технологии игры на бильярде столичные манеры и познания в заводском деле. Познания ограниченные и непередовые. Получив в наследство после смерти отца, Сократа Потакова, прибыльный завод, изготавливавший разноразличные ходовые изделия на потребу деревни и рабочего быта, в том числе колокольцы, он захотел больших доходов. Чем, в самом деле, он плоше Акинфиных? Желание походить на них вызвало подражание. И, как бывает, подражающий не превзошел того, кому он подражал. Копия и на этот раз оказалась хуже оригинала.

Прибыли сменились убытками. Убытки породили недозволенное и привели к преступному, уголовно наказуемому.

Рыбак рыбака чует издали, а рядом-то уж тем более. Те, кто хотел знать, знали, что поломка станков была нужна только Потакову, стремившемуся сбыть залежавшееся у него, повторяющееся производимое Шальвинскими заводами. Самоуверенность и глупость вынудили Потакова продолжить игру краплеными картами и тем самым выболтать то, что еще можно было скрыть. Он любезнейше и заботливейше предложил Акинфину:

— Драгоценнейший Платон Лукич, сокрушаясь вашим горем, я по-соседски, по-дружески могу поставить вам винты и болты в нужных количествах. Заставлю работать моих нарезчиков ночью и в воскресенье...

— Ваше внимание, Антип Сократович, меня трогает до слез. Я всегда видел в вас достойного единомышленника в процветании промышленности и хотел ради исключения неизбежной конкуренции подарить вам некоторые из тех патентованных изделий, от производства которых я откажусь, во имя вашей монополии на них.

Потакова поразила эта щедрость. Он знал, что Акинфин мог это сделать. И тогда можно бы жить рядом с ним и не враждовать. И он даже хотел сказать, что заказ на винты и болты будет выполнен бесприбыльно, по заводской стоимости, но сказал:

— Разумеется, ночная и воскресная работа удорожит...

— Да, да, да... Несомненно, удорожит... Но не сегодня о делах. Нас уже просят к новогоднему столу. Вы мой гость, и я хочу быть галантным хозяином...

Они прошли в большой обеденный зал, называвшийся при деде Фоме пиршественной палатой.

Палата, получившая новое название, была обновлена полностью. Вместо тяжелых, с высокими спинками, обитых кожей стульев пришли легкие, удобные полукреслица красного дерева. И вместо большого стола, изображающего букву «П», появились небольшие квадратные столы, которые можно было расставлять порознь и соединять вместе.

Лакеи были переименованы официантами. Их было в этот вечер до двенадцати. Большая часть из них набиралась из молодых рабочих, наученных носить белый пикейный пиджак, крахмальную сорочку с черным бантиком и тупоносые модные башмаки. Пять рублей за вечер. По окончании вечера доедай недоеденное и допивай недопитое. Охотников поофициантить за синенький билет, а потом еще принести домой «остатки сладки» находилось в каждом цехе больше, чем требовалось. Мажордом выбирал тех, что посмазливее, попонятливее, что умели перенять гибкость в движениях, учтивость в словах и заучить пяток-десяток французских ресторанных фраз.

По-французски приглашали официанты гостей и умело рассаживали их за столы, кому-то сдвигали по два, по три стола в один, кому-то сервируя отдельный семейный

стол, — например, отцу Никодиму. И вино ему отдельное. Церковное. Красное. Разбавленное, по подсказке Платона, душистым коньяком. Как-никак Никодимка его заединщик счастливых детских лет. Он, долговолосый, тоже был стриженным мальчиком, играл в сыщиков и воров, бил лаптой по мячу, ловко кидал шаровки по городкам. Друг!

Здесь все в этот вечер друзья. Одни бывшие, другие настоящие, третьи будущие.

Весело начавшись, ужин шел нарастающе весело к своим двенадцати порубежным часам года старого и года нового.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тихо шла к своим роковым двенадцати часам Мирониха. И чем ближе были они и ее цель, тем замедленнее шагали ее старые костлявые ноги. Не от усталости. Нет. Озлобление им придало много былой резвости. Не опоздать боялась она, а опередить бой колокола на каланче потаковского завода. Прийти раньше времени не гоже. Хотелось все сделать в срок. С последним ударом двенадцатого часа. А на ее мужниных серебряных точных часах, которые она сунула за пазуху, всего ничего — одиннадцать с минутами. Куда она денется от светлых, от новогодних окон рабочих домов. Все встречают Новый год. Не только те, у кого есть чем встречать его, но и те, у кого только капустные пельмени или дряблый холодец. Он тоже придет к ним и ничего не принесет. Сегодня будет как вчера, только число новое, а похмелье такое же.

Не зайти ли, подумала про себя Мирониха, в заброшенную лесную караулку? Здесь ей все знакомо, до последнего кусточка и уголочка. Сто раз хаживала она и летом, и зимой по этой лесной глушине, когда внук Сергей работал у Антипки Потакова. И завернула в избушку. Там теплее, чем в лесу.

Зашла. Села на лавку. Проверила, ладно ли воткнул капсюль с негасимым ни на ветру, ни в снегу, ни в воде фитилем. И оказалось все как положено. Как у рудничных вскрышников, как сама она со стариком-покойничком, светлая ему память, закладывала, когда доводилось в заливных лесных озерцах оглоушивать матерых щук.

Спички и трутовое кресало тоже проверила. Хорошая искра, и трут сух. Глеет во всю головушку. Теперь только дожидаться до без четверти. Сделает свое дело и пойдет к своей товарке по целительным корням и травам. Придет и умнехонько наврет ей, что в последний час каждого пятого года, раз в пять лет, в каждую пятую молодую листовку входит отгонная сила от потери памяти. И даст ей с десятков верхушечек на пробу, и пожалобится, что листовницы не растут в шало-шальвинских лесах.

Уложив все, как было, в зимбель, засыпав мерзлой окуньковой мелочью свою взрывную смесь, Мирониха закурила маленькую трубочку и принялась ждать.

Ждали и гости во дворце, глядя на большие стрелки старинных акинфинских часов. Они сверены по телефону, появившемуся в Шальве два года тому назад. Затея была дорогой. Но Платон Лукич подсчитал, что дороже стоят беганье людей и потеря времени. И в течение года были связаны все цехи заводов и квартиры нужных людей, в том числе и мастеров, через центральную станцию на сто номеров. Теперь увеличивали ее до двухсот.

Шальвинская почта сверила по телеграфу часы, так что все было из тютельки в тютельку до десяти секунд, на которые никто еще в те годы не мерил время, кроме докторов, считавших пульс.

В цирке уже закончено представление и розданы сороковки и сайки с икрой. Сорокаведерная бочка с золотыми обручами готова к выкату. Родион Скуратов перешел из дворца в цирк и набело зубрил поздравительную здравицу, написанную Платоном.

В центре арены установлена «царь-пушка», которая выстрелит разноцветными огоньками и также разноцветными листочками с надписью: «1 января 1906 года».

Председатель Кассы Александр Филимонович Овчаров был затейливым и дошлым выдумщиком. Листок и полушки не стоит, да дорого будет оценено на его обороте поздравительное обещание:

«С Новым годом, шальвинцы! С новыми заводскими радостями! С новой прибавкой платы! С новыми обновками в семье!»

Вышли уже на арену два шута. Один гороховый (техник из литейного цеха), другой бобовый (табельщик из завода кос). Оба они истошно спорят, кому палить из пушки. Овчаров, пропустивший до этого три маленьких, мира их, говорит:

— Послушайте меня, шуты гороховый и бобовый. Тому палить, у кого часы не забегают и не отстают. Проверьте их.

Шуты вытащили часы по тарелке величиной, стрелки которых и на галерке видны. У одного девять, у другого три часа.

В цирке залиvistый хохот молодых и смех до кашля стариков.

Шуты принялись заводить часы. Один — амбарным ключом, другой — тележным. Одни часы, заведясь, застучали по-кузнечному, из вторых повалил сизыми клубами дым.

В цирке восторженный рев, оглушительный хохот. И вдруг... Вдруг все смолкает. Где-то под куполом цирка послышался первый удар невидимого колокола громкого боя! За ним второй!

Везде, на всех колокольнях, башнях и каланчах Шалон-Шальвы, минутой позже, минутой раньше, колокола отбивали двенадцать часов. Отбивались они и на каланче завода Антипа Потакова.

Перед двенадцатым ударом прислужник цирка вручил шутам пылающие стебли-факелы: одному — гороховый, другому — бобовый. При двенадцатом ударе факелы поднесли к пушке.

Замер цирк! Мгновение — и пушка глухо выстрелила в зенит. Сноп разноцветных огней! Туча сверкающих в огнях листочков!

На арене в праздничной одежде, торжественный Родион Скуратов, главный управляющий всех шало-шальвинских заводов, сын кузнеца и внук кузнеца. Он подымается на трибуну в виде четырехскатной лестницы, на каждой ступени которой обозначены цифры лет, начиная с 1902 года, памятного в Шальве появлением молодого хозяина и переменами в заводской жизни. Лестница кончалась площадкой с надписью: «1906 год».

— Господа рабочие, мастера, техники, инженеры и все присутствующие... — начал заученно и громко Родион.

Такою же здравицу, с некоторыми изменениями, провозглашал во дворце Платон Лукич. И всем было весело и во дворце, и в цирке. Хлопанье пробок, выстрел новогодней золотой «царь-пушки» не заглушили бы, если б и могли, протяжный, глухой рев взорвавшегося динамита, будь этот взрыв в пяти — семи верстах. Он же произошел за двадцать.

Потаков, упиваясь звоном бокалов и шампанским, и в сотую долю не мог

представить того, что произошло. Он не узнает об этом и час спустя. Шальвинский телеграфист, приняв все поздравительные телеграммы и отправив их с доставщиками, решил самопоздравиться одной из присланных бутылок благодарными за телеграммы шальвинскими господами.

Напрасно аппарат Морзе настойчиво выстукивал условные позывные Шальвы: «ШЛВ». Телеграфист спал. Наконец аппарат разбудил его. Встрепанный, он с трудом переводил в слова тире и точки.

Телеграмма извещала: «**НЕМЕДЛЕННО РАЗЫЩИТЕ ПОТАКОВА У НЕГО ДОМА ВЗРЫВ**». Подписи, как и адреса, не было. Телеграфист знал, где Потаков встречает Новый год.

Посыльных уже нет. Бежать самому и оставить дежурство нельзя. Трезвея от волнения, он вспомнил о телефоне и бросился к нему.

— Центральная станция, экстренно, первый номер, громкий звонок к самому.

Телефонистка, бодрствовавшая в эту ночь, разъединила Платона Лукича с поздравлявшим его дежурившим по заводу инженером. Платон, сделав ей замечание, услышал голос:

— Платон Лукич... Беда... Пришла телеграмма о взрыве дома Потакова...

Акинфин попросил несколько раз перечитать телеграмму и приказал телеграфисту немедленно выясните, какой взрыв, что взорвано, есть ли пострадавшие, и просил незамедлительно позвонить ему по телефону.

Долго раздумывал, сказать или нет об этом Потакову и как сказать... Может быть, это злая ложная весть под Новый год? У Потакова было кому это сделать. Он умел прижать и любил недодать, пообещать и не выполнить обещанного.

Ко всему этому во дворец пришли ряженые. Человек двадцать. Во главе с Овчаровым в облике Кащея Бессмертного, с казной в кошеле — с шоколадными рублями, обернутыми в тонкую золотую фольгу. Таких рублей «начеканили» тысяч с пять и завтра будут продавать по пятаку в пользу Кассы, а здесь господам рубль за рубль или кто сколько может «в кружку».

Нигде Овчаров не упускал возможности добыть лишнюю копейку для своей Кассы. В ней была вся его жизнь, весь он и все, что составляло смысл и цель его существования. О нем особо и подробно еще будет сказано. Теперь же послушаем, как деликатно и мягко предупредил Платон Потакова:

— У вас, Антип Сократович, что-то дома неладно... Поговорите, пожалуйста, с дежурным телеграфистом.

Долго добивался подробностей Потаков. Одних нет дома, другие легли спать. Его беспокоило, что с домом, что с сыном. Наконец удалось выяснить, что дом цел, сын спит, а завод уже невозможно спасти. Взорвана плотина, вода и лед смывают, срезают все на своем пути.

О жертвах Потаков не спросил. До людей, как заметил Платон, ему не было дела, и Акинфин попросил «состучаться» по телеграфу и спросить о людских потерях. Выяснилось, что пострадал только караульщик-старик, да и тот, благополучно отрезвев, выплыл на льдине в луга и теперь сушится у псаломщика, отпаивается от простуды белоголовочной и закусывает солеными груздями и рыжиками.

Платон не мог сдержать улыбки, а не сдержав ее, устыдил себя за радость, которую он испытывает. Так нельзя!

Можно радоваться краху врага, честно выбитому из седла на турнире конкуренции. Можно выпустить соседа-заводчика в трубу и «растянуть» его, по все

же «не как-нибудь, но в строгих правилах искусства».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Это же подтвердил Платон за утренним завтраком, сказав Скуратову:

— Можно, Родик, в борьбе применять все приемы. Снижать в убыток себе цены. Нарушать сделку и уплатить неустойку. опередить рекламой. Но ломать станки, мстить за это взрывом и гибелью завода — это безнравственно и подло.

— А думал ли, Платик, о нравственности он, подкупая Сережку Миронова?..

— Во-первых, Родик, это не установлено, а во-вторых... Во-вторых, не следует устанавливать.

— Почему, Плат?

— Далеко пойдет. И тень неизбежно падет на кого-то из наших рабочих. А это сделали они или кто-то из них... И когда это докажется, виноватым будешь ты или я. Или оба вместе. Где Сергей Миронов?

— Он в механическом встречал Новый год. И, часок соснув, снова бьется, чтобы как-то собрать из пяти станков два.

— И он не отлучался?

— Ты что-то, Плат, совсем не то...

— Я спрашиваю: отлучался или нет?

— Нет! Все шестеро не отлучались!

— Слава богу, Родька! Налей в таком случае и мне...

Наливал и пил в своем доме Потаков. Ему нечем, кроме вина, было утишить боль. Завода больше нет! Не будет средств восстановить его и промытый зев плотины сажена на двадцать или больше. Все нужно заново. С основания. Это не сто тысяч и не двести и, может быть, не миллион. А у него на счету нули, а впереди неоплаченные векселя да безвексельные долги.

«Заманил проклятый Платошка иностранщиной. Зачем было улучшать хорошее? Зачем было гнаться за лишней прибылью? Жил бы и жил в припряжке у Акинфиных. Коренником захотелось быть в своих оглоблях. Вот и выходит, что лучше быть живой кобылкой-пристяжкой, нежелидохлым жеребцом. А я заживо мертв? Что я теперь? Куда я? В маркеры разве что...»

Чем больше пил, тем глупее городил Антип Сократович. Жена умоляла его не растревлять себя и утверждала, что живым маркером быть куда лучше, нежели умопомраченным заводчиком.

И он внял ей. Внял тем более, что пришла и потребовала разговора Мирониха.

Понял теперь Потаков окончательно, где надо искать конец этой нитке. Теперь он был твердо уверен, что это Сережкиных рук дело. И, не ответив на «здравствуй» Миронихе, он спросил:

— Где злодей?

— Где? Он насупротив меня в кресле сидит, — ответила Мирониха.

Потаков рассвирепел, да тут же погасил в себе свою горячность. Теперь тише надо держать себя. Если он за Сережку возьмется, Сережка за него примется и выложит полторы тысячи подкупных. Тогда не только банкротство, но и острог. А проверить все же хотелось.

— Где Сергей Прохорович? Садись, Анна Петровна...

— Так-то лучше, Антип Сократыч, — сказала Мирониха, садясь в кресло

напротив Потакова. — Где же Сергушку быть, как не в цехе... Что же делать ему, как не искупать грех?

— А в чем он грешен?

— В том же, что и ты. Только он сразу перед богом раскаялся, и бог надоумил его клин клином вышибить. А ты — нет. И бог покарал тебя во сто крат горше. На то он бог... Еще не поздно. Отдай нам свои винтовые станки...

Потаков опять занялся огнем гнева и опять угасил его, затем спросил:

— А где их взять? Смыло же все водой...

— А они не смытые. Как стояли, прианкеренные, так и стоят.

— А ты откуда знаешь?

— Была на измывине. Видела. Я ведь знаю то место, где их Сергушок устанавливал. Зачем они тебе теперь?

Ржа их съест — кому польза? Продай! Деньги-то ой как нужны тебе, обездоленному. — Тут Мирониха перекрестилась. Это она умела делать истовее старой скитницы-начетчицы. Умела креститься по старому и новому обряду, смотря где и как истиннее.

— Велю отдать. Не забудь у своего божка добиться выплаты. Он знает, что стоят станки.

Сказал так Потаков, плюнул и вышел из гостевого зальца, а потом, вернувшись, спросил:

— А тебя-то, старая, каким ветром задуло к нам?

— Тем же! Винтовым вихорьком. Внук ведь... Жалко мне его, если он в острог сядет, хоть бы и с твоей светлостью в один каземат.

Теперь Потаков плюнул смачнее и зашалалялся. Не то красное вино, не то кровь пошла горлом. Мирониха пушинкой вылетела. И как не бывало ее.

Ведьма! Другим словом ее и не верящий в нечистую силу не назовет.

Не прошло и часа, как Сережкин дружок, тоже из пусковиков, отвинчивал у станков те части, которых недоставало шальвинским винтонарезным станкам. Он до гаечки знал, что было поломано. А было поломано одно и то же у всех — резьбовый механизм. И все это можно было сложить в один ящик и свезти на санках, какие пользуют рабочие при малой покупке муки, бараньей тушки или чего-то там, что несподручно тащить на горбу и легко доставить на самодельных полозьях.

Старухе не под силу было тянуть за собой санки за двадцать верст, а Сережкин дружок это сделал запросто. На одни лыжи ящик, на другие сам. Обходной дорогой в сумерках привез два-три пуда стальных частей, которые были дороже золотых. Ему теперь что. Завода нет, а работать надо. Вот и получит хорошее место на законном основании. По всей Платоновой нравственности. Он же не переманенный, не сбежавший, не позарившийся на большой рубль, а потерпевший бедствие, впавший в безработицу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Следствие не установило виновника прорана плотины. Даже сомневались: взрыв ли это? Все были пьяны. А протяжный взрывной звук — это не доказательство. Без взрывного гула никакая плотина не рвется. Это же не ивовый плетень ломается. А перемычка со всеми ее сооружениями из крупных бревен и с тяжелыми запорами. Теперь в размытом прогале даже нельзя было установить, в каком месте была

прорвана или сама прорвалась старая, давно не подновляемая плотина.

Из пришлых в эту ночь также никого не могли назвать, кроме двух молодаяков из Нижних Серьгов, да старухи Мироновой. Ни одна из них не могла учинить взрыв, который взбрел на хмельной ум. А уж про старуху Миронику и думать нечего. Ей же семьдесят два годика. Да и как ей суметь это сделать? Сила же нужна, смелость, а главное — умение. В таком разе нельзя было не взлететь самой, а она цела. Зачем предполагать ерунду?

И никому не пришло в голову то, что известно нам, и то, что было тогда.

А тогда было так.

Посмотрев на свои часы, Мирониха за десять, может быть, за восемь минут побрела к плотине. Во всех домах, как и думала она, свет. На иных занавесках окон тени сидящих за столом, пляшущих, поющих... Все сидят дома в этот час. На улице и собак не слышать. Мороз загнал и пустолаек туда, где потеплей.

На плотине Миронику взяло сомнение: обрублен ли лед у плотинных запоров? Если нет или понапристыл новый, тогда не управиться ей. Самой не прорубить наледь, а поверх льда «пороховой студенек» не взорвется. Сгорит — и все. Ему нужно стеснение — земля, шурф в камне или вода...

Дошла. Лед обрублен. Слава тебе, господи! Теперь окуньков долой. Спичку ширк. На плотине тишь. И малый ветерок запрятался в снег. Не дожидаться же, в самом деле, колокола на каланче.

Вытянула из зимбеля конец шнура. Закрыла полой шубейки послушный огонек, подожгла шнуровой фитилек — и в воду зимбель, под самый запор, а сама... Нет, нет, не давай бог ноги, а тем же мелким шажком поплелась через плотину. Фитилю в воде гореть добрых пять минут...

Прошло меньше. Ахнул студень. А она и не оглянулась, будто до того глуха, что не слышала этот адовый вздох. Мало ли, подсмолит кто-то и подумает не то, что желательно.

Добралась до товарки, а та девятый сон видела...

Вода хлынула сразу же. С шумом. Те, что были на заводе в карауле да при плавильной печи, поняли, что произошло. Так и думала Мирониха. Знала она, что если есть кто-то на заводе, то не оплошает. Не из берданки выстрел.

Покинувшие завод бросились полошнить народ. Но и до их вести набежало множество людей с обоих берегов. Трезвеет народ на глазах. И те, что шагу не могли ступить не пошатнувшись, вкопанно стояли на земле.

А вода все пуще и пуще, шумней и шумней. Просевший лед у края промоины начал ломаться и тоже стремительно пошел в прогал плотины.

А завод, как и всякий старый уральский завод, в яме. Ниже плотины. Будь бы это в вешнюю, безледную пору, может быть, и устояли многие степы цехов. Теперь же не только деревянные строения, но и кирпичные — льдины слизывали, состругивали за миг.

Такая скорость. Такое падение воды. Более десяти сажен плотинная высота. Водопад!

Чем шире проем, тем крупнее лед. Из трех кирпичных труб устояла одна, да и та, качнувшись, как пьяная гулящая баба, рухнула. Железные трубы держатся. Плавильная горячая печь с шумным кипом взорвалась. Так, наверно, извергаются только вулканы.

Проседает лед и на середине пруда. Глазастые охотники заметили ошалевших

волков. Тройка на одной льдине, четыре на другой. И обе льдины тянет к плотине. Кинулись за ружьями. Да только зачем? Если и убьешь, то как добычу выволочь?

Волки ближе и ближе. Скачут с одной льдины на другую, чтобы подальше от людей. Какое там!.. И дальние льдины к плотине тянет.

Бросились на гибнущий завод глядеть, а волками занялись. Волк хоть и разбойник, лютый враг, а все же живой зверь. Их уж совсем близко притянуло к промоине. Теперь перескакивай не перескакивай, все равно каюк.

Совсем близехонько звери. Рядом. Был бы сак, так им бы можно изловчиться и поймать, когда их совсем рядом по промоине понесет. А их не понесло. Как только учуяли они обмелевший у плотины берег, прыг на него — да вдоль берега во всю волчью прыть.

Одного только, видать, самого старого, затащило вместе с льдиной в поток, но и тот волчьей сноровке не изменил. Сумел на откос промоины скакнуть — и вверх по ному на людей. Люди в визге и страхе расступились, а ему только того и надо. Метнул между расступившихся людей — и дёру по плотине, потом по большой улице — и в лес.

Вскоре надоело стоять и мерзнуть. Стой не стой — завода не вернешь. Воду тоже не остановишь. А ждать, когда весь пруд вытечет, и двух суток мало. А дома не допито, не доедено. На морозе хорошо отрезвели, теперь опять можно опьянеть. Нет худа без добра.

Так и пропьянствовали до первых петухов. Потом соснули до третьих. А когда посветлело, людей опять на пруд потянуло.

Рыбу-то, пожалуй, не всю через плотину унесло. Поживиться кое-чем можно.

Так и было.

Дно у пруда не как у блюда. Есть впадинки, выемки. И, пока они не застыли, рыбешку надо выловить, кто чем может.

Больше всего рыбы оказалось на лугах. Разлетевшаяся вода заставила осесть снег, а местами смыла его. Рыба осела и осталась в углублениях, а то и померзла на обледеневших луговых просторах. Дети и те набирали полные грибные корзинки мерзлой рыбы.

На луга вынесло не только рыбу, но и другую поживу. Ниже плотины стоял не один только завод, были там и склады с товарами, и подсобные заводские строения. Сюда весной, а иной раз и осенью по большой воде заходили мелко сидящие суда. Так что было что найти и кроме рыбы.

Никто не выяснял, не считал и не преследовал этих малых потерь и находок. Это так же было второстепенно, как и волки на льдине. Они привлекли внимание жителей и заставили на какие-то минуты отвернуться от завода и следить, что произойдет с этими лесными хищниками.

Помогал и хмель не задумываться о завтрашнем дне. А он наступит, и придется встретиться с ним, увидеть его трезвыми глазами. Что станет тогда? Что?

Гудок не позовет на работу. И люди поймут, что они лишились и того малого заработка, который был. И начнется самое страшное для коренного, оседлого рабочего, привязанного к родному заводу домом, хозяйством, домашней живностью. Начнется злое, голодное безделье.

Этого не представляла, да и не могла представить темная старуха Мирониха. Не представляют этого пока и другие светлые головы, опохмеляя свой затуманенный разум...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Через два дня Потаков помчался на поклон к Платону Акинфину.

Выревевшись, Антип Сократович предложил купить винтонарезные станки.

— Я знаю... они очень нужны вам, Платон Лукич.

Платону Лукичу станки были уже не нужны. Каким-то чудом пусковик Миронов привел в полный порядок четыре станка, и они работают полным ходом. Платон не знал, а может быть, и не хотел знать, как произошло это чудо.

Видя, что Потаков вынужден крохоборничать, Акинфин, не спрашивая цены, купил станки, приказав по телефону бухгалтеру заплатить ту сумму, которую назначит Антип Сократович.

Платон не предполагал, что он приобрел станки без их «внутренностей». Не знал и Потаков, что он продал неработающие станки. Но если об этом и знал Платон, он все равно бы сделал это бессмысленное приобретение. Коли люди радовались спасению от неминуемой гибели волков, то Потаков был всего лишь «про-волк», и при том очень наивный, недалекий, а может быть, глупый, даже не «про-волк», а «про-осел». Ему хотелось дом в Петербурге, виллу в Крыму. Это было естественно для человека, который стремится выглядеть богаче, чем он есть, чем он может быть...

У него ли одного такое неравнодушие к величию? Так поступают почти все промышленники его ранга.

Потаков же думал, что Акинфин законченный волк или еще более страшный хищник, но все же благородный или играющий в благородство. Убежденный в этом, он предложил ему купить руины завода.

— Там, оказывается, не все разрушено водой и льдом. Сохранилось три четверти станков, — утверждал он, — а те, что смыты, не могли уплыть далеко. Они вмерзли в обледенелый снег. Сохранилась добрая половина стен, особенно старых, толстых...

На это Платон ответил прямо:

— Мне трудно дать то, что стоят останки вашего завода. Сколько бы я ни уплатил, все скажут, что я воспользовался бедой и уплатил гроши. Но если бы я пренебрег мнением других, то зачем, Антип Сократович, мне старые станки, старые стены, старое все? Разве вы не видите, что я сношу прадедовские строения?.. И, признаться, был бы благодарен воде, если бы она помогла мне снести некоторые наши заводы, на которые не подымается у меня рука во имя дурацкого уважения к праху предков, и я вынужден производить невозможное оживление прахов многих цехов, подымать их стены, расширять оконные проемы, терпеть разбросанность заводов по воле рек и водных ресурсов, вкладывать средства в эти цехи, не нужные в век пара, на заре электрической энергии... Зачем это мне, Антип Сократович? Зачем?

— Я уступлю, Платон Лукич. Я продам очень дешево.

— Значит, вы ничего не поняли, Антип Сократович.

— Мне нужно рассчитаться по векселям и уехать. Это меня наказал бог за мои грехи... Я готов уступить завод совсем за гроши... Такой пруд... Правда, его уже нет, но будет на следующий год... А лес есть. Он цел... Превосходный строевой лес и такой населенный... Одних глухарей...

Платон прервал громко и властно:

— Значит, вы никогда не поймете меня... Вы в этом смысле, извините, тоже глухарь, способный слышать только свое — еще раз извините — бормотанье. На этом

и завершим переговоры о купле и продаже... Если хотите отобедать с нами, то приглашаю вас.

— Благодарю, благодарю, я лучше пройду к вашему бухгалтеру...

Платон, очень редко прибегавший к вину, попросил водки. Сегодня ему предлагали купить уже второй завод. Приходила вдова Кузьмы Гранилина. Платон устыдил ее:

— Повременили бы вы, Зинаида Сидоровна, хотя бы сорок траурных дней и дали бы его душе предстать перед престолом всевышнего.

Гранилина, игриво хихикнув, ответила:

— Он уже предстал перед котлом с кипящей смолой дьявола. Это для меня всеравношенько, Платон Лукич... Только поймите в виду: ежели вам не желателен мой завод, найдутся и другие желатели. Я-то хотела вам. Выто надежнее — в смысле без надува... Я же одинокая.

Притом еще свежая. Меня и вокруг да около легошенько можно обмишурить...

— Все! — так же решительно оборвал разговор с Гранилиной, как тремя часами спустя он это сделал с Потаковым. — Если вам, Зинаида Сидоровна, нужен кров или деньги, Овчаров не оставит вас.

— Спасибочко за неоставление! Я тоже не оставлю вас... Мой хоть и был, прямо скажу, иродом, все-таки он осатанел не без вашего замочного угнетения. Женщине и раньше рот заткнуть было трудновато, а теперь, при дарованной царем свободе, и подавно...

Гранилина, охально сверкнув юбками, ушла, хлопнув дверью.

Платон, оставшись один, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Я бы ее принудил не только постричься в монастырь, но и заточил бы в пещеру...

Здесь нам придется остановиться и вернуться к истоку повествования, а до этого признаться, что наиболее насыщенные событиями главы опередили вступительно-экспозиционные описания, без которых нам не обойтись.

Мы не минуем истории возникновения Шалой-Шальвы, а вместе с нею династии промышленников Акинфиных, Нам не будет понятным, почему характеры и поступки главных действующих лиц такие, а не другие, если мы не познакомимся, хотя бы бегло, с их биографиями и условиями, в которых возвышались или падали их души.

Рассказывать истории, биографии, давать архивные справки всегда утомительно для пишущего и читающего. Но иногда можно пойти друг другу навстречу, на взаимные компромиссы. То, что принято писать строго и педантично, можно окрасить юмором, как и то, что читается с напряжением, можно прочесть с доброжелательной снисходительностью.

Пусть сказово-иронический роман не водевиль, но характерное для него настойчиво будет вторгаться в жизнь Шалой-Шальвы, при всей драматичности событий едва ли можно будет не отдать дань сатирическому высмеиванию и откровенному памфлету.

Итак, возвращаемся в прожитое, с которого и следовало бы начать наше повествование.

ЦИКЛ ВТОРОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зазывно-приветливо улыбается Луке Фомичу Акинфину синее январское небо. Весна еще далеко, а позолотевшее солнышко старательно озаряет Шало-Шалывинские заводы счастливого отца и благополучного хозяина фирмы. «Акинфин и сыновья». И он в это утро радостен и благостен, как небо и как земля и как все сущее на ней.

Светлым-светло-светлешенько в родовом дедовском дворце. Два света, два солнца в помолодевшей душе Луки Фомича. И как им не быть...

Исправно дымят все двадцать семь его заводских труб. Скоро прибавятся еще две. Для круглого счета неостанет одной. Задымится и она. Самая превысокая из всех ее кровных сестер, на зависть окрестным приземистым дымилкам с большими хайлами, да малыми тягами. Ну, так ведь по барину и говядина, по фабриканту и труба.

Боязливо, скаречно ставили свои заводы прижимистые уральские тузы. Держались за полушки — упускали тысячи. Норовили меньше вложить — больше нажать.

Ы-ых вы! Самоубийственные хапальщики, торфяные мозги! Положим, и ты, Лука Фомич, тоже смолоду не был падок на большую новину, а лишь по малости перенимал ее у башковитых заграниц. Тоже чурался скорodelьных станков, страшился и своего первого паровика. Стыдно вспомнить, как ты для безопасности выписал из Англии не одного машиниста, но и кочегара за веские золотые фунты. А оказалось, что и свой самый захудалый углежог может топить паровой котел за медные гроши. Знай только подкидывай да шуруй и не перегревай. А перегреешь — тоже на небо не вознесешься. Пружинчатый клапан сам, без тебя, лишний пар выпустит, и вся недолга.

Не ослом ли ты был, Лука, не простофилей ли?

Был и тем, и другим, да не полностью. Не у кого-то, а у тебя, чуть не у первого по всей округе, задымила паровая фабрика. И ты, а потом через тебя заводчики поняли, сколь проворнее и прибыточнее пар, нежели его родимая матушка вода, выпарившая из себя в железном доме, в котельном терему могучего горячего богатыря.

Поняли, да не все переняли. А отчего?

Оттого, что не на одном Урале ведется: своими глазами глядеть, а дедовским затылком видеть. И ты, Лука, тоже попервоначально был недужен таким же устройством своего маловидения. И кто знает, как бы долго ты оставался таким, если бы не Платон.

«Все началось с тебя, Платон. И я, породивший тебя, сызнова появился на свет тобой, мой Тоник-Платоник. Не счастье ли это, не радость ли — повторно жизнь начинать в сыне своем?»

В таких мыслях благодушествовал Лука Акинфин, возлежа на сафьяновом полудиванчике с откидной спинкой. Любил Лука Фомич лакомиться кондовыми словесами. Обожал, словолюбец, размышлять и говорить складно, премудро, узорчато. Знал старик цену и место златокованным речениям и в разговорной строке, и в строке, писанной новомодным стальным пером. Не сторонился он и салонных «лексий», как гундосых, а равно лающих. Без них нельзя, как и без белой жилетки при визитной нарядности. Миллионщик от тысячника не одними деньгами высится, но и всем прочим — от модных обуюток до нашейных удавок.

Снадобилось Луке при его заводской коммерции постигать и сухопарое, без единой кровиночки, торгово-промышленное краткословие. Оно хоть и мертво, как телеграммные точки с черточками, зато укладисто. Для конторы иного и не надобно.

Там больше цифирь требуется. Она разговор ведет, и слова при ней как лакеи при барине — прислужная «лексия».

Какая она там ни будь, а без нее и пуда чугуна не продашь, самой последней машинёшки не выпишешь.

Всякие слова нужны. И румяные. И багряные. И медовые. И дубовые. А дома, для разговора с самим собой, все они хороши. Какие хочешь, те и нижи на потаенную нить. А коли весело, плети из них забубенные, только тебе ведомые кружева. А чтобы лучше низать и вязать сокровенное, прелестно налить вторую утреннюю бирюзовую рюмашоночку. Вчерашнему хмелю, видать, одной-то мало. Да и тебе, господин Акинфин, вторая не помешает воспарить в мечтаниях выше облака и подивиться с высоты на свои владения.

Благодать!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Лука Фомич потянул рычажок с белым костяным набалдашничком, и спинка полудивана выпрямилась. Такое устройство. Как тут не похвалишь город Берлин, который любит брать большие деньги, но не заставляет раскаиваться уплатившего их.

Возлежавший Лука Фомич, оказавшись восседающим, наполнил свою золотую, бирюзово-эмалевую, выпил, закусил малосольной кетовой икрой и принялся думать о прожитом.

Прожитые годы были тревожны заботами, суетны хлопотами заводской круговерти своих норовистых, разномастных, грохочущих и многолюдных извергов. Малая мельница и та может перемолоть своего мельника, если его душа охладает к ней, если он перестанет вникать в каждую ее пустяковину.

А завод?

Не чертее ли он дюжины чертовых мельниц? Это один завод. А у него их не два и не три...

Разумей бы бог самую малость в заводском деле, он бы прижизненно уготовил место в раю многострадальному заводчику. Загодя простил бы все его вольные и невольные прегрешения за то, что на этом свете он мученически кипмя кипел от безбородой юнины до торопливой седины в адовой купели. Терпеливо кипел и не обуглился. Мало того — без единого ожога, живешеньким-здоровешеньким вышел из этого пекла. За это и стопудовую свечу мало поставить.

Только кому?

Кому, в самом деле, положи руку на сердце: богу или Платону?

Тут Лука торопливо перекрестил рот, затем нарядную бирюзовую рюмашоночку и, погрозив ей пальцем, сказал:

— Теперь ты поможешь мне воздать богу богово, Платону Платоново, а мне мое. — Он выпил налитое из второй бутылки с большим колоколом на этикетке. — Так звончее будет разговор.

В его голове в самом деле зазвенело веселее и раздольнее. Один колокол перезванивал, другой. За ними третий, четвертый, пятый... Вся колоколья и шустовский коньячный колокол на этикетке славят не господа, а его первенца Платона Лукича Акинфина.

Стоит того Платон! Подумать только... Все восемь заводов без передыха, но и без былой натуги умножают и улучшают свои новые и свои старые изделия.

Как только может Платон, не останавливая работ, на ходу, преобразовать устарелое? Не сбавляя доходов, не влезая в долги, выписывает самолучшую цеховую оснастку. Не боясь прогаров, широко платит своей и привозной инженерии. И не только при этом покрывает аховые траты, но вертает их скорешенько, прибыльно. Другой раз Платон и сам диву дается, когда ожидаемый поздним успех приходит рано и выгодно.

Не этого ли хотелось и тебе, Лука?

Х-мы! Хотелось гагаре сыграть на гитаре, да лапки коротки... А у тебя, Платон, до всего и руки достают и ум доходит.

До всего!

Не слышно и ропота мастеровых. Бывает, конечно, всякое... Но минутно! Раз-два — и гасится! Когда надбавленным рублем, а когда и таким советом, что ни в какие талеры его не переведешь.

Лучшего и не придумаешь, а он придумывает. Проповедует и добивается равновесия.

Лука Фомич задумывается и начинает вспоминать: откуда взялось и как заползло в умную голову это неостановимо влекущее Платона равновесие?..

Лука Фомич вспомнил давний вечер в честь приезда из Лондона обучавшегося там Платона. Не раскрывая своих дальних задумок, он сказал тогда:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ **проверить**

— Господа! Успехом, от которого зависят все успехи промышленного предприятия, является справедливое, добропорядочное взаимное отношение работающих и предоставляющих работу. Нанимаемых и нанимателей...

Его программная речь прозвучала тогда тостом. Он тогда еще выглядел юношей, кто-то не понял, кто-то принял за «умствование» развиваемую им идею «гармонического равновесия взаимностей». Ему же хотелось, и он отбирал самые точные выражения, чтобы его поняли глубоко и серьезно, как много будет значить для Шало-Шальвинских заводов забота о работающих на них и как скажется внимание к ним.

Лука Фомич в тот памятный вечер, где им был представлен Платон главным лицом фирмы «Акинфин и сыновья», по-своему уловил смысл речи сына — как верность истине, его любимой поговорке: «Не гони коня кнутом, а гони его овсом».

Так по силе возможности и старался поступать Лука, стремясь дать рабочему человеку лишний рубль, помочь постройиться, купить коровенку. Случалось, и ссужал надежных мастеров, а тех, что заслуживали, награждал. Не ужимал, как другие заводчики.

Поэтому и бунтов у него почти что не было. Требовали, конечно. Предъявляли. Что мог, то давал. А чего нельзя, объяснял по-хорошему. Сам. Не через управителей. Не хоронился от рабочих, не прятался, как тот же Молохов или Потаков. И он понимал, и его понимали. Особо большой взаимности не получалось, да и получиться не могло. И откуда ей быть? У всякого руки к себе гнутся. Но как они ни гнишь, всегда для них можно нужный выгиб найти. И Лука его находил. Платон тоже находит. Но ему мало найденного. Благодарить бы ему судьбу за тишь и гладь. Молчат, терпят, не требуют — и чего же хотеть большего? Какое же может быть равновесие, когда его и

у самого бога нет?

Выпитое позволяло Акинфину излишне вольные сопоставления неба и земли.

У господ, как оказалось, ничуть не краше, чем в любом другом царстве-государстве. Одни угождают перед престолом всевышнего и правят от его имени. Преславно живут в райских кущах и чтутся по чинам: архистратиги, серафимы, херувимы, архангелы... Эти уже помельче и как бы на посыльной работе при нем состоят. Но тоже не бедствуют... А простые-то, не об осьми, не о шести, а о двух крылах, слуги господни каково живут? Им поторжным поденщикам позавидовать в пору. День-деньской на грешной земле, без свистка на обед, труждаются. И ночью не всегда спят. И как спать, когда круглосуточно людские души надо стеречь. В темноте-то еще горше приходится. Бесы выходят на свой злой промысел. И такое вытворяжают, что до рукопашной дело доходит. А всегда ли посильно кроткому белому ангелу единоборствовать с черным мохнатым рогатиком? Не одна чертова шерсть, а, надо думать, и ангельские пух-перья летят. При этом не всегда, это уж точно-известно, ангелы берут верх. Не чаще ли бесы их под себя подминают?..

Не-ет! Не может быть на земле равновесия, если его нет на небе. Кошунственно же, в самом деле, думать: бог не мог содейть его, а Платошка Акинфин может. Ему это не внушишь, ибо он своему богу молится, а предостеречь надо...

Предостеречь надо не изустно, а писанно. Памятно. Назидательно и для него, и для внука Вадимика.

Лука Фомич принялся крутить маховички у подлокотников, и сафьяновая берлинская диковина покатила через зал туда, где хранилась самая главная из всех книг, именуемая «Поминальный численник».

В «Поминальный численник» имел право записывать о деяниях заводчиков Акинфиных старший из продолжателей рода. Теперь им был Лука. За ним будет Платон. О нем-то и ему-то хотелось Луке Фомичу написать предупредительные страницы.

«Поминальный численник», начатый дедом Луки Фомича, Мелентием Диомидовичем Акинфиным, замышлялся на долгие годы. Пятьсот пронумерованных листов, переплетенных в толстую кожу с окантовкой серебром, превратились в большую, тяжелую книгу. На ее лицевой обложке вычеканенные из мягкого червонного золота буквы, приклепанные к ней, составили название книги: «Поминальный численник славного заводского рода господ Акинфиных».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Книга хранилась в окованном фигурном ларце с двумя замками — потайным, в его днище, и висячем, изображающим двух сцепившихся соболей.

После титульного листа, повторяющее пространное заглавие яркой киноварью, шло предпослание, озаглавленное: «Размыслительная проспекция о древних и новых знатных родах российских, об их затухании и нарождении».

С первых, вступительных строк видно, что пишущий Мелентий Диомидович Акинфин принадлежал к людям бывалым, знающим и, несомненно, «размыслительным». Нескрываемо желая прославить свой род, он считал справедливым и обязательным провозглашение нового высшего сословия, приравненного к дворянству.

«Что есть дворянство? — вопрошает он. — Дворянство есть высшая знать,

порожденная крестьянством и поставленная над ним».

Утверждая так, Мелентий Акинфин пространно рассказывает, как это произошло «в стародавние и плохо памятные времена», как дворянство, сиречь придворные советчики царя, стало вершить и править государевы дела.

О царе и царском доме у Мелентия Диомидовича особо почтительные строки и всеподданнейшие выражения. Ию при этом говорится, что «и царь не с неба сошел, а на пашне порожден».

Изложив это на пяти листах, Мелентий начинает новую страницу, ради которой и писалось все предшествующее ей.

Продолжение озаглавливается «Откуда заводчики пошли». А пошли они, оказывается, от кузнецов. Потому что кузнец всему начало и от него все. И топор, и пила, и всякий станок, и все заводское обзаведение, а вместе с этим и сам завод начинался кузницей.

Не ходя далеко за примерами, первым уральским кузнецом им называется Никита Демидов, а за ним Акинфий.

«Не у наковальни ли началась его сила, не в кузнечном ли горне, а потом в доменной печи зародился его род, его новое сословие?»

После этих страниц перо Мелентия бежит веселее и непринужденнее, строка за строкой наращивает оно восхваление самородным чудодеям из работного люда, порождающим заводы.

Повторяя ту же версию о происхождении дворян из лучших пахарей, он смело и размашисто пишет:

«С кузнецов и начались, а начавшись, продолжались заводские роды и на Урале, и во всех краях и землях».

Оправдывая «самородность чудодеев», Мелентий Диомидович изрекает: «Не рождает орел галчонка, не вырастает из дубового желудя полынь, равно чудодей множится чудодеями в потомстве своем».

Видимо, не вполне уверенный в изреченном им, Мелентий Диомидович новую начатую строку: «Так великий род Акинфиных, не оскудевая в потомстве своем...» — зачеркивает тройной чертой и заменяет ее другой: «На сие указывает нам преуспевание преславных уральских родов, простого зачатия и неустанного восхождения в лучезарном сиянии».

Пред тем как перейти к «неустанному восхождению и лучезарному сиянию своего рода», Мелентий Акинфин предсказывает:

«Не допускает сановная знать признания заводских и промышленных родов и уравнивания их с дворянскими званиями, а годы не токмо что уравнивают их, но превозвысят в грядущем своим всеильным могуществом. Ибо не на одной земле, не на ржаном колосе будет стоять держава, а на заводах, на шахтах, на промыслах. И от них все богатства, вся сила и власть!»

Читая и перечитывая эти строки, Лука Фомич неизменно твердил:

— Кто бы и что ни говорил о малой письменной знаемости моего деда, а в уме никто ему отказать не может.

Суждения Луки Фомича оставим при нем, а свои при себе.

Взявшись за перо, Мелентий Диомидович на страницах «Поминального численника рода Акинфиных» оставил строки, в которых вымысел и правда слиты так искусно, что читающему едва ли захочется доискиваться, где был, где небыль.

Начинает свою родословную Мелентий как сказитель. Напевно и красочно, с

новой страницы. И на ней его же рукой написанные строки кажутся только написанными его рукой. Они отличны по своему строю и самим словам от всего предыдущего и последующего, написанного им. То, что Мелентий выделил и назвал «Быль про Акинфину Писанку».

Переписывая эти строки, будет справедливым опустить слово «быль», так как, по признанию самого Мелентия Диомидовича, говорится, что «в летописных и других бумагах не нашлось точных строк об Акинфиной Писанке, но найдутся они потомками нашими, ибо не может быть в вековой молве, как не может быть талым незамерзаемый родник без скрытого в глубине земли огня».

Словом, дыма без огня не бывает. Поэтому обратимся к «дыму», допуская, что какой-то «огонь» был причиной его появления.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Славен и знатен был род уральских первозаводчиков Демидовых, да измельчал. Зачах в чужих землях. Зачах, да не сгиб. Оставил на родной земле росточек-веточку от своих корней.

Из несчетного множества демидовских кузнецов один его туляк-земляк в первом десятке ходил. И до того звонко ковал, что и царю Петру о его работе слышно было. А самолучшей из всех его поковок была дочь. Маковее мака цвела. Чеканной статности первенка. Незнаемой гордости: всем от ворот поворот. Только один был ей мил. Так мил, что и жизнь не в жизнь без него, при солнце темно и в жаркий день холодно.

А он был деревом не по ней. Во всем не по ней. И по немалым годам, по глубоким корням и по своей высокой высоте. Выше его в эти годы никого не было в демидовском лесу, а она рядом с ним малая ягодка.

Не заметил бы он ее в зеленой траве-мураве, да она сама выглянула. Выглянула и ослепила его...

А было это в Троицын хороводный день. Все на луга высыпали. Прикатили туда в самый плясовой разгар семь троек. И на первой — он. Сам! Все в пояс ему. Хозяин ведь. И царь, и бог. Другого-то уж владыки, которого Никитой звали, не было в живых. Второй — Демидов Акинфий единовластным повелителем остался.

Хотел было и он, по обычаю, поклониться в ответ, да увидел, что одна из всех не поклонилась ему.

Он к ней:

— Как звать тебя, писанка?

А она:

— Коли назвал, значит, знаешь, как звать. Зачем спрашиваешь?

Ахнул народ. Стихли луга. Птицы и те смолкли. Быть грозе. Приспешники, что с ним прискакали, плетьюми по голенищам похлестывают. Миг, только один миг хозяина — и тут же, на лугу, сарафан на голову своевольнице и айда, пошел крест-накрест по всем местам нахаживать березовыми хлесткими розгами.

Зря такого веселья ждали приспешники. Другое в хозяйских глазах ими увиделось. Свет!

Шагнул он раз, шагнул другой, а на третьем шагу в пояс Кузнецовой дочери поклонился.

— Не прогневайся, Писанка, на мою неочестливость. Не угодно ли тебе будет, белая утушка, с матерым серым гусаком в хороводе проплыть, как с молоденьким

селезнем?

А она ему напрямки и чуть не криком, чтобы все слышали:

— Давно угодно, давным-давнешенько, да замануть тебя в пляс мне не довелось. А теперь дождалась своего. Закружу, заплашу я тебя и себя жарче доменного огня...

Тут она схлопала, стопала... Хоровод плясовую запел и будто окрылил ее. То голубкой порхнет, то касаткой мелькнет, а то вспыхнет, как у сарафана рукава, и жар-птицей вокруг него... А он сам не свой. Будто ни единого седого волоса в бороде, а как ретивый конь о третьей весне. Аж земля гудит от его топота да в ушах звенит от его посвиста.

А хоровод все пуще да громче... А он да она — ни тот, ни другой спуску в переплясе не дают. Насмерть пляшут. И доплясались бы до нее, ежели б не любовь. Она-то и шепнула ей на ухо: «В уме ты? Он того гляди...» — и всякое такое прочее. Тогда она вскрикнула: «Охтимнеченьки, переплясал ты меня, сокол мой...»

И пала чуть ли не от бесчувствия, да не на луг, не на землю, а на руки ему...

...Допоздна плясала и пела Троица. До утренней росы молился Акинфий Демидов на свою Писанку. Много узнала в эту ночь молодая зеленая трава, а узнавши, смолчала, как и все до единого, кто был на лугу. Боязно было не смолчать.

Все молчали и после переезда отца-кузнеца и его дочери в новый дом. Промолчала об этом и летопись.

Какому писцу могло снадобиться, чтобы руку ему отрубили или язык собакам скормили!

Царь ведь! Для которого и в Москве не нашлось бы суда.

Однако ж не все, что молчит, не сказывается. Лицо сына Акинфиной Писанки бессловесно заговорило. Весь в отца уродился. От голоса до волоса. От глаз до последней приметинки. Не держать же парня за тыном, взаперти. А на люди как показать? Не в монастырь же заточать сына с матерью. А мог бы! И в Тулу выслать мог. Все мог, да отцовство не все позволяло ему. Себя в нем любил. Даже имя свое передать хотел. Видеть хотел его. Хоть раз в году, да прижать к своей груди.

Долго терзался Акинфий. Кузнец его надоумил и указал глухие шало-шальвинские рудные места.

Все понял Акинфий. И помог срубить кузнецу дом, поставить кузницу и для первости небольшую доменку для сына заложить.

Не легко, но безбедно зажила Акинфина Писанка и ее сын Харитон Акинфин.

С него-то и начался род Акинфиных, боковой отток рода Демидовых.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не поблагодарить Луке Фомичу за такой сказ своего деда Мелентия грех. Не поверить ему — еще грешней... А усомниться можно. Уж больно складна «Акинфина Писанка». Из всех листов, что были написаны дедовой рукой, эти три листа как бы с другого языка на бумагу перешли. И улика есть...

Знавал дед Мелентий речистого старика по прозвищу Бабай-Краснобай. Сам он об этом говаривал. И в старушечьей молве про него тоже память осталась. Горазд был этот Бабай-Краснобай из ничего плести такие узорчатые побывальщины, что и большие господа ими заслушивались. А одна старуха будто бы знавала Бабаева отпрыска, и тот пересказывал, откуда Акинфины пошли. И слышанное смахивало на запись в «численнике». Смахивало, да не тем припахивало. Совсем не тем. Даже нос

воротило.

Вот и гадай. Может, дедушка Мелентий приукрасил, может быть, и Бабаев отпрыск правду про Акинфину Писанку дегтем измазал. Так это или не так, а уж коли исписано, пусть будет читаемо, чтимо и любимо.

Дальше листать сто раз листанную книгу не захотелось. Одна скукота. Кто кого породил, чем славен был порожденный и братия его, когда почил, кого оставил хозяином и что оставшийся сотворил, какой пруд запрудил, какой завод поставил. И опять снова здорово: родился, воздвиг, почил, чем, почивши, свое имя прославил.

Перелистнув прапрадедов, прабабок, их братьев и сестер, Лука Фомич задержался на листах, где дед Мелентий пишет о себе. Стоящие и правильные строки. Много Мелентий оставил памяти по себе. Много лил, ковал и плюшил. Жалован был самим царем. Не обижен прибылями.

Первый в роду умножил родовую казну до миллиона рублей, а потом и далеко перевалил через него.

По кораблю и плавание, по плаванью и корабль. Построенный им дом назвал дворцом, который не обесславил бы и Питер, стой он там на самой разлучшей улице.

Честь и слава деду Мелентию, а памятника перед его дворцом так и не возвел ты, неблагодарный внук. Нехорошо, Лука Фомич, нехорошо обещать и откладывать с года на год! Теперь...

Не закончив мысль, Лука Фомич перелистнул еще несколько страниц и остановился, не желая того, на отце. На Фоме Мелентьевиче. Как живой, смотрит он на Луку со своих страниц, писанных им неопратно, срыву с маху, сразу набело. Пропускает и буквы, и слова. Не всегда поймешь, что и к чему. Такова и вся его жизнь — без царя в голове, без тревог и забот о своих заводах. Всегда навеселе, и умер на веселом пиру от перепития до разрыва сердца.

Но и он, родимый его батюшка, тоже, можно сказать, оставил по себе память в строениях. Одно из них не сразу и назовешь своим именем. Оно до того выпирало из заводской стройки, что Лука Фомич подумывал, не вырезать ли из «численника» отцовские самовосхваляющие строки об этом его строении.

Им был цирк.

Спервоначала, как пишет Фома Мелентьевич, цирк был тесовый, а потом на фундаменте и столбах, с настоящим куполом, как в больших городах.

Луку Фомича сердило, что его отец цирк описывал в таких доскональностях, которые уважающие себя и других люди оставляют при себе. Зачем знать, хотя бы ему, его сыну, не говоря уж о внуках, какие «фартовенькие, забубенненькие» были у него наездницы, канатоходки и акробатки, как они веселили его и дорогих гостей после представления на цирковой арене, приглашаемые на поздние ужины в господский дом...

Запомнились Луке Фомичу цирковые представления, даваемые для отца. Он один или с двумя-тремя заезжими промышленниками сидел в господской ложе, при пылающем камине, и наслаждался «позорищем». Просил повторять любимые номера, а кое-когда, если был не в себе, пробовал выходить на цирковую арену и... Нет, нет... об этом даже не хочется помнить Луке Фомичу.

Но помни не помни, а это все было, и кто-то, какой-то, неизвестно кто и какой, может быть, тоже молчком да тишком ведет свои записи, не упуская и не прощая в них ничего и, конечно, того, что не может простить отцу и сам он, его сын Лука Фомич. А с другой стороны...

С другой стороны, у всякого времени своя масть. В Екатеринбурге такое ли выкуролесивали золотопромышленники, рядом с которыми цирковые отцовские забавы безвинная пустяковинка. А если уж говорить по самой большой совести, то по какому праву не мог он позволить себе цирковое удовольствие? Не на чужое, а на свое сгальничал его отец. Строили же другие церкви, богадельни, больницы, памятники царям, а то и самим себе, — почему же запрещен цирк? Чем он не церковь для увеселительного отдохновения человеческих душ? И по сей день он им служит, да еще как хорошо служит!

Хотелось хотя бы как-то оправдать сыну отца, а оправдания, неподатливо супротивничая, оборачивались в обвинения. Что значит «сгальничал не на чужое, а на свое»? Свое — это не только его, но и рода Акинфиных.

Всех Акинфиных. И тех, коих нет, кои есть и кои будут. Об этом должен был знать его отец и не мог не знать, что ни один в их роду не убавлял наследственное, а хоть самыми малыми тысячами, да наращивал золотую казну.

А отец?

Укатывая надолго в столицы, живя там шире масленицы и веселее пасхи, он поубавил нажитое дедом Мелентием, поутишил заводские дела, поистошил наличные-неприкосновенные и оставил долги.

Единственное, чем украсил свою жизнь отец, так только пристройкой крыльев к дворцу, возведенному дедом Мелентием. Крылья с двусветными галереями, по правде говоря, не надобны были дому для пользы живущих в нем. Один форс да прибавка двух десятков печей. Зимой-то под сорок, попробуй протопи его продувные крылья, чтобы пройтись налегке, а если надобно, то и в исподнем. Зато хорошо возвеличил дом — дворец!

Да и как можно иначе назвать такую ширококрылую хоромину?

Дворец! И никто никогда теперь его в дом не переназовет!

Чтя память родителя, Лука разобрал печи и заменил их паровыми трубами. Стало теплы м-теплешенько во всем доме, до самых крайних его «циммеров», холодавших в студеные месяцы.

Об этом есть много строк в «Поминальном численнике». Нельзя поминать родного отца одними его прорухами, надо чем-то прославить и его.

Себя в «численнике» Лука Фомич не выставлял напоказ, не перехваливал в рассказываниях о себе. И без слов будет памятно и похвально самое скупое поименование свершенного им. Первый пар. Ковкий чугун. Лучшие веялки, молотилки, конные приводы. Самые дешевые серпы и косы. Литые и тянутые трубы. Омедненная проволока. Выкуп заложенного его отцом лесопильного завода и прилежащих к нему цехов древесных изделий и модельной мастерской. Полное освобождение от вексельных займодавцев. Удвоение производства гвоздей. Укрепление сваями трех старых плотин. Запуск в пруды для рабочих дорогой скороспелой рыбы. Первые прибыли от убыточного цирка. Скорые английские, немецкие болтонарезные станки. А с ними и гаечные. Ходовые фасонные утюги. Мелкое фигурное литье. Дорогой наем иноземных технологов. Наградные рубли рабочим к пасхе и рождеству. Прибавка покосов коровным рабочим. Им же удешевление дров. Упрочение поставки Молоховым чугуна и меди. Удвоение запасной казны на случай застоя спроса товаров оптовиками.

Двух листов не хватило Луке Фомичу, чтобы поименовать самое заметное. Для незаметного же, но достойного упоминания не достанет и десяти. Не канет в забытье и

оно — допишет Платон. Кому, как не ему, досказывать сделанное совместно с отцом. А о самом Платоше от дня его младости до юности и возмужания уже написано им. И он должен перечесть эти листы. А перечтя, воздать поклонение самой высокой скале во всем горном кряже, тянущемся от Харитона, сына Акинфиной Писанки, праматери всех пошедших от нее.

Незнаемо как желается Луке Фомичу в этот воскресный весенний день воздать хвалу Платону золотыми чернилами, присланными из Милана Жюли Суазье... Как хорошо памятна Луке Фомичу распрекрасенькая жившая у них гувернанточка. Приедет, покажется и осветит дом!.. Однако не о ней теперь разговор. Слова для Платона повыискать надобно. Лучшие из лучших, жемчужовые слова. Только вот руки после четвертьной бирюзовенькой выходят из повиновения голове. А нужно выложить на бумагу предупреждающие поучения, доказуемо, звено к звену, якорной цепью большого держания всех восьми шало-шальвинских кораблей.

Такое сочинение долженствует быть писомым на свежую голову и в глухой тишине укромной дальней горенки правого крыла. В ней все еще чутся кружильный запахок воздушных платьев Жюли!

Тут Лука Фомич останавливает резвость своих мечтаний и открывает «численник» на Платоновых листах, чтобы перечитать их, а потом прикинуть дальнейшее изложение чернилами незабвенной Жюли... И он принимается перечитывать озаглавленное им: «О сыне моем Платоне Акинфине». И далее тихо, шевеля губами, читает Лука Фомич свое чистописание:

ГЛАВА СЕДЬМАЯ **проверить**

«Родился мой первенец в ясный Платонов день, апреля дня 5-го, и с первого часа всеми видевшими его был признан похожим на своего отца.

Мать его, Калерия Зоировка, урожденная Устюжанинова, по причине боязни отощания наняла в кормилицы женщину благонравную, молодую, чистую телом и душой Марфу Скуратову, жену отменного кузнеца Максима Скуратова. Здоровье кормилицы и моя забота об ее сытости и ухоженности дали не оскудеть ее молоку, которого в достатке хватало и на ее сынка Родина, ныне Родиона Максимовича, прозванного и оставшегося молочным братиком Платоши.

Платоша пошел десяти месяцев от роду и говорить начал рано и внятно. Первым словом его было слово „Дик“, что значило Родик, который с ним рос и редкий день не кормился у нас, а жывал, бывало, неделями. Нянек к ним было приставлено четверо. Нянчились в очередь, по шесть часов в сутки.

Читать тот и другой начали с шести годов. Не на все склады, а только на легкие. К семи годам Платику наняли учительшу из опальных курсисток. Не высланную, но в столицу не допускаемую. А до нее был нанят гувернер мистер Макфильд, инженерского звания и с хорошими замашками. Желалось ему скопить небольшую суммочку для возведения своей фабрики по выработке самых мелких гвоздей, секрет изготовления коих держал при себе и для себя. Ради этого он приехал на Урал. Знал, где тысячи можно зашибить. Платили ему хорошо, но я, увидя, каков он, дал ему чуть не вдвое и взял к себе на завод по гвоздильной надобе и по гувернантской части. Он по-русски хоть и плохо знал, но понять было можно, а теперь так говорит, что другой речистый говорун ему не годен и набойками под каблуки.

Учить он должен был не „гудбаям“ и не шарканью ножками, а тому, как твердо стоять хозяину и наследнику на своих ногах. А учил он, сорок ему спасибо, старательно и умеючи. Родион подле него тоже поднатаскался — не пожалуешься. Вон каким стал теперь.

Уехал Макфильд с такими деньгами, о которых думать не мог, и увез с собой Платонову учительшу Анну Гавриловну вместе с ее двойняшками, узаконенными сынами Макфильдовыми.

Церковноприходские три класса Платон и Родик прошли дома за два года. Дальнейшее обучение тоже было при своем доме. Нельзя было, да и не надобно получать Платону гимназическую грамоту. Чему он там мог выучиться? Географиям да историям и не суметь после гимназии гвоздя вбить, не знать, из чего чугуны плавятся, как что из чего делается и как сбывается. Видывал я на своем веку обелорученных гимназиями сынков крепких заводчиков. До такого барства изуродованных, что могли только пропивать-проедать нажитое отцами, а потом через отцовскую же заводскую трубу вылетать банкротами.

Свою школу я надумал создать, хозяйскую. С заводскими науками. С пониманием, что к чему на заводах и как ими хозяйствовать.

Учителей для этого выписывать было не надо. На моих заводах любого бери. Три инженера, семь техников. Знай плати, и как учить, их не надо учить. Только поглядывай да не жалея плати. Преподадут что надобно. Только одна закавыка. Боялся, что одиночное или даже вдвоем с Родькой обучение мозги им скособочить могло. Заплесневеть и устать от науки они могли. Класс нужен как класс. С доской, с учительской кафедрой и с партами. И не дома, а как следует быть. И чтобы за партами было кому сидеть. Совет стал держать с знающими это дело. И хорошо сделал. Толково. Старый наш дом, что пустовал, в училищный дом переделать велел. А чтобы класс не пустовал, пришлось учеников подобрать и взять их на полный кошт, Платоновых ровесников. Из инженерских семей нашлись и подобрались из простых мастеровых Платоновы однокашники.

Перемобилировали старый дом. Переименовали технологическим училищем при заводах Акинфина — и вся недолга. Кому дело, как я своего сына хочу учить. Комнат лишковато оказалось. Тоже способ нашли. Одна классная, другая чертежная, третья игральная, четвертая столярная и слесарная. Без них нельзя. Если хозяин фабрики безрук, как он рукастым людом может повелевать? С первого года час в день строгаги, пилили, пришабривали, а потом и за настоящие изделия брались.

В Англии мне было преподано, что одними глазами инженерского дела понять нельзя.

И так вот из года в год один и тот же класс из первого становился вторым, второй — третьим — и до восьмого последнего. К последнему классу все, кто дотянул полный курс, на заводе как дома были. За техников стать не могли, а через годок-другой в хорошие мастера годились. Не по дедовским навычкам, а по полному пониманию заводских работ. Стальная закалка,ковка, прокат, литье, обточка и прочее добавочное зналось и книжно, и руками опробовано.

Кончился курс, и училище кончилось. В гостевой дом теперь перемобилировали его. Надо было дальше Платона учить. Опять закавыка. Аттестат требуется. Его можно легко добыть. За деньги и золотую медаль добавляют. Только зачем это и для чего? И Платон так же сказал. Ему уж семнадцать было. Зачем фабриканту аттестат? Золотые умения нужны, а не бумага с золотыми буквами.

И опять все гладко пошло. Да и как не пойти, когда он в эти годы на своих ногах. Сам знает, что надобно ему знать, чему учиться, что мимо пропускать. В трех местах Платон вольным слушателем стал. А что не дослушает, на дом к профессору стал ходить. Дома он ему дочитывал недочитанное. Деньги всем надобны.

Питер Питером, но кроме него есть где и чему поучиться. Из Лондона сколько инженерских голов вышло. Почему бы туда не наезжать, когда ихний язык стал как свой, еще сорок спасибо за это мистеру Макфильду. Старая хлеб-соль никогда не забывается. В Лондон Платон как домой приехал. Я свез — и прямехонько к Анне Гавриловне, миссис Макфильд. Почет и место. Две комнаты. Полный пансион и полная картина, где и чему выучиться можно. Опять вольнослушательно дело пошло. Расчет там простой. На все своя такса. На любой завод тем же чековым ключом двери открываются. К вашим услугам и с великим предпочтением. Хочешь — мастера, хочешь — инженера приставят. И все на совесть, лишь бы стерлинги.

Диплом даже навязывали и совсем за малые фунты хотели для диплома Платона поднатаскать. А я с улыбочкой и наотрез. Зачем он ему? Не на казеином заводе служить, где за диплом деньги платят, а на своем заводе головой надо до всего доходить.

Так, дети мои, внуки и правнуки, вам и надобно знать, как начался мой сын Платон и каким он стал. А каким он будет, про то любящий его отец не один лист для вас напишет».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прочитав написанное о Платоне, умилившись написанным, Лука Фомич почувствовал себя усталым, отложил продолжение описания дальнейшей жизни Платона, после возвращения его в Шальву. Хотелось это сделать на свежую голову и прежде написать черновые листы, перечитать их, а потом уже переносить в «Поминальный численник» «на века» и в наилучшем виде.

Лука Фомич, желая как можно больше рассказать о Платоне, почти не знал о годах, проведенных им в Лондоне. О них он знал только по немногословным рассказам Платона и письмам Макфильдов. Они писали о Платоне, как о великом подвижнике, поражаясь его терпению, энергии, жажде к знаниям.

Макфильд предрекал: «Ваш сын, Лука Фомич, удивляя своих сверстников юности, в зрелые годы влюбит в себя и тех, кто способен только завидовать и ненавидеть».

Анна Гавриловна писала: «Как я счастлива, что мне пришлось Тонни отдать лучшее, что я могла, и как я несчастна, что отдала ему меньше, чем надо. И все же я сумела привить любовь и уважение к тем, кто трудится, я смею верить, что не зря потратила время и там, в Шальве, и здесь, в Лондоне, беседуя с ним. Он понял главное для всякого фабриканта, которое состоит в заботе о своих рабочих и служащих у него. Многие изменятся, почтеннейший Лука Фомич, в старой Шальве, когда Ваш сын, Платон Лукич, придет туда Вашим помощником, если не сказать большего...»

Все восхвалявшие Платона касались только его деловой стороны, его «технологического гения», нигде не упоминая о его любви к музыке, к театру, к Шекспиру, и никто не знал о его романтической встрече в Лондоне, на берегу Темзы.

Поклонник Шекспира показал себя одним из его героев, имя которого вы тотчас назовете, как только узнаете, что рассказал Платон отцу по приезде из Англии. Правда

выглядела театральным правдоподобием по вине самого Платона, рассказывавшего и разыгрывавшего то, что произошло.

— Я, па, мечтал о необыкновенной встрече с необыкновенной женщиной и необыкновенной любви...

— Кто в нашем роду не мечтал об этом, а женился на обыкновенных домнах или заводах. Говори, Тонечка, дальше и не тяни kota за хвост... У меня сердце выскочить готово. Я ждал тебя холостым и наворожил тебе доменное приданое...

— Па, если твое сердце выскочит, оно вскочит обратно, когда ты узнаешь, как я счастлив...

— Молчу. Слушаю.

— Ты знаешь, па, я всегда любил реки... Конечно, па, Темза не Шалая и не Шальва, но тоже река, и я любил прогуливаться вечерами по ее набережной. Темза очень хороша вечером.

— Ты не о Темзе, а о ней... Как хоть звать-то ее?

— Лия. По святцам Цецилия.

— Русская?

— Коренная.

— Ой ли?

— Если графов Строгановых считать коренными, то их праправнучек, наверно, тоже не следует считать иностранками. Значит, она почти графиня.

— Кто сватал?

— Никто.

— А венчал?

— Темная ночь.

— В Питере?

— В Лондоне. Я уже сказал...

— А она там зачем была?

— У ее отца там дом.

— А кто он?

— Почти князь.

— Да что ты, Платон! Все «почти» да «почти»... Хороший ли этот «почти князь» или тоже почти?

— Я еще не видел его.

— Так что же, сбегом, сходим, что ли, вы...

— Почти.

— Тогда рассказывай со всеми завитушками. Молчу!

Платон теперь мог рассказать, как хотелось ему:

— Я шел по набережной Темзы, и она шла. Навстречу. Я остановился, увидев ее, и обомлел. И она остановилась, увидев меня. А стоять было нельзя. У англичан не принято... И она уронила ридикюль, я поднял и подал. Она по-русски сказала: «Спасибо». Я еле устоял. И тоже по-русски сказал: «Уроните, пожалуйста, что-нибудь еще». Она уронила кружевной зонтик. Я подал ей и сказал: «Клянусь, никогда не забуду вам этого счастья». И... И мы обнялись и расцеловались.

— С чего же вдруг?

— А черт его знает, с чего. Если б мне кто-то ответил на этот вопрос...

— Спросил бы ее.

— Спрашивал. Она тоже не могла понять, почему это произошло. А теперь мы

оба не хотим знать об этом.

— Ну, хорошо. Обнялись. Расцеловались... А потом?

— А потом она сказала: «Возьмите меня под руку». Я сказал, что это уже сделано. И мы засмеялись так громко, что на нас оглядывались. Шокинг же...

— Да и такой, что, по лондонским порядкам, вас в полицию могли «зашокинговать»... А дальше что?

— Пошли.

— Куда?

— Вдоль Темзы.

— Зачем?

— Видимо, так было надо и ей и мне.

— Долго шли?

— Не измерял.

— Молча шли?

— Нет, разговаривали.

— О чем?

— Обо всем, и о себе. Я назвался инженером. Я уже был инженером. Она тогда назвалась учительницей гимназии. Потом узнали имена.

— Когда потом?

— На другой день утром.

— Поздновато.

— Да, это нужно было сделать раньше. Но было не до имен. Другое занимало нас: как мы могли найтись, найтись и понять, что мы давно, очень давно искали друг друга... Тут, черт возьми, и в судьбу поверишь. Наутро мы решили обвенчаться в русской церкви. Нас встретил отец Лука. Заметь — Лука! Он недолго расспрашивал о нас. Мы рассказали ему больше, чем он хотел. Мы к этому времени вспомнили о первой, забытой нашей встрече на строгановском балу. Поп Лука знал тебя. Или слышал о тебе и не сомневался, что венчание без согласия родителей поможет ему купить небольшой коттедж в предместьях Лондона. А ее отца он знал хорошо. Мы должны были исповедаться и причаститься. Это он сделал очень быстро. У меня оказалось не так много грехов. Кроме одного. У нее тоже их было мало. И только тоже один, хотя и большой. Недавний. Ночной. Отец Лука от имени бога простил нас и обвенчал. Она не знала, как сказать об этом отцу, для которого она была всем. И я не знал, как сказать тебе. Потому что для тебя я, кажется, тоже все. И вообще у нас все было чертовски похоже. И это страшило. Через неделю она уехала в Петербург. Через две недели и я простился с Лондоном. Без нее он стал пуст для меня. И снова, дьявол, конечно, кто же мог еще продать мне билет на тот же пароход, на котором уехала Лия.

— Ну, а потом?

— А потом оказалось, что я женился на немереных, на несчитанных лесах, которые были приданым ее матери и от которых отказался ее муж князь... то есть почти князь Лев Алексеевич Лучинин, находя безнравственным переводить на свое имя не принадлежащее ему. И прикамские лесные зеленые миллионы стали приданым Цецилии. От них также отказался и я.

— Как?! — взревел Лука Фомич.

— Я так же нахожу безнравственным наследовать чужое.

— Дурак ты, Платька... Дурак, Тонька... Ну, да ничего, ничего, — радовался Лука, — отец у тебя еще не выжил из ума... А река Темза отличная река. До Шалой ей

далеконько, если брать по красоте, а по всем остальным данностям, можно сказать, почтенная портовая река...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Повторяясь, скажем, что всякий и читающий знает, как трудно бывает одолеть вводные главы, а между тем без них, как без фундамента, невозможно сооружение, будь оно даже самым легким. И все же...

И все же следовать далее «численнику», соблюдая хронологическое описание второстепенного, утомило бы не только перо, но и бумагу. Поэтому, перешагивая через многие события, оставим преддверие романа и окажемся в нем самом. Но и в этом случае мы снова не избежим описания мест действия, фона и атмосферы Шало-Шальвинских заводов, на которых появился молодой хозяин и вместе с этим начались стремительные перемены в судьбах заводов и людей, каких не случалось на памяти старожилов и в молве, и в записях о прошлом.

В первые же недели «возвращения» Платона Акинфина в различных слоях его заводов, заводов ближних и дальних, его называли такими несхожими словами, что и сокращенное перечисление их привлекало к нему внимание и тех, кто давно перестал интересоваться чем-либо.

Кто и как только не называл... Чокнутым недоучкой. Завиральным краснобрехом. Околдованным «самоубивцем». Безбоязненным реформатором. Скрытым царенананистником. Улыбающейся гадюкой. Неуличным бунтовщиком. Опорой закабаленных. Тихой бомбой. Христом безверных. Пророком черни. Фокусником умиротворения. Жонглером процветания. Чародеем ограбления. Медовой отравой. Отрезвевшим фабрикантом. Юродивым миллионером. Самим про себя. Самородком. Взрывным самородком...

Мало будет и двух страниц, чтобы выписать самые краткие характеристики Платона, но и приведенное дает представление об отношении к молодому Акинфину, хотя и не определяющее суждение большинства. А большинство было молчаливым, придерживающимся пословицы, в которой слово имеет опасное различие с воробьем в том, что, выпустив его и не поймав, можешь сам оказаться пойманным.

Теперь о заводах...

Акинфинские заводы были построены вразброс. Ставились они порознь не по человеческому хотенью, а по речному велению, как и большинство старых уральских заводов.

Там, где река богата водой, где можно скорее и легче запрудить ее, возникала плотина, а ниже ее — завод. Вода не так давно была единственной силой, определяющей мощность завода. Об этом уже писалось сто раз.

Притоки рек Шалой и Шальвы невелики, но по весне щедро наполнили пруды и позволяли заводам не останавливаться до середины зимы. Если же осень бывала дождлива, то воды хватало еще на месяц-другой.

По справедливости следует благодарить и малые реки за даровую силу, но зависеть от их причуд куда как не легко. Заводчику еще так-сяк, можно перетерпеть, повесил замок — и вся недолга, но каково рабочему? Тричетыре месяца сидеть без дела, ожидая вешней воды, — тяжкая доля.

Увесистым словом «завод» не всегда справедливо назывались небольшие акинфинские промышленные заведения, которым следовало бы значиться

мастерскими. Такими мастерскими был косный завод на речке Люляевке. Здесь косы, серпы, ножи, пилы производились почти теми способами, что и кустарями, промышлявшими этим товаром.

Пильной мельницей называли в обиходе лесопилку, на вывеске которой теперь значилось: «Паровая фабрика древесных изделий Луки Акинфина и сыновей».

«Чугункой», так же по старой привычке, звался «Завод чугунного и медного литья», с тем же обязательным добавлением, что и на всех заводских вывесках: «Луки Акинфина и сыновей». В разные годы здесь лили то, что спрашивалось и заказывалось.

Больше был «Механический завод» на реке Шалой. Четыре цеховых здания. Девять труб. Паровые двигатели. Новые станки помогали рукам, но всего лишь помогали. Заводом управлял «выписной» инженеру.

Заводом было можно назвать и старую «Доменку» с новой вывеской. Лука Фомич, любя вывески, устанавливал их и там, где было бы лучше обойтись без них. Например, совсем не нужны они были на конном дворе, на водонапорной башне и на воротах дворца Акинфиных. «Доменка» завышенно именовалась «железоделательной фабрикой».

Самым большим из акинфинских заводов был Шало-Шальвинский. По его имени назван и населенный пункт Шалая-Шальва. Она долгие годы жила под властью воды. В каждой рабочей семье знали до вершка ее зимнюю убыль. И когда она подходила к последней убыльной черте, мрачнело и солнце. Боязнь «короткой недели» и «уполовиненного дня» сказывалась на всем. Рабочие урезывали себя в еде. У лавочников затихала торговля. Начинались поиски, где что и как добыть. Шли на рудники. За пятак готовы были сделать то, за что в рабочие месяцы и полтина была малой платой.

Теперь это все в прошлом. Начал появляться пар. Не везде, но начал. Воды требовалось меньше. Лука, соболезнуя людям, задолго до пара припрягал к воде лошадь.

Лошадь и конный привод дорогая сила, но не убыточная. Пар — совсем другое дело. Он тоже по первости был дороже воды, а потом подешевел. Можно было не опасаться безводной зимы. Работа круглый год. Круглый год хлеб. Не через край, но не впроголодь. Подкармливали и свой огород, своя коровка, а если держалась и мелкая живность, можно было варить и мясные щи.

Такой была шало-шальвинская вотчина, к хозяйствованию которой готовил себя Платон чуть ли не с отроческих лет. Он еще на школьной скамье говорил своим сверстникам, кто и кем будет, кого и куда назначит он. Самым первым и самым главным над всеми заводами назывался Родик Скуратов, не потому, что он его молочный братик, а потому, что он верит ему во всем и доверяет ему все тайны, и даже такие, которые он не имел права знать сам, а узнавши, обязан был их тут же забывать.

Родик честен, смел, откровенен. И что самое главное — Родион не даст в обиду работающих на заводах, чего не могут сделать назначенные отцом управлять и начальствовать. Не могут, потому что они «из другого теста». Так говорит отец Родика, его мать и почти все рабочие люди.

Платон с детства знал свои заводы, любовался ими. Любовался до тех пор, пока не увидел в Англии, Германии, Франции, Бельгии несравнимое с тем, чем гордился его отец. Он мог называть большими успехами достигнутое им по отношению к

заводам своих соседей, едва поднявшихся над варварством мануфактур. В остальном же отцовские преуспевания значили так мало, что невозможно было сказать вслух.

Ему очень жаль отца и стыдно за него, называющего преуспеванием мизерные новшества. Что из того, что его отец сумел подняться над изнуряющей человека кустарщиной. Как сказать отцу, что невелика заслуга ползущего, перегнавшего стоящего и лежащего. Нелегко заявить об этом и человеку, который был обязан совершенствовать заводы, получавшему от Акинфиных огромное вознаграждение за его очевидное безделье.

Человек этот звался Феофаном Григорьевичем Шульжиным. Он был кумиром отца, доверившего ему свои заводы, называл его достойнейшим из всех управителей, каких он знал на своем веку. Лука Фомич был не прочь женить своего младшего сына Клавдия на дочери Шульжина Кэт. И этим самым заполучить радение за акинфинские заводы управителя, ставшего родней.

Отец наказывал Платону, и он помнит дословно напутственное наставление:

«Не гнушайся, Платоша, и малыми советами Феофана Григорьевича, в них всегда скрыта большая мудрость умения повелевать и править. И он по первости поднатаскает тебя, сын мой, в этой трудной науке хозяйствования».

Милое охотничье, собачье словцо «поднатаскает»! В чем? В том, что не известно ему самому? Что чуждо ему со дня рождения? Чуждо всей его природе. Чуждо образу его мышления, его боязни встретиться с теми, кому обязаны все на этих заводах, и теми благами, которые он получает.

Платон откладывал встречу с управляющим заводами. Не хотелось видеться с ним для проформы, выслушивать поучения, о которых был наслышан. Платон в первые дни своего приезда. Он встретился с другим «натаскивателем», которого любил с детства и до сих пор считал своим наставником. Он первый научил держать его молоток и зубило, потом подвел его к наковальне и помог отковать первый большой, настоящий гвоздь, который до сих пор хранится дорогой памятью. Он и сейчас работает на самом большом паровом молоте и учит этому мастерству молодых «паровых кузнецов».

Его имя Максим Иванович Скуратов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Скуратовы уважаемая кузнечная фамилия. Сам Скуратов Максим Иванович и его жена вхожи в дом Акинфиных запросто. Как мы помним, Марфа Ефимовна была кормилицей Платона, а ее сын Родион, тогда Родик, был любим в семье Акинфиных.

Платон сразу же по приезде пришел в старый дом Скуратовых. Ему хотелось узнать, правда ли, что Родион собирается побывать в Шальве. Их пути разошлись после окончания технического училища. Об этом еще будет рассказано. Сейчас же, чтобы не потерять основную нить этой главы, мы послушаем суждения Максима Ивановича Скуратова о рыбе, которая, всегда тухнет с головы.

Этой широкоизвестной поговоркой он начал разговор об управляющем заводами Шульжине:

— Ежели, Платоша, на прямоту, как бывало на шальвинском берегу, во времена нашего давнего ужения, то надо сказать, что головы на наших заводах нет. Есть его высокоблагородный мундир с золотыми пуговками, при мундире пухлявые бакенбардины, а над ними розовая плешь и больше ничего.

— Дурак? — так же прямо спросил Платон.

— Будь бы он им, тогда бы все проще было. Он сидетель.

— Кто?

— Как бы тебе понятнее... Это хорошо вышколенный статуи, обученный сидеть. Понимаешь, сидеть. Сидеть сановито, величаво, приказательно и всезнаемо и скрывать, что нет ничего ни в нем, ни при нем. Уметь сидеть — это тоже наука, которую годами старательно постигают с малой чиновной ступеньки до их превосходительской высоты. Лучше мне, Платоша, не объяснить...

— И не надо, Максим Иванович. Вы очень хорошо объяснили. В чем же его сила? За что так чтит его отец?

— Об этом, Платоша, спрашивай не у меня. Спроси у тех, у кого никто и никогда не спрашивает, которым только велят, с которых только спрашивают и... Да что там, не буду досказывать. Само дело доскажет... Если ты, конечно, с дела начинать будешь, которое не в конторе сидит, а у наковальни стоит, руду плавит, листы катает, льет и формует. Среди них тоже всякие есть головы, но и самая пустая из них правды про нашего управителя не утаит. А если утаит, глаза выболтают...

Начавшийся разговор в доме Скуратовых продолжился на заводских покосах, куда пошли они, потому что туда пошло.

Максиму Скуратову не хотелось говорить о сыне, уволенном Шульжиным с завода, чтобы не выглядеть ненавидящим его за оскорбленного им Родиона. А все же пришлось сказать:

— Сын сыном, и я не хочу в одном горшке разные каши варить, но если подумать вглубь, то каши-то эти из одной и той же крупы. Родион был ненавистен этому борову не потому, что был неуступчив, а потому, что сын не служил при заводе, а как бы жил в нем. И завод тоже... Как бы тебе это понятнее... Завод тоже жил в нем полностью, от проходных ворот до колпаков на трубах... На этом он и проштрафился... Да и сейчас проштрафливается... Не может мой Родион, моя кровь, «на месте шагом марш», вперед рвется. Жизнь-то ведь не стоит, Платошенька. Ему хотелось, чтобы и завод не стоял...

— Где он теперь, Максим Иванович?

— В Мотовилихе, накануне выгона. И не накануне, а, можно сказать, дела сдает. Жду. Со сношкой приедет.

— Когда?

— Кто его знает. Может быть, к Любимову на судовой завод поступит. Говорят, зовут, а так это или нет, не скажу.

Платон остановился, положил руки на плечи Скуратову и сказал:

— Он никуда не поступит, Максим Иванович. Никуда.

— Я понял тебя, Платон Лукич. Захочет ли только тебя понять Родион? Не тот он теперь... Не тот. И не в том дело, что Шульжин и его вышульжил, а в том, что Лука Фомич промолчал.

— Промолчал? Родик был у отца?

— Лука Фомич сам приходил к нам. Хорошие слова говорил. И денег сколько-то много навяливал... Родион, само собой, не из тех, кто берет, молчит да кланяется. Ничего не сказал Родька Луке Фомичу, только в глаза ему посмотрел и, не попрощавшись, повернулся к нему спиной и знать его больше не захотел.

— Молодец! Ей-богу, молодец!

— С той поры перед Шульжиным и я шапки не снимывал. Увижу на улице — не

узнаю. Не стало его для меня. А я для него был. Не без его укаски мне наградные выписывали. Не без его ведома и на паровой молот перевели. Чует кошка, чье мясо съела, да не знает, как с этого мяса будет она блевать.

— Я думаю — плохо...

— Думать и заяц думает, а лиса его жрет...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ничего тогда на это не ответил Платон Максиму Ивановичу. Он усвоил давнее наставление гувернера Макфильда: «Отвечай за отвеченное». Необходимо было какое-то время выждать, пока первое беглое впечатление о заводах будет проверено им и взвешены намечаемые планы. Он ходил по заводам. Разговаривал с теми, кто знал его. Знакомился с новыми, неизвестными ему мастерами, техниками, служащими завода. Заводил беседы и с теми, от кого, казалось, нечего ждать, а потом выяснилось, что нет человека, который бы не обронил золотой крупицы истины. Так, один из работающих на шихте сказал:

— Говорят, молодой хозяин приехал и будто беда какой не дурак. Увидь бы я его, так, без награды, дело бы не обошлось.

— За что?

— За выдумку!

— За какую?

— Не перепродашь?

— Зачем же? Я разве похож на мазурика?

— Тогда при свидетелях скажу. Слушай. Знаешь ли ты, на чем у нас тысячи рублей убытков растут, на чем они зимой в снег, а летом в землю втаптываются?

— Не знаю.

— Так знай! На дороге! Вон таратайка-грабарка. Много ли везет она? С кошкину селезенку везет она. А подложи под таратайку самые захудаленькие рельсишки, даже из прокатной угловой полосы, сколько может тянуть эта же самая лошаденка? Вдесятеро! В двадцать раз... А если чин чинарем рельсы дать, конный поезд можно пустить.

— Ты прав, как тебя звать...

— Зовут меня зовуткой, величают уткой, а по фамилии я Микитов.

— Так вот, ты прав, Микитов. Ты дьявольски прав. И считай награду в своем кармане. Давай познакомимся. — Он протянул руку: — Я Акинфин Платон.

Парень не оробел. Протянул свою руку и соврал:

— А я так и думал, это ты это ты, а не новый техник.

— Положим, ты это врешь...

— Вру?.. Вру! И не потому, что врун, а потому, что показать не хочу, что я дурак дураком.

— Чаше будь им.

— Да могу хоть каждый день. У меня всегда ветер в голове, и он мне в нее такое надувает, что пот прошибает.

— Очень хорошо, что прошибает... Награда за мной! Сам не придешь за ней, она за тобой придет...

Неожиданная встреча и еще более неожиданный разговор оживили в Акинфине давно дремлющее и казавшееся далеким желанием связать разобщенные заводы

узкоколейной железной дорогой. Это было дорогой и трудно осуществимой затеей, которую он, считая фантазией, гнал от себя. А сегодня, возвращаясь на велосипеде с «доменки», он поверил в свое «узкоколейное кольцо». Парень убедил его тем, что он так ясно и так наглядно представляет себе конную железную дорогу из «уголка» и брусьев вместо рельсов. Почему же он, инженер, умеющий представить ее практически, боялся своей затеи?

Платону не захотелось возвращаться домой. Он боялся растерять мысли. Он свернул по тропинке в лес, поставил велосипед возле пня и, сев на другой пень, принялся рисовать, какой может быть эта узкоколейная дорога. Где пройдет она, кто будет строить ее и что понадобится для этого. Рельсы он накатает сам. Шпалы растут в своих лесах. Небольшие паровозы в этом кризисном году ищут покупателей. Их нужно Два. Вагонетки не обязательно покупать, их легко сделают свои мастера в Шальве.

Кружится голова... Только подумать, что все заводы станут как бы одним заводом! Дорога потребует больших денег, но вернутся они тут же. Пусть не за год, за три года дорога оправдает себя и будет давать прибыль. Огромную прибыль.

В ушах звучат слова Микитова: «Вдесятеро... В двадцать раз!» И тут же наплывает сказанное Максимом Скуратовым: «Сидетель!»

Почему же этот сидетель не высидел такого очевидного? Хотя бы от домны к руднику самую простую, полудеревянную вагонеточную дорогу, какие есть на многих кирпичных сараях.

Платон нагнетал улики и негодование. Он чувствовал себя готовым к встрече с управляющим, но сдерживал гнев. Все тот же Макфильд предупреждал его: «Хорошо, когда есть неопровержимая улика, но лучше, когда их две, кроме еще одной — третьей, про запас».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Скоро сказка говорится, да не скоро дело делается. На этот раз оно делалось не столь медленно, как предполагал Платон, решив побывать во всех цехах всех заводов. Как бы ни различались они по производимому, но были схожи общими чертами, общим духом. Следовало бы сказать, что их объединяло какое-то не то безразличие, не то неуважение, где-то переходившее в ненависть к работе.

Платону, бывая в Иркутске, у двоюродной сестры Анны, дважды приходилось видеть работу каторжников. И почему-то они вспомнились ему. Общего как будто ничего, а какой-то бес нашептывал ему: «Пусть не то же, но похоже». И как ни отмахивался от этого Платон, а «бес» не лгал, как и «Зовут зовутка» Микитов.

Почти не было цеха, где бы негодование и усмешки не заставляли Платона напрягать все свои силы, чтобы сдерживать кипящий в нем гнев и сжигающий его стыд. А стыдило все. И загрязненные до черноты, не пропускавшие хотя бы намек на свет стекла цеховых окон. И слой в ладонь толщиной мусора, втапываемого годами, ставшего бугристым напластованием, мешающим ходьбе. И беспорядочность в расстановке станков, и небрежение к материалам, отходам, к готовым изделиям. Ко всему, что составляет цех и дает право называться ему страшным словом «каторга».

При появлении Платона не все и не всегда опознавали в нем нового молодого хозяина. Не таким представлялся он. Главный хозяин, изредка появлявшийся на заводах, был с «цилиндром» на голове, в долгополом «спинджаке», с золотой

цепочкой по животу и с хвостом свиты до дюжины. А этот...

А этот без ничего на русоватой голове, в синей тужурчишке за рубль за двадцать и в сапогах. Не простых, а стоящих, каких, может, и нет во всей Шальве, а все же в сапогах.

Не рядится ли?

Похоже, что нет. Да и зачем ему рядиться? Перед кем? Ради чего?

Платон на самом деле, одеваясь так, не преследовал никаких «демократических целей», как с чьих-то слов повторяли многие голоса. В этой одежде он появлялся и «там», на чужих заводах, опробуя своими руками станки тех фирм, которые производят их.

Сапоги удобны для езды верхом и на велосипеде. Сапоги носил он вплоть до отъезда в Петербург. Об этом роде обуви, может быть, не следовало говорить так много, если бы она не была общепринятой на Урале, особенно в те годы. Сын миллионера рос в среде рабочих ребят. Иной почти не было, если не считать пяти-шести сверстников из инженерских семей. Но не все они подходили в ватагу Платошки Акинфина, остающегося при его имущественном превосходстве сыном необразованного человека, набравшегося барских ухваток и оставшимся верным своему сословию «купца». Так что Платоновы сапоги в том числе и некоторое внешнее выражение, особенно теперь, окрашивались идеей «равновесия».

Заканчивая о сапогах, так навязчиво прилипших к перу, заметим, что средний начальствующий состав заводов и управляющие заводами нашли сапоги так же «удобными», как и куртку из плотной синей ткани.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Все в Шальве ждали перемен. Одни чуяли, другие знали, что не зря молодой Акинфин днюет и чуть ли не ночует на заводах. Не из любопытства же вникает и в то, что никогда никем не замечалось. Видит и разглядывает пустячное из пустячного и спрашивает о нем, как о немаловажном и стоящем внимания к нему.

Приказов и распоряжений никаких не отдает, но как-то получается само собой, без замечаний, примечательное шевеление начальства. В цехах замельтешили редко бывавшие в них их благородия, и дважды снизошел до посещения заводов его превосходительство сам управляющий, семипудовый господин Шульжин. Он будто бы желал нечаянно встретиться с Платоном Лукичом, а тот не пожелал такой нечаянной встречи.

Наслышанные люди открыто говорили, как молодой Акинфин велел передать управляющему заводами, что встреча с ним произойдет, когда она будет полезной и необходимой.

Как хочешь, так и понимай. В цехах это понимали точно и определенно, а поняв, решили не бояться власти над ними Шульжина и его услужливых ему «ушей».

Заслуживающие уважения и доверия люди про Платона говорили:

— Рая он не принесет, но кандалы с нас будут сняты. Значит, нужно ему в этом помогать.

— Как?

— Кто как может. И, во-первых, не молчать.

А что значило не молчать? Не говорить же во все рты всем гамузом. Нужно назвать стоящих людей. Не говорунов, а твердых говорителей, умеющих коротко и

ясно выложить суть.

Какую суть? Сутей много.

Сначала главную, а остальные смотря по разговору.

Цеховые сходки были затруднены, но находились возможности встречаться, обмениваться мнениями, наказывать нужное избранному «ходоку». Дорогу хождением, как и предполагалось, проторил Максим Скуратов. Он посоветовал:

— Платоша, ходить по цехам тебе надобно. Глаза — хорошие подсказчики, но уши им вприпрыг помогут лучше понять увиденное и тем паче скрытое от глаз. Прими поодиночке назначенных рабочими поговорить с тобой...

Платон был рад таким встречам и оценил их как первую ласточку взаимного понимания всегда враждующих сторон. Не в этом ли залог пусть ничтожно малого, но все же начала осуществления «гармонического равновесия взаимностей»?

Ходоков оказалось много. Больше сорока. По часу на каждого — сорок часов, С некоторыми беседа затягивалась на весь вечер. Так требовало дело. Платон хотел знать больше. Пришедший боялся, что его рассказы отнимают время, а Платон свое:

— Они мне сберегают время. То, на что мне понадобилась бы неделя, я узнаю за несколько часов.

Он не преувеличивал. Картина состояния Акинфинских заводов ими дорисовывалась тщательно, правдиво и детально. «Ходоки» толково и с таким знанием дела, о котором говорилось, выкладывали ту суть, что Платон находил среди них будущих начальников цехов.

Чрезвычайно интересно изгнанный конторщик Флегонт Потоскуев анализировал баланс фирмы.

— Не доверяйте мне полностью, Платон Лукич, — предупреждал он, — потому что я говорю, во-первых, по злобе, а во-вторых, у меня еще нет опыта... Но всегда ли нужен большой опыт, чтобы понимать, что и прибыль может быть убыточной, если она вдесятеро, скажем, меньше, чем могла бы, чем должна бы быть... Вы, извините, Платон Лукич, далеки от бухгалтерии, и вам затруднительно понять, что ваши прибыльные заводы несут громадные убытки от, простите за словечко... от «недоприбылей»...

— Прекрасное словечко! Что вы закончили?

— Почти коммерческое. Частное училище. Не хватило денег за последнее полугодие. Папочка был болен бахусовой одержимостью, и я был вынужден содержать семью. Теперь я и этого лишился...

— И давно?

— Второй месяц.

— Скажите вашему главному бухгалтеру, что я приназываю уплатить вам за эти два месяца и назначить вас его помощником. По анализу прибылей.

— Возможно ли это? Он с этим никогда не согласится...

— Тогда скажите — я приду и буду умолять его смириться и уважить мою просьбу.

Флегонт Потоскуев, видя, что разговор закончен, раскланялся, в нерешительности постоял и, уходя, сказал:

— Спасибо, добрейший Платон Лукич, только я не могу быть помощником у жулика и вора, у поддельщика документов и у сообщника главного вора.

— С этого надо и было начинать. Тогда я предложу вам другую должность при мне. Должность... сейчас назову ее... должность доверенного-ревизора. Оклад...

Оклад определим совместно, а пока скажите вашему... Впрочем, зачем вам обращаться к нему за получением денег? Утром, в девять, я вручу вам... При мне всего лишь пять или шесть рублей.

— С меня достаточно будет рубля. Я голоден...

— Ия, представьте, тоже. Сейчас нам накроют стол, и мы... Велим подать баранью ногу целиком и что-то к ней достойное ее, затем начнем знакомиться поближе...

Так состоялось весьма нужное знакомство с талантливым молодым экономистом, который станет во главе финансов фирмы. Он выплеснул вчера недопитое ненавистное ему вино вместе с ужасающей бедностью, а сегодня положил на стол своей матери пять сторублевых бумаг и сказал:

— Мамочка, две папе на мраморный памятник, остальные на текущие расходы. Не экономь! У меня теперь очень большое жалованье. Очень большое, — едва договорил Флегонт, не желая далее останавливать счастливые рыдания...

С утра по-прежнему Платон, методично переходя из цеха в цех, от станка к станку, продолжал свое знакомство с заводами. После обеда принимал и выслушивал приходящих к нему. Стали появляться знакомые и незнакомые лица рангом повыше. Техники. Исполняющие обязанности инженеров. И дипломированные инженеры.

Одних приводило сюда желание рассказать о положении дел. Другие «считали своим долгом нанести визит». Третьи боялись потерять место и на ходу изменяли курс, суждения, приверженность и даже то, что именовалось еще вчера святыми принципами.

ЦИКЛ ТРЕТИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Ба-а! Наконец-то! Платонций-свет... Прошу садиться...

Платон не ожидал такой развязности Шульжина. Не ожидал он и от себя того, что он сказал:

— Прежде чем я сяду, встаньте вы. Выйдите навстречу мне из-за стола. Таков этикет перед началом всякого делового разговора. Не беспокойтесь, — предупредил Платон, когда Шульжин готов был подняться, — вас не приучили к вежливости с крепостнических лет вашего детства. А позднее она была вам противопоказана табелью о рангах. Вам переучиваться поздно и, думаю, не нужно.

— Извините, Платон Лукич, я не предполагал такого неуважения хотя бы к моему мундиру...

Шульжин встал и прошелся по ту сторону его огромного письменного стола, будто желая показаться во всем блеске формы — от тихо звякающих шпор, ярких лампасов до наград, теснящихся на груди, и покрывающих излишне щедро его плечи эполет.

Покрасовавшись так, Шульжин вкрадчиво попросил:

— Не лучше ли начать с «как вы поживаете»? Не лучше ли спросить, какое впечатление произвели на вас, Платон Лукич, наши заводы?

— Мне понравилась ваша парадная бутафория.

— Это вы так называете, Платон Лукич, форму, утвержденную его величеством

для их превосходительств, каким являюсь я?

— В частной фирме нет чинов, мундиров и эполет. Их для фабрикантов не нашел нужным утвердить его императорское величество.

— Однако же даже мажордом вашего батюшки пребывает на званых обедах Луки Фомича в форме полковника императорского полка.

— Это тем более чистой воды бутафория.

— Вы, надеюсь, запомните сказанное вами... А теперь прошу ответить на мой вопрос о заводах.

— Вопросы буду задавать я. Потому что я пришел к вам, а не вы ко мне. Это право дает мне все тот же этикет. Есть и другое право. Оно в контракте найма вашего превосходительства нашей фирмой.

Шульжин сел на свое место.

— Спрашивайте. Я готов.

— Прошу вас, ваше превосходительство, пересесть на диван. Стол слишком широк, он затрудняет разговор расстоянием. И опять же этикет не позволяет вам сидеть по ту сторону стола, а мне по эту.

— Я для вас готов сесть у порога или отвечать стоя, руки по швам. Ведь я же в ваших глазах нанятый, а не соблаговоливший уважить просьбу вашего отца.

Пока Шульжин переходил из своего кресла на диван, Платон предупредил его:

— Прежде всего, Феофан Григорьевич, не утрируйте. Не в ваших интересах ожесточать меня. Поверьте мне.

— Верю и чувствую себя как на скамье...

— Не договаривайте, на какой. Зачем испытывать судьбу и насмехаться над... диваном? Теперь дадим затейливым часам, которым уместнее стоять в спальне куртизанки, пробить двенадцать и начнем разговор.

Настольные бронзовые часы, зажатые меж ног фавна, держащего в руках колокольцы, принялись мелодично отзванивать двенадцать.

— Одиннадцать, — заметил Платон. — Лгут и они.

— Как кто, Платон Лукич?

— Как годовой отчет. Мы до него дойдем. Начнем с малого. Скажите, Феофан Григорьевич, зачем понадобилось вам превращать этот зал деловых встреч инженерно-технических совещаний в свой кабинет? Зачем?

— Для солидности. Для представительности. Не моей, а заводов.

— Неужели, Феофан Григорьевич, эти часы, эти мраморные обнаженные фигуры женщин, эти эротические картины, третьесортные олеографии, эти фарфоровые пастушки, рога оленей, чучела птиц, воины в средневековых латах, пестрые до ослепления ковры, тюль на окнах, люстры, похожие на соборные паникадила, мебель совсем из другого фарса и, наконец, вы... ваша слишком театральная внешность на контрастирующем ей фоне тоже солидность фирмы, а не сатирическое издевательское представление?

Шульжин ответил, глядя в пол:

— У всякого свой вкус.

— Вот и обставляйте, ваше превосходительство, по своему вкусу свое жилище. Играйте дома в генерал-губернатора, в начальника горного округа, хоть в самого Скобелева, — кивнул Акинфин на бакенбарды. — Здесь небольшое управление небольшой заводской вотчины Акинфиных и сыновей. Завтра к двенадцати дня, не к часу, а к двенадцати, зал деловых встреч должен остаться тем же, чем он был.

— Куда же мне?

— Об этом мы решим не позднее двух часов, а теперь пока еще двадцать одна минута первого. А сейчас поговорим об убытках фирмы.

— Увы! Их нет и не было, Платон Лукич.

— А недоданные прибыли разве не убытки? Их уже не вернуть. У вас не хватит на это скопленного, хотя это скопленное и многозначно, если некоторые уволенные конторщики не ошибаются в арифметике.

— Это чрезвычайно оскорбительный намек.

— Это всего лишь тоненькая дамская шпилечка. Почему гвозди не стали дешевле, а не став, они не дают нарастающих прибылей, упав в спросе и уменьшившись в изготовлении? А грязь и смрад в цехах?

— Голубчик, Платон Лукич, цехи не бальные залы!

— Но и не помойки! Они кормят вас! Они, как нива мужика, рожают все наше и ваше, ваше превосходительство, благополучие, начиная от звякающих колесиков шпор вашего превосходительства и ваших высокопревосходительных подштанников до краски, омолаживающей ваши брови...

Шульжин вздрогнул.

— Вы социаль-демократ, досточтимый Платон Лукич.

— Хуже! Я социальный мститель. И вы сегодня получите все сполна за нарушение социального равновесия.

— Не пугайте! За мной, смею вам доложить, империя...

— Но не нравственность, которую она вынуждена блюсти. Скажите, ваше высество, правда ли, что подчиненные дарили вам дорогие подарки к дню ваших именин, к рождеству, к пасхе и даже к дню рождения ея превосходительства Алисы Фридриховны?

— Это частное дело! Ихнее дело...

— Ихнее? Ихнее ли? Частное ли, когда повально со всех рабочих собирали деньги? Когда заставляли их вносить по пятаку с носа... Разве эта гадость не может касаться фирмы «Акинфин и сыновья»? — спрашиваю я, старший сын этой фирмы. Кто поверит, что этой данью облагали без ведома хозяев?

— Как я мог знать?

— Теперь вы будете знать, после того, как с вас будет взыскан каждый пятак. Сожалею, что это будет слишком громкое возвращение. Не дожидайтесь его. Верните им деньги.

— Сколько?

— Девять тысяч восемьсот семьдесят... — тут Платон посмотрел в записную книжку и уточнил, — семьдесят семь рублей и двадцать три копейки... Это кроме неучтенных инженерских подношений.

— Не безнравственно ли это, Платон Лукич?

— Вы о нравственности? Сейчас перейдем к ней. Затруднительный это будет переход. Скажите, заставляли вы девственниц мыть у вас полы? Мне известно, что у одной из них, по имени Груша Токарева, эта половая повинность завершилась рождением мальчика, похожего на вас. Как вы думаете обеспечить насильственно-внебрачного сына?..

— Позвольте, — перебил мгновенно вспотевший Шульжин. — Если вы считаете...

— Нет, ваше превосходительство, я еще не начал считать. Сейчас прикину в

уме. — Платон принялся вычислять. — Если мальчик, которого Груша Токарева назвала вашим сыном, начнет зарабатывать с четырнадцати лет, а до этого на его содержание понадобится пусть по десяти рублей в месяц, то посчитайте, сколько понадобится за четырнадцать лет. Я что-то плохо соображаю... Да столько же на приданое... Кто без него возьмет обеспеченную? Словом, округленно двадцать, ну, пусть пятнадцать тысяч рублей. Найдется и умеющий прощать чужую подлость жених. Деньги вы завтра же внесете в «Кассу взаимного трудового кредита», лично Овчарову, и квитанцию покажете мне.

— Как вы смеете не щадить мой возраст!

— Я прошу! Покорнейше вас прошу, ваше превосходительство. И если моя просьба не будет снисходительно уважена, то я постараюсь вас убедить через печать.

— Кто посмеет?

— Правда и приложенные к ней сто рублей. В столице есть газеты, пекущиеся, как и вы, о нравственности, а попутно и о сенсациях. Судя по вашему лицу, вы согласны, ваше превосходительство, вручить Груше Токаревой двадцать тысяч рублей...

— Пятнадцать...

— Извините, я же миллионер и ошибаюсь, как и мой отец, в тысячах. Это мой атавизм. В Англии меня научили считать пенсы. И я теперь проникся уважением к копейкам и, уж конечно, к рублям. Вам по контракту с нами положена квартира, отопление, освещение, выезд и штат прислуги в шесть человек. Он оговорен. Вы заставляли служить вам сверх этих шести еще десятерых. Иногда меньше. Иногда больше, смотря по обстоятельствам. Оплачивались эти десятеро за счет наших заводов, числясь слесарями, подручными, кузнецами, работая на вас лакеями, егерями или что-то делая в оранжереях, на псарне... Вам лучше знать, где и что они делали. Я не берусь возмещение этих расходов переводить в рубли. Это сделает Штильмейстер, которого вы, как и Родиона Максимовича Скуратова, изволили уволить за нежелание потворствовать вашим, назовем их, нарушениям. Штильмейстер уже вернулся. И он добросовестнейше подсчитает все, вплоть до неиносказательных борзых, полученных за удешевленную продажу якобы бракованных семисот пятидесяти семи пудов гвоздей.

— Мне трудно далее выслушивать вас, и я продолжу разговор с хозяином фирмы.

— Отец отбыл в длительный вояж.

— Я подожду его.

— Я не сумею ждать даже до завтра.

— Вам известна сумма неустойки в случае нарушения контракта нанимателем? Знаете ли вы, во что вам обойдется увольнение?

— Да, но знаете ли вы, во что оно вам может обойтись? Государь император милостив, давая верноподданным чины, награды, привилегии, однако же его величество не все прощает. И если великий князь узнает... Вы понимаете, о ком я говорю. Он так благоволит к внучке князя Лучинина Цецилии Львовне Акинфиной... Так вот, если великий князь за утренним кофе или за вечерним чаем узнает о ваших похождениях и шалостях в Шалой-Шальве и вспомнит о вашем весьма неблагоприятном и корыстном оставлении казенного завода, начальствование коим вам было доверено с высочайшего соизволения, то... — сделал паузу Платон, — вряд ли мне стоит рисовать дальнейшее вашей судьбы, ваше превосходительство... Теперь велите горничной, которая числится конторщицей главной бухгалтерии и так же незаконно

прислуживает вам, подать бутылку сельтерской, а затем вы вручите лично мне всепокорнейшее прошение о вашем увольнении без взыскания с вас предусмотренной в этом же контракте неустойки. Имею честь вас видеть предпоследний раз. Все дальнейшее будет происходить с господином Штильмейстером и при его посредстве. — Платон раскланялся. — Извините, ваше превосходительство, руки вам на прощанье я не подам. Это было бы ханжеством, изменой фирме и тем, кто так безжалостно обижен вами...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через несколько строк произойдет все то, что ждал, не один Платон Акинфин. Для этого потребуется немало дней. Но не потребовалось трех часов, когда Груша Токарева получила пятнадцать тысяч рублей.

— Это тебе от... знаешь кого... на воспитание сына. — Платон отдал ей свои деньги, зная, что Шульжин вернет их через Штильмейстера.

Груша плакала. Отец и мать радовались. Они знали, что с таким приданым их дочь не пропадет. Об этом стало известно всей Шальве.

Георгий Генрихович Штильмейстер и Флегонт Потоскуев занялись проверкой деятельности Шульжина. Вернувшийся из поездки на пароходе от Перми до Астрахани и обратно Лука Фомич был очень раздосадован увольнением Шульжина и возвысил голос на Платона. А он представил отцу подробное письменное изложение в словах и цифрах содеянного Шульжиным и предупредил:

— Или он, или я.

Лука Фомич прочел и поверил каждой строке. Он воскликнул... Его восклицания невозможно перенести на бумагу. По многим соображениям, и главное из них то, что Лука Фомич слишком длинно выражал свое негодование.

Когда же к нему явился Шульжин в его полной регально-медальной экипировке, Лука Фомич немножечко оробел:

— А что я могу поделывать, милостивый государь Феофан Григорьевич?

А тот и не думал о своем возвращении в управительское кресло. Он уже получил другое такое же и лучше вознаграждаемое у всемогущего властителя руды, чугуна и стали Василия Митрофановича Молохова. Ему нужен был именно такой. Пугающий. Могущий повелевать и наказывать. Шульжину нужно было знать совсем другое:

— А как же теперь, драгоценнейший Лука Фомич, в развитие вашего тайного соблагования относительно счастья Клавдия Лукича и моей единственной наследницы Кэт?

Лука уже поднаторел отвечать:

— Кэт не по моей руке крокет. Клавдий приедет — ему и шары в руки. Полагаю, однако, что он предпочтет верные воротца заманчивой мышеловке. Отцы нынче не игроки, а не более нежели крокетные колышки. Ништо!

— Тэк-с, — звякнул шпорами Шульжин и, не простившись, ушел.

В этот же день была подписана нотариальная доверенность на полномочное распоряжение всем движимым и недвижимым, принадлежащим фирме «Акинфий и сыновья», старшему сыну, Платону Лукичу Акинфину.

Платон был воцарен во единовластие. По этому поводу в освобожденном приемном зале управления заводами были устроены и прием всем начальствующим лицам и представление главного юридического и физического лица фирмы.

Везде есть свои термины, формулы и процедуры.

В этот же вечер был дан ужин. Двенадцать официантов были при полном пикейном параде, а мажордом в летней полковничьей форме.

Рабочему люду выкатили сорокаведерные. Кто не пил, тому по рублю.

Цецилия на ужине была в белом старинном платье с небольшим кринолином, увенчанная платиновой диадемой с бриллиантовой осыпью и с такими же пряжками на туфлях из белой лайки. Платон был в синей тужурке и в сапогах. Так было нужно ему... Но неожиданно приехали из Петербурга отец и мать Лии — Лучинины. И ужин превратился в свадебное торжество. Должно же оно когда-то быть и должны когда-то и познакомиться родители новобрачных. И они познакомились.

Это были разные и далекие друг от друга люди. Породнившись, они не были родней и не могли ею стать.

Лучинины хотя и ничем не оригинальны для своего круга и для нас, все же они заслуживают особых, «лучининских» глав, и они будут, но не теперь, когда впереди столько событий и одно из них, несколько заслоняющее все остальное, — это приезд Клавдия Акинфина и его бывшей гувернантки Жюли Суазье. Об этом уже пришло пространное телеграфное извещение из Парижа.

В том 1902 году Париж был не так близок, как в наши дни, и у нас еще найдется достаточно времени и страниц, чтобы рассказать о Клавдии, его гувернантке и, конечно, о матери, Калерии Зоиловне, любящей младшего сына куда больше, нежели старшего, Платона. А отец, Лука Фомич, всего лишь был вынужден любить Клавдия. В подтверждение этого возьмем наиболее выразительную справку из «Поминального численника», написанную Лукой Фомичом. Очень недвусмысленная характеристика. Пусть она не перешла еще на бесценные страницы «численника», а находится в сафьяновом бюваре предположительных записей, все же им вполне можно довериться и даже более. Потому что писанное начерно чаще всего искреннее и правдивее переписанного не кровью сердца, а чернилами.

Перенесем откровения Луки Фомича на эти страницы, не беря их в кавычки.

Что есть Клавдий?

Он есть кукла заморская. Шансонет с итальянской брякалкой. Будуварный живой статуэт.

Что в него перешло из рода Акинфиных хотя бы не с просяное, а с маковое зерно? Что у него под медной стружкой волос?

Вата. И та не наша. Не белая, а с какой-то, не поймешь, с какой, подмазной розовиной. Думать ей, конечно, тоже можно, но не о делах, а о безделии. Не легкий это удел людей праздной судьбы. Больших денег этот удел просит. Больших!

А что можно поделать? Сын ведь! Так и на вывесках значится: «Лука Акинфин и сыновья». А он Акинфин, притом Лукич. Везде доверие и кредит. Наследник и продолжатель рода. В какую только сторону? Вот в чем позор.

Каждый из Акинфиных славу своих заводов стяжал. И нет такого Акинфина, кто бы не остался жить прудом, плавильной печью, рудником, прокатным станом, новыми заводскими трубами, не говоря уж о дворце, который красуется дедом Мелентием. Покойный отец Фома Мелентьевич — и тот цирком поминается. Положим, цирк не заводская монументация, а отца в народе славят.

Про Платона нечего и говорить. А этот чем свое имя для внуков сбережет? Карточкой разве в золоченом багете останется, пока глаза не намозолит своей

видимостью. Видимость только и есть в нем. Зубила от собачьего хвоста не отличает. Молотка в руках не держивал, гвоздя за свою жизнь не вбил. Боялась родительница, кабы пальчик свой тониной с мышиный хвост не повредил. К доменной печи ближе ста сажень не подхаживал... Отцовского в нем только фамилия да кудри, но и те не русые, а медные. Мелкие, как стружка при обточке малым токарным резцом. До плеч вьются. Любуются иные.

По правде говоря, есть чем. Блестят и пьянят старых дев и молодых вдов. Им что? Лишь бы забава да щекот. Он для них принц принцем, а они для него лежалый, сопревший товар.

Далее Лука Фомич, видимо недостаточно хорошо закусив, завязал своим спотыкающимся пером не переносимое на печатные страницы. Поэтому перескажем кое-что в своих славах, сохраняя манеру суждений о нем и его матери, Калерии Зоиловны. Она и он пройдут через все наши страницы.

Нам по возможности следует узнать все, что необходимо для понимания того трудно объяснимого, что и при самых старательных описаниях останется невероятным для многих, а может быть, и для всех.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шальвинская повивальная бабка, рекомендовавшаяся акушеркой, Лукерья Ивановна Чевыкина, известная по прозвищу «Болотная вещерица», называлась так не без основания. Она знахарствовала, гадала, присушивала, целила от змеиных укусов, от золотухи, сводила веснушки с лиц и приводила на них румянец. Женила и разженила. Делала и то, что при ее малой грамоте казалось непостижимым для всякого.

С бесами она личных знакомств не заводила, нося золотой нательный крест и ладанку с пером райской птицы, но не чуралась нечисти через ворожбу на Лешачином болоте. С богом у нее отношения были туманные, но вполне терпимые. В снах она даже разговаривала со святыми угодниками — и каждый раз с тем, кто мог ей оказать милость по своим присущим возможностям.

У Лукерьи, Болотной вещерицы, по слухам была мошна с золотом. Бумажных денег она не брала.

Жена Луки Фомича Акинфина Калерия Зоиловна, готовясь стать матерью, хотела узнать у Лукерьи, кого ей даст бог, мальчика или девочку.

— А кого вам желаемо, Калерия Зоиловна, тот и появится на свет. Для этого только надо не лениться, а молиться ровно в полночь и класть по семи земных поклонов.

Лукерья показывала, как их нужно класть и какие слова говорить.

Калерия желала девочку. Похожую на себя и на свою мать. Ей тоже хотелось продолжить свое племя в акинфинском роду. И назвать дочь именем бабушки. О имени она не сказала Лукерье. Зачем ей знать больше, чем следует? А в этом, как оказалось, заключалась главная оплошность Калерии Зоиловны.

Настало время, когда Лукерья должна была сказать Калерии точно и определенно. Лукерья подготовила желаемый ответ и объяснение, если предсказание не сбудется.

— Как пить дать, родишь дочь, — сказала она, протянув руку за «золотиночкой».

Калерии за это было не жаль и пяти золотых. Теперь-то уж вернее верно, что

имя Клавдии Кононовны Устюжаниновой будет жить в ее внучке.

Родился мальчик. Калерия, еще не оправившись после родов, взялась за Лукерью — и чуть ли не за волосы:

— Как же ты смела, проклятая вещерица, обмануть свою госпожу! Да я тебя велю живьем в болоте втоптать... Я свою доченьку третий месяц Клавдией звала и за нее, нерожденную, как за Клавдию молилась...

Изворотливая Лукерья всплеснула руками и набросилась на Калерию Зоилу:

— Разве можно некрещеному, не маканному в купель имя давать, бога гневить?

Она рассказывала как знающая все тонкости. Оказывается, за погрешение Калерии долженствующая родиться девочка родилась мальчиком. Бог все может. В последний час перед рождением по-своему повернет.

И все же не кто-то, а она, Болотная вещерица, сумела снять наказание за присвоение нерожденным детям имен. Она, зная, как это сделать, попросила три дня срока. Один — для моления, другой — для свидания на болоте с кем надо, а третий день — для хождения на могилу старого знахаря и вещуна.

Снова была протянута рука, и в руке оказалась горсть золотых.

Через три, ровно через три дня Лукерья объявила:

— И ангел во сне, и нетленный березовый пень на болоте, и знахарь-вещун присоветовали, не гневя бога, а послушествуя ему, отслужить молебен благодарения за богоданного сына и дать ему бабушкино имя в мужеском оперении — Клавдий!

Калерия, обливаясь слезами радости, обняла Лукерью, твердо веря, что только бог мог подсказать такое имя. Насчет березового пня и знахаря-вещуна Калерия Зоиловна подсомнёвывалась, не допускала, что и они имели к наречению сына бабушкиным именем некоторое касательство.

Перескочив на минуту через несколько лет, скажем, что Лукерья подтвердила свои вещания относительно Клавдия, зарожденного женским полом и рожденного мужским, заглазно говоря о внешности Клавдия:

— Он ни дать ни взять весь в бабу Клавдию, от головы до пяток, какой знавала я ее. Гибок и хлипок. Снежен телесами и зелен глазами. Шея лебяжья, плечи покаты. Взором блудлив и омутлив. Жемчуговатые зубки, румяные губки. И волосы такой тонины и долины, что хоть в две косы их заплетай.

Это точный портрет Клавдия, едущего в Шальву из Парижа.

А пока он едет на тихоходных курьерских поездах, узнаем о дальнейшем Клавдия и удивительной материнской любви Калерии Зоиловны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжая о странностях Калерии Зоиловны, расскажем об еще более трудно представимом, даже в средние века.

Младенец, крещенный Клавдием, пребывал в холе семи нянек. Семи не фигурально, а дословно. Для ребенка нужна была восьмая женщина-кормилица. Таких в Шальве можно было насчитать десятками. Клавдию же нужна была кормилица не из простых, а родовитых. Этого хотела мать не по блажи, не по прихоти от больших денег, а по науке.

По магической науке, молоко, которым вскармливается ребенок, переходит в его кровь. И если кормилица женщина простых кровей, то через ее молоко таким же будет вскормленный ею младенец. Живой пример этому Платон. Его кормилицей была

кузнечиха Марфа Скуратова, и через нее в мальчика вошло все то «мастеровщинное», что не исправили в нем ни годы, ни гувернер мистер Макфильд.

Скуратовская кровь через ее молоко сказала в Платоне во всем.

Клавдий должен быть сначала барчуком, потом барином. Для этого ему надо заменить полностью акинфинскую крость, которая при всей ее знатности простая, как и у всех заводчиков. А обновить кровь можно только через дворянское молоко. Об этом и в книгах писал, и лично Калерии говорил не какой-то там профессориска из разночинного звания, а великий магистр индийской магии и тибетской учености. Он все мог. Перепилит, скажем, поперечной дровяной пилой молодую эфиопку надвое, потом дунет, сплюнет своими магическими слюнями и голым-гоলেখонькая черная красotka опять целым-целехонька, без шва и царапинки после его склейки.

Великий магистр! Вся Шальва дивилась им в цирке.

Он и Калерию усыплял и такие ей сны показывал, что знай бы о них Лука, быть ей им перепиленной не магически, а на полную смерть. И как мужчина он тоже магистерен во всем. Во взгляде, в голосе и в электрических руках.

Дорого стоит попасть к нему, но что значат какие-то две тысячи по сравнению с советами, которые он преподает!

Младенец до шести-семи месяцев обновляется полностью только одним-единственным молоком, потому как ничего другого он не вкушает и не пьет. И если, допустим, кормить девочку лисьим молоком, а мальчика медвежьим, то шерстью они хотя и не обростут, а повадки лесные переймут. Такое же переимствование происходит и с сословным молоком. Одна египетская царица вскормила пастушкиного подкидыша, и он, переродившись на ее молоке, стал знаменитым и мудрым египетским царем по имени фараон.

О царском молоке для Клавдика нечего и помышлять, а о графском, скажем, баронском или русском столбовом она позаботится изо всех сил. Деньги всё купят, хоть и самую кровь для перелива в Клавдика. Можно бы и так, да рисковать боязно. Магистр тоже предупреждал насчет этого. Остается только «молочный», долгий путь. Долгий, но верный.

Найти кормилицу из дворян в окрестных заводах напрасное дело. Есть, конечно, из сосланных, да у них порченная кровь, коли они сосланные. Деньги заплатишь и выкормишь царевубийственного бомбометателя. Надо махнуть в Пермь. Можно и в Екатеринбург. Там все сословия прикармливаются. И княжеского рода матери есть из потерявших свои родовые имена.

Сначала-то надо не самой, какую-то лазутчицу с хорошим нюхом туда послать. Неделью-другую Клавдик потерпит, и она не ополукровит его своим кормлением. Кого только послать?

Посыльная лазутчица нашлась сама собой. Верная юла. Чертей банными девками приманивала и в бане под большой залог взаперти держала.

Все та же Лукерья, Болотная вещерица, наряженная в шелка-бархаты, изукрашенная камнями, в шубе на черно-буrom лисьем меху, катнула в Екатеринбург мажордомшей женского крыла дворца Акинфиных. Она не только разнюхала, но и привезла на погляд чистопородную, из самых таких, что и в метрики глядеть не надобно.

Пани рассказала о себе и о своих самых знатных в Польше предках, а потом, гордо рыдая, выплакала все доскональности об ее таком же первородном грехе, который свершила великая прародительница всех живущих на земле, носившая то же

имя, что и она.

Змеем-искусителем на этот раз был златочешуйчатый вельможа, пообещав на ней жениться, вместо этого усладил ее от позора в далекий Екатеринбург, где она нашла пристанище у корыстной мещанки на окраине города.

Все как на блюдечке. О цене торговаться не стали. Это проще простого. Беспокоило Калерию Зоиловну только одно — тощевата была кормилица, хватит ли ее на двоих?

Об этом позаботилась еще в Екатеринбурге всепонимающая Лукерья. Она нашла в Шальве кормилицу для младенца пани Евы, чтобы она не оставляла голодным Клавдика.

К пани Еве скоро привыкли в доме Акинфиных. Она привыкла к Акинфиным. На вторую же неделю заметно похорошела, а на третью избавилась от своей худобы, так что пришлось ей шить новые платья, а к ним и горностаевую шубеечку с черными хвостиками. Не кунью же шить Радзивилловой потомице, попавшей в беду и скрывавшейся теперь, боясь проклятия опозоренного отца. А тут она проживет годок, Акинфины удостоверят усыновление ею мальчика-подкидыша или придумают что-то еще позагвоздистее и поправдоподобнее. А теперь пока не надо унывать. Старые клавикорды устали молчать и пылиться. И Евочка, не мужняя жена и не девочка, тоже боялась потерять свой голос, не давая ему звучать, начала петь, а потом давать разминку точеным ножкам, созданным самим господом для резвых танцев, какие бывают только на королевских балах.

Исправно Евочка получала от пани Калерии богатую мзду, а вскоре стала получать и вторую, увесистее первой, о которой не знал и не догадался бы ни один человек в мире. Не будем догадываться и мы, щадя фамилию Акинфиных и особенно счастливую и любящую мать прехорошенького Клавдика.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Калерия Зоиловна не так давно была и душечкой, и розанчиком, потом стала пышечкой, а теперь просто сдобной женушкой, матерью двоих сыновей.

Недурна собой, круглолицая, зеленоглазая, темноволосенькая, тонкогубенькая Калерочка. Она и теперь могла бы освещать дом, не будь с нею рядом польская пани-паночка, зацветшая во все лепестки на своей двадцатой весне.

Калерочка тоже была знатна по вдове-матери, матерой заводчице, но не было в ней того самого, что превесма желательно для «шеи» главы дома Акинфиных. Она пестровата, как говорили, по своему фасаду и чересчур прихотливо и разномастно узорчата по устройству души. Души, похожей на ее, ею обставленные покои, на свой вкус и свое улаживание. В них рядом с лосиными рогами уживались настенные украшения, не далекие от монастырских вышивок по парче, и портреты неизвестных боярынь, обнаженные лесные дивы, написанные на шелках и вставленные в дорогие и тяжелые рамы. Все они порознь не знают цены, а вместе мешают друг другу, а порой сердят глаза видящего их. Они не украшают, а как бы посмеиваются над собравшей их не для любования ими, а для похвальбы собой.

К слову, драгоценный персидский ковер тоже не может быть благодарным Калерии Зоиловне, заставшей его шкурой черно-бурого медведя. Также и мебель из опочивальни жены князя Шуйского оскорблена тонконогими козетками из других стран и времен.

Чучело тетерева на суке с бриллиантовой подвеской на шее и золотыми перстнями на его лапах, хотя и заставило губернаторшу сказать: «Какая оригиналка Калерия Зоиловна!..» Но она же сказала, что от этой оригинальности болят глаза гостей и они стараются не бывать в апартаментах Калерии Зоиловны и не стремятся оставаться наедине с властной мадам Акинфиной.

Ее называют и «мадам», но ей приятнее другие приставные слова: «барыня», «госпожа», «ваша милость»... И если уж не по-русски, то лучше «сеньора», нежели «мадам»? Мадам и мадамы не тот сорт и не та цена. Ее мать, Клавдию Устюжанинову, величали ее превосходительством. Высоко. Знатно. Родовито! И родовитым придраться не к чему. Ни у кого такого нет величания. То мать. Вдова — сама себе голова. А она при муже, с норовистым характером.

Лука Фомич тоже чем-то схож с Калерией Зоиловной — может быть, помесью несмесимого, но меньше. При дубленой романовской шубе цилиндр теперь он не надевает. При сюртуке в валенках тоже в гости не ездит. Он больше видел, больше бывал в знатных домах и в столицах многих держав. А Калерия Зоиловна везде и всегда только проездом. Проездом и училась она. Где что схватит, узнает, выучит, то и сберегает в себе и при случае выдает напоказ.

От пани Евы она переняла менюэт и мазурку дворцовую. Скоро переняла, танцевала их по-своему. С кадрильной примесью. Всем нравилось. Ева тоже находила галантным и милым это новое шальвинское добавление к старинным танцам, нуждающимся в омоложении. Она уже почти хорошо говорила по-русски. Умела восхищаться меховыми унтами Калерии Зоиловны с вделанными в них изумрудами, топазами и рубинами. Ода даже научилась подсказывать, что можно сделать Калерии Зоиловне еще. Например, можно ее научить разбираться в музыке. Но никогда она сама не научится прощать оскорбительную блажь богачихи.

Терпи, Ева. Молчи, Ева. Остается совсем немного времени. Твои обе мзды надежно лежат в казначействе, и когда узнают, сколько у тебя тысяч, ты сумеешь найти себе и доброго мужа, который поймет и перечеркнет все, что было до него, что заставило тебя поступать только так. Только так, как заставила тебя твоя безжалостная судьба. И ты возместишь все свои обиды, хохоча вспоминая о том, как ты около году принадлежала к древнейшему роду Радзивиллов...

Пока же нужно танцевать краковяк с Лукой Фомичом и воздавать ему похвалы за легкость его ног, плавность рук и многое другое, чем не обошла его природа...

Не обманывая себя, да и его, она могла бы составить с ним пару, каких много на земле. Он был бы счастлив с ней, а она... Она тоже бы постаралась убедить себя в том, что Лука Фомич ее судьба, а Калерия — злополучная Халерия, от которой он должен излечиться и, выздоровев, начать новую жизнь.

Ева верила, что при ней стали бы иными и Шальвинские заводы. Она омолодила бы и фабрики, как это было сделано ею с большим дворцом Акинфина. В нем уже нет ночных запахов спален, стекла окон прозрачны, полы натерты, няни не сморкаются больше в подола юбок, и — чему были поражены все — исчезли клопы.

Заводы выиграла бы. В этом ни капли не сомневалась Ева и даже видела сны, в которых она благотворно влияла на всю уральскую промышленность.

Несомненно, Ева преувеличивала свои возможности, все же в истории немало примеров, когда такие, как она, изменяли в лучшую сторону судьбы не только фирм, но и королевств.

А сейчас дадим угаснуть стыдливому румянцу бумаги, которым она обязана не

только Калерии, но всему возникшему вокруг нее и самому словесному строю глав. Может быть, для них были нужны другие слова и другие словосочетания. Однако же скажем в свое оправдание давнее утверждение, что акварелью и колонковой кистью нельзя писать то, чему наиболее подходят простые краски и обычная кисть.

Оговорившись так, мы вполне можем посмотреть, что происходит на оставленных нами заводах, тем более что Клавдию и Жюли Суазье еще предстоят пять пересадок и остановка в Петербурге.

Все же заметим в этой главе, что, сгорая от нетерпения, Клавдий стремится увидеть не только мать, но и очаровательное существо по имени Агния Молохова. После зимнего приезда Клавдия в Шальву у него с Агнией начались не только почтовые отношения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

При всех организаторских талантах Платона Лукича Акинфина без больших денег нельзя было начинать капитальное переустройство заводов. Деньги были, и денег не было.

Отец не разрешал прикасаться к своей круглой сумме и скрывал ее диаметр.

Мать откровенно темнила, что у нее денег нет, а если есть какие грошовые тысячи, то для Клавдика, который еще не на ногах.

Полюбивший и высоко ставящий Платона с первой встречи с ним его тесть Лев Алексеевич Лучинин предлагал деньги. Он сказал:

— Если окажется мало двух миллионов, то я согласен, сын мой, продать имения, которые мне нужны не более, чем тебе говорящий попугай Калерии Зоиловны.

Щепетильность оказалась выше необходимости. Платон мягко и бесповоротно не захотел этого беспроцентного кредита, идущего от неисповедимых щедрот Льва Алексеевича, который с первого дня стал называть зятя Платошей.

Отказался он и от верхнекамского лесного приданого Лии:

— Мне достаточно и того, что в газетенках промелькнул между строк намек, что я выгодно женился.

Никакие уговоры не помогли. Он не хотел потерять к себе уважение. Его и не нужно было терять. От мужа кузины Анны, из Иркутска, он получил согласие на неограниченную помощь. У золотопромышленника деньги, по его выражению, «лежали в банке впусе и лености». Разумеется, Платон выплатит положенные проценты, так как милостыня ему не нужна и от двоюродной сестры. Зато никто ни в чем не сумеет упрекнуть его. А он упрекнет и отца, и мать.

Началось изыскание и частичное строительство круговой узкоколейки, соединяющей заводы. «Зовут зовутка» Микитов получил назначение. Он стал десятником земляных работ и вербовщиком землекопов. Счастлив был так, что поклялся к весне выучиться за все три класса церковноприходской школы и начать понимать чертежи. И... и, кроме главных праздников, не брать в рот и капли водки.

Лично сам с тем же «Зовуткой» Платон застолбил и выкопал ровики завода, очерчивающие рубленые стены цеха машинной обработки дерева. Техники немало удивились строительству без чертежей. Платон на это сказал:

— Чертить можно и по дерновине. Виднее строителю и понятнее рабочим.

Станки, заменяющие топор, рубанок, долото и все, что делали инструменты, были рассмотрены, проверены в работе, известны по размерам до того, как Платон выписал

их. И до того, как они придут, началась и расстановка и кладка под них фундаментов.

Станки придут и сразу из ящиков станут на место.

Вставал Платон в пять утра. На работе появлялся до заводских гудков. С первых же дней он понял, что его не хватит на все. Появившиеся верные, преданные помощники могли заниматься только административными и денежными делами. Это Георгий Штильмейстер и Флегонт Потоскуев. Они многое сделали, и каждый преуспел в своем. Заметно переменились и те, кто только начальствовал, приказывал и подписывал, не вникая очень часто в приказываемое и подписываемое. Мало надеть синюю тужурку и сапоги. Они не делают шире шаги, а тужурка не прикрывает пустоты души. Платон все еще не знает даже по именам начальствующих лиц. Не может их запомнить. Не знает, как и с кем нужно себя вести. Особенно трудно с теми, кому за сорок и за пятьдесят. Они «захрящевели», а некоторые и окостенели в привычном ритме давно принятых соотношений. Не инженер, а иногда и не техник оказывается главной организующей силой, а мастер, которому при большом опыте не хватает знаний.

Кто-то из начальствующих лиц уже перебрался за Шульжиным. Им все равно, что обработка металла, что металлургия. И гладкого им пути. Даже хорошо. Увольнять всегда труднее, чем нанимать. Они сами поняли, что их крылья не по новому ветру. Муки не получится. А те, что хотели работать, еще боялись проявить инициативу. Они при Шульжине отвыкли от нее. И когда Платон давал самостоятельно поручения и произносил страшные слова: «Сделайте, как лучше, по своему усмотрению», человек терялся. Он ничего не решал. Он только исполнял, слегка варьируя чужие приказания. А теперь он должен был делать сам. Один такой пугливый инженер застенчиво спросил:

— А ужогу ли я вам, Платон Лукич?

— Этого я не знаю и не могу знать всех тонкостей в вашем деле. Угождайте не мне, а своей совести, своей Инженерской чести, тогда угодите всем. Следовательно, и мне...

Приезд Родиона Скуратова не выходил из головы у Платона. Но каждый день бегать к Максиму Ивановичу было неудобно. Получалось, что без Родиона Платон не может обойтись. Пусть друзья. Пусть он не истолкует это вкривь. И все же необходимо какое-то самолюбие. А кроме — они так долго не виделись. Каким теперь стал Родион? Все меняется. Даже родная мать. Она откровенно недолгобливает Платона. Он не барин. У него даже нет права на ношение фуражки с молоточками и тужурки с золотыми пуговицами...

Ну что же, пусть. В конце концов, он не привязан к Шальве. Он любит ее, но она не дороже ему идеи построения идеального предприятия на основе гармонии, взаимного равновесия тружеников и организаторов труда. Он может создать новый завод на голом месте. Так даже лучше — ничего не надо ломать. Старое перешивать, пороть, чистить, утюжить всегда труднее, чем кроить из нового куска.

Если ему ничего не положено от отца... У него есть имя. Есть репутация. Есть кухня, ее умный, ясновидящий и понимающий муж. Чем Сибирь не арена деятельности?

Разговорившись таким образом с самим собой на пригорке, где будет возведен единый для всех электрический цех, Платон оказался в объятиях.

— Родька?

— Тонька!

Они расцеловались и принялись хохотать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Женился я, Тонни...

— На ком, Родик?

— На учительнице. На Сонечке. Наша, шальвинская. Ты должен знать...

— Ия женат.

— Знаю, Платон. На княжне!

— На полукняжне, на полуграфине, а дети будут разночинного сословия.

— И скоро?

— Умолчу...

— А нам Сонюша подарила Максима Родионовича.

— Сто тысяч раз ура! Земной поклон! Целую, Родиоша... Целую, поздравляю и дарю.

— Часы?

— Нет, это амулет. Отсчитывает годы, месяцы, дни, фазы Луны и даже, при нажмие кнопки, отбивают время с точностью до получаса... Устал таскать их при себе, Такие же вторые у меня. Носи и помни!

— Спасибо, Тоник! Ты меня опередил. Я отковал тебе, отшлифовал и отзолотил тоже амулет.

Родион подал Платону сверкающую золотую подкову.

— Какой блеск, Родик, какая чистота работы! Это символ счастья?

— Не только счастья, но и надежды.

— На что и чьей надежды, Родион?

— Тех, в ком ты пробудил ее. Тех, кто, отчаявшись, надеется, что за твоими первыми манящими шагами последуют вторые, третьи. И будут еще смелей и шире...

— Не продолжай... Все это будет! Будет больше, чем ты можешь, чем я могу предположить. Равновесие взаимностей — единственное средство, которое искоренит нужду, нехватки. Которое преодолет убожество жизни трудового люда, а вместе с этим устраним озлобленность, вражду, бунты, подспудное смутьянство и все, что порождается не кем-то, а только теми, кто, владея всем, постыдно обделяет создающих это все. А я... а мы с тобой приложим все наши силы, чтобы наперекор всему и всем наглядно показать, как можно благоденствовать не ограбляя... Как следует вознаграждать за труд и доказать, насколько предпочтительней реальная хорошая изба воздушным замкам, которые успешно и легко, в два-три присеста, возводят на бумаге. Я их не осуждаю, Родион. Не осуждаю и жалею. Как хорошо, что мы с тобой опять сошлись...

Родион изменил голос. Изменился и сам.

— Мы, Платон, не сошлись, а только встретились. Точность ни в чем не мешает, и в словах в том числе. И сойдемся ли?

— А почему нет? Мы же всегда были вместе, Родион.

— Да, в детстве нас ничто не рознило. И даже молоко было общее. А теперь?

— Общее дело... Общие взгляды... Равновесие!

— Равновесие ли, Тонька? Ты хозяин, а я и Соня зависимые люди. И когда зависишь от чужого, незнакомого, это как норма. Так уж устроена жизнь. А к тебе служить, у тебя служить... Давай лучше останемся друг для друга «братиками»,

друзьями детства, школьными товарищами, молочными братьями. Жаль мне, Платоша, такое хорошее наше прошлое могут омрачить новые, деловые взаимоотношения. А мне хочется сбересть в памяти твою и мою детскую дружбу, исключаящую неравноправие.

— А какова твоя жизнь теперь?

— В отношении оплаты не обижен... Мне хорошо платили. Я ведь не перечерчиваю что-то, а конструирую. И кто умеет это ценить, ценят так, что и стыдно иногда бывает брать. Я так набрался этих самых, что хочу купить отцу дом. И куплю без большого ущерба для себя.

— Зачем тебе новый дом отцу? Разве мало у меня домов? Выбирай любой из инженерских. Английский коттедж теперь пустует...

— Спасибо, Тонни. Ты всегда был таким... Помнишь, тебе купили трехколесный велосипед, и ты заметил, что я...

— Помню, Родик, все помню. Это в самом деле было несправедливо — подарить одному, а второму... Ну их к черту! Отец и теперь не тонкокованным остается... Иди ко мне.

— Кем?

— Никем. И тем, кем был. Будем ездить на одном велосипеде.

— Это несерьезно, Тонни. В такие велосипедисты я уже не подойду. Я неуживчив. Из Мотовилихинского завода меня уволили... Нет, выгнали. Я не могу повторять пройденного. Мы, Платоша, так боимся всякой новины. Я предложил им самое, что называется... Об этом долго рассказывать, и мне не хочется якать... Но я знаю, что меня возненавидит Лука Фомич. У меня уже была года два тому назад встреча с ним. Я неосторожно сказал, что в век пара... Не буду вспоминать. Получится, что я роняю отца в глазах сына... Меня даже конторщиком принимать нельзя. Потому что я все равно буду все замечать и обо всем говорить. И даже высмеивать. Я очень неприятный человек...

Платон обнял Родиона.

— Родька, только ты, поверь мне и проверь по моим глазам, как раньше, проверь по глазам, говорю ли правду... Смотри мне в глаза, а я буду тебе...

— Мы в самом деле вернулись, Тонни, куда невозможно вернуться. Давай!..

И они принялись, как некогда на этом же пригорке, смотреть друг другу в глаза.

— Слушай же и проверяй по глазам. Лучшей рекомендации, которую ты дал себе, неприятный человек, невозможно дать никому... Смотри теперь еще пристальней в мои глаза... Я хотел, я искал встретить такого же, как я, и я встретил его и не разлучусь с ним никогда...

Платон обнял Родиона Скуратова и повторил:

— Не разлучусь никогда. И если ты не согласишься, я буду тебя умолять, добиваться твоего расположения...

Родион тоже растрогался.

— Кем же я тебе нужен? — спросил он, освободившись от объятий.

— Мной. Вторым мной. Вторым потому, что первыми двое не бывают. Вторым, но не «во-вторых»... Будем честны до цинизма. Ты всегда был вторым, но никогда не был «во-вторых». Вспомни!

— Тонни, ты так околдовываешь меня, что мне хочется поверить в невозможное.

— Кто-то сказал или даже написал: если очень и очень верить в невозможное, оно может стать возможным.

— Может быть.

— А у нас не может, а будет... И в крайнем случае, если без романтики и сантиментов, то кто тебе может помешать встать и уйти? Я же не беру с тебя клятв. Не обещаю и тебе, что ты будешь равным, но повторяю — ты будешь вторым мной.

— Да, ты прав... Я всегда могу встать и уйти. Так, наверно, и произойдет. Но до того, как произойдет, я попытаюсь остаться с тобой. Не вторым, не третьим, не четвертым... А «ником», и тем, кем я был в детстве... А потом мы увидим, кто — кто.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И Родион начал «ником». Он «никто». «Никто» и после Платона «всё» на Шало-Шальвинских заводах. Сказанное им не может быть отменено. Не отменено, может быть, потому, что он не говорил, не приказывал, не предпринимал того, что может быть отменено.

Добрый, располагающий Родион и в мальчишеские годы пользовался у сверстников да у старших репутацией сильного и решительного человека.

Его карие, чуть насмешливые глаза, излучавшие тепло и нежность, помнили в Шальве. И лишь немногие знали, каковы эти же глаза, когда Скуратов оскорблен. Они пронзали, сжигали или замораживали так беспощадно, что оскорбивший Родиона либо признавался тут же в своей неправоте, либо бежал опроретью от него. Это в детстве и в юности.

И теперь Родион останется верен себе, делу, которому внутренне присягнул. И для него не жаль будет отдать всего себя, если начатое так же счастливо продолжится. Счастливо для всех, кто ему дорог, близок или даже далек и, может быть, в чем-то враждебен благодаря своей отсталости, неумению понять всей глубины новых отношений между извечными антагонистами, которые найдут пусть не гармоническое, а хотя бы близкое к нему упорядочение равновесия взаимобязанностей. Ему придется труднее, нежели Овчарову, у которого одна задача — всеми способами улучшать жизнь работающих на заводе. У Родиона сложнее. Он будет между Платоном и Александром Филимоновичем. Иногда ближе к одному, а иногда к другому, но все же он чаще и с тем, и с другим. Может быть, ему следует себя сравнить с трубкой двух сообщающихся сосудов. Но это слишком механическое сравнение. И если он в самом деле трубка, то с многими и очень сложно устроенными клапанами. Он обязан быть объективной трубкой, координирующей не просто два характера, два разных электрических провода, которые в одном случае дадут короткое замыкание, в другом — свет.

Александр Филимонович Овчаров очень предприимчив. Предприимчив до невероятия, умея находить пользу для Кассы и там, где ее невозможно предположить. Но при всей одаренности, умении из ничего делать что-то, он не везде последователен, как, впрочем, и Платон.

Увлекаться, гореть, дерзать — лучшие из черт человека. Но всякое вдохновение, как и горячее сердце, нуждается в содружестве разума. Разума очень трезвого, а в данном случае скрупулезно расчетливого и безбоязненно отважного, когда это необходимо. Потому что в замышляемом благополучии — судьбы и жизни тысяч людей.

А тысяч ли? Кто знает, как начатое в Шальве скажется во всей России и в странах далеких, близких, передовые они или отсталые, в ближайшее время или спустя много

лет.

Жизненно необходимо предупреждать катастрофы.

Давно известно, что у палки два конца, а у вола, кроме шеи, есть и рога.

Платон это понял. Овчарову не нужно было понимать, — он знал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Хватит, однако, внутренних монологов. Время перейти к внешним диалогам. Паровоз объявляет веселым свистком о своем приближении. И уже слышно, как он выговаривает: «Я еду, мама, еду... сейчас к тебе приеду...» Так выговаривает паровоз, шипя стучащим голосом для Калерии Зоиловны.

Для Луки Фомича он выстукивает его же стишок. Кумекающий по-французски молодящийся лирик написал его по-русски:

Се тре бьен е тре жоли,
До-ро-гулечка Жюли!
Ты бесценное бижу,
Я те в глазки погляжу!

И вовсе уж не так плохо для Луки Фомича. Отличная французско-русская рифма. Жюли, наверно, и теперь еще «жоли», а уж бесценным-то «бижу» она будет всегда. Это не жидкая девчонка Евчонка, а огневая карусель.

Тормоз! Стоп! Вот он, сверхпервоклассный вагон! А вот и он, и она.

— Мадам... мосье, бонжур! Здорово живем, шальвинцы!

— Мамулечка! Папахен! Вот и я... Виват!

Она — дыхание весны! Кто даст ей сорок шесть! Шляпа в два зонта. Перчатки до плеч. На чем только удерживается ее платье — ни лямочек, ни тесемочек... Париж!

А он! И Ленский... и знатный шляхтич. Дворянин! Держись, Агния! Трещите, молоховские домны!

— Эй, тройки сюда! На платформу! Ведите под уздцы!

— Мама, а где же Плат? Хороша ли его пермская белка? Почему их здесь нет?

— Платон, Клавик, где и надо ему быть! В дыму! А та, что белкой ты назвал, обернулась куницей... Дома. Музыкантит... Ты лучше о себе...

— Ах, маман, каких певиц я видел... Античны, как... Сейчас... Куда-то делась записная книжка...

— Ничего, потом найдешь. Получил ли аттестат?

— Два! Один — через Жюли, другой — из Сорбонны, за франки... Я, мама, пуст, как... Торричелли...

— Неужели же ты все убухал за аттестат?

— Это же Париж, маман. Еще пришлось взять у Жюли...

— Договорим дома...

Дома накрыт стол. А на столе все и для всех, на всякий вкус. От редьки в миндальном масле с гребешками кур до ананасных шанег. Все! И даже любимые Клавиком рябчиковые пельмени, сваренные в мадере. Вкус юности так привередлив и неисповедим, что пришлось вернуть воровку Любку. Она как никто умеет стлать Клавику постель, взбивать подушки и не забывает закрыть окно, когда он, склонный к насморкам, заснет.

Гости съехались не все. Молоховых нет. Наверно, болен сам или Шульжин выпустил черных кошек между старыми друзьями. Ничего, пусть его. Агния и Клавдий помирят их всех.

Лия пристально и незаметно изучает Клавдия. То, что он фат, она определила по фотографическим снимкам, где он снят в кругу танцовщиц кабаре. Теперь она определяла ум и отбирала наиболее точное из двух слов: русского — болван и французского — парвеню.

Лучинины нашли Клавдия очаровательным весельчаком и непосредственным птенцом потомственной уральской знати.

Они, как мягкие люди, умели мягко говорить, а как аристократы — тонко жалить.

Нежданно-незванно вплыла баржой, раскрыв обе половинки двери, «ея превосходительство» Алиса Фридриховна Шульжина и за нею ее тоже достаточно атлетичная Кэт в белом, усиленно прозрачном платье. Выражение ее розового лица было так же прозрачно. Оно переизбыточно цвело. Синие факелы ее глаз искали среди сидящих за столом Клавдия. Он побежал навстречу и поцеловал руку Кэт. Затем другую. А так как для полноты выражения его чувств ему этого показалось мало, он пропел известную оперную строку: «Как счастлив я, как счастлив я...»

— С прелестной погодой, господа! Здравствуйте, — приветствовала мужским голосом и широким жестом густо напудренная Шульжина. — Мужчины ссорятся, но зачем же подражать им женщинам и детям. — При этих словах она поцеловала в голову Клавдия. — С приездом, прелестный певец!

Пришлось делать вид, что все рады приходу Шульжиной, и обменяться любезностями.

Обед продолжался «вокзально», где незнакомые люди вынуждены сидеть за одним столом и время от времени должны выражать взаимное внимание, обмениваясь какими-то фразами. Болтал за всех Клавдий. Не умолкала и Жюли. Она здесь дома, и предводительствование столом перешло к ней.

Платон молчал. Когда же Жюли попросила его произнести тост, он сказал:

— Господа! Во всяком механизме есть главный вал. Теперь в нашей семье их два. Неутомимая Жюли и полный жизнерадостной энергии Клавдий. Поэтому я надеюсь, что все придет в убыстренное движение и оживит все сопряженное с нами, все способное вращаться во имя взаимных радостей и процветания! За неугасаемую Жюли Суазье! За твое разумное и целеустремленное горение, Клавдий!

Затем неизбежные:

— Шарман!

— Великолепно!

— Восхитительно!

— Разумственно! — И конечно: — Ура!

Чокания. Новые капли вина на скатерти. Затем пригубления или опрокидывания рюмок, рюмочек, лафитничков и бокалов. Кэт выпила маленькую золотенькую, но четвертую. Она очень счастлива.

После обеда — кто куда. Дамы — к Калерии Зоиловне. Лучинины — курить. Платон и Родион — на завод. Суазье — в кабинет Луки Фомича. А Кэт...

А Кэт прежде отправилась пройтись по парку под руку с Клавдиком, а затем случилось как-то так, что они оказались в апартаментах Клавдия и заперлись.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В общении с Жюли Лука Фомич прям и откровенен более, чем с женой. Ах, если бы ею была она, возвращающая стремительно уходящее! Что из того, коли б ее пришлось делить, но ведь не всю? Душа Жюли неделимо принадлежит ему. Она преданна и не скрытна. Про Клавку Жюли рассказала все. Как, и чему, и в каком возрасте обучила она его, оберегая от опасных связей, оградив от них Клавдика собой.

Она и теперь хотела оградить его Агнией Молоховой от переспевшей Кэт, но торопливая, распалаемая матерью Кэт забежала вперед.

— Она вчера уединилась с ним под двумя ключами, — сообщала Луке Жюли. — И я теперь думаю, так же они ворковали в прошлый приезд, зимой.

— Не доворковались бы они, милая Жулечка, до перекрытия пути-дороженьки Клавика к Агнечке Молоховой. Три домны, четыре мартеновских печи... Ты только подумай, какая будет это потеря для всех нас и для тебя, моя богородичка. Думай... Раскидывай быстрым умом, шерамишечка.

— У меня есть проспект, мой бог. Только есть очень плохая примета опережать словами еще не случившееся. Клавдий сегодня же будет наносить им визит. Он, кажется, уже у Молоховых.

Клавдий был уже там. Его сухо принял Василий Митрофанович Молохов. Зато его жена, любезная маленькая Феоктиста Матвеевна, приняла Клавдия хорошо, видя, как рдеют щечки и светятся глазки ее единственной Агочки...

Молохов заглазно называл Клавдия тонконогим хлюстом, профукивателем отцовского Добра. Василий Митрофанович нескрываемо любил Платона и прочил Агнию за него. И было бы так, если б не подвернулась ему эта долгошея «строгановка» в Лондоне. Тогда бы слитно работали акинфинские заводы и его печи. Платон бы заставил их жарче греть, а плавки скорее кипеть и больше давать стали.

Молохова думала так же, но не считала обязательным родниться с Акинфиными только через Платона. Клавдий лепетливее, приветливее. А у Платона его княжна уже с первых месяцев остается одна, если не считать музыки. А велика ли в ней утеха для молодешенькой женушки? Феоктиста Матвеевна знает, каково одиноничать. Поэтому она делала вид для отвода мужниных глаз, что надзирает за дочерью и Клавдием. На самом же деле она помогала им сблизиться, то и дело оставляя парочку, барашка да ярочку, вдвоем. Но мешала Кэт:

— Когда же Клавдий к нам?

— Он мой гость, Кэт, — смущенно сказала ей Агния. — Мы вместе росли.

Невоздержанная на язык Кэт кольнула:

— Липка с тополем тоже вместе растут, да порознь цветут.

Робкая, учтивая Агния вспыхнула. Слышавшая этот разговор ее мать вошла и сказала:

— Как же это ты, Катенька, осмелела поучать мою доченьку в ее же дому да еще придючи неприглашенною! Акулечка! — крикнула она за дверь.

Вбежала опрятная девушка в сатинетовом сарафане.

— Тут я, здесь...

— Проводи, Акуленька, барышню до ворот и расскажи ей по пути, как и при каких случаях открываются молоховские ворота...

У Кэт проступила на лбу испарина. Она еще раз убедилась, что хозяева остаются хозяевами, а управляющий, будь трижды генерал, — слугой.

Дорога в молоховский дом теперь для Кэт была закрыта навсегда. Вскоре она

закрылась и в акинфинский дворец.

Кэт на другой же день прикатила на белой лошади, запряженной в одноместный шарабан. Клавдий знал, что она приедет. Быстро воспламеняясь, он быстро и остывал. И, остынув, он знал, как следует извещать об этом воспламенившую его. Такие объяснения у него бывали уже много раз, и все они послужили хорошими репетициями для предстоящего разговора с Кэт.

— Чем я обязан приезду моего маленького вулкана?

— Чем?! — воскликнула Кэт. — И ты еще спрашиваешь — чем?!

Они уже были в парке, а послушная лошадь осталась у подъезда. Разговор сразу же перешел на крик и визг Кэт. Теперь настало время для появления Жюли.

— В самом деле, — утешая Кэт, сказала Жюли, — чем вам обязан Клавдий? Разве не вы, Кэт, своей рукой закрыли тогда обе двери? Разве не оба вы взаимно дарили друг другу и брали также взаимно друг у друга дары весны? Из вас никто не должник и не кредитор.

Кэт кусала ногти. Клавдий курил и чертил узким носком башмака круги на песке дорожки.

— Я надеюсь, Кэт, ваше благоразумие, как старшей по возрасту, не позволило сделать мальчишку своим легкомысленным должником. И если бы это даже произошло, то нашлось бы много способов для равновесия взаимностей... Для этого кроме Платона Лукича можно найти хорошего и сердечного консультанта. Отвечайте же, Кэт, чем мсье Акинфин обязан вам?

Жюли, не давая произнести Кэт и половины слова, затопляя стремительным потоком доводов, утешений, убеждений, разоружила ее.

Почувствовав себя тонущей, Кэт предпочла выйти сухой из воды:

— Но... он же меня пытался поцеловать...

— Только-то и всего?.. И вы уклонились, Кэт?

— Я угрожала поцарапать ему лицо!

— Какая вы умная кисонька, Кэтхен... — Жюли поцеловала Кэт, обняла ее и проводила за величественные ворота кружевного каслинского литья, которые, как уже было сказано, закрылись для Кэт.

Белая лошадь была довольна, что не перегружают ее старое сердце, не заставляя переходить в рысь.

На шестой версте, перед узеньким мостиком, умное животное остановилось, потому что навстречу мчался другой шарабан и в его упряжке был Ветерок, младший сын старой лошади. Ему она уступила дорогу, ласково и глухо проржав. А он ответил громким ржанием, далеко выбрасывая вперед свои резвые, длинные ноги.

Только сейчас заметила ушедшая в себя Кэт управлявшую резвым конем девушку в развевающейся светлой накидке, завязанной у ворота таким же белым бантом, каким была завязана ее льняная коса.

Кэт сделала вид, что не заметила встреченной, а та на самом деле не заметила ее, потому что она была поглощена бегом коня и свиданием с Клавдием. Она знала, что тот ждет ее.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Такие сочинения, как это, иногда относят к пропагандистско-публицистическим, к технико-производственным произведениям, в то же время они остаются и

повествованиями о любви. Да и не только о ней, а обо всем, что не чуждо тому кругу лиц, какие в нем действуют. Потому, что не бывает или почти не бывает человека, живущего вне своего человеческого, личного, если даже он поглощен практической деятельностью. И если взять Платона и Родиона, то для них заводское дело не сосуществует рядом с какой-то особой личной жизнью, особыми личными чувствами, которые для того же Клавдия стали его основным занятием. Для них это и есть то главное, личное, без которого нет и второстепенного. И, может быть, ничего нет.

Влюбленность в это главное не всегда понятна тем, для кого трудовая деятельность является в большей мере необходимостью и в меньшей — счастливой внутренней потребностью. Таким людям понятнее любовные коллизии Клавдия, Агнии, Кэт, Жюли, Луки Акинфина. Им понятнее поступки таких, как Зюзиков, старухи Миронихи, мелькнувшего на страницах и сгоревшего Гранилина, самодурши Калерии. И главы о них читаются предпочтительнее.

Отсюда и трудность пишущего привлечь внимание к тому, что в литературных произведениях не является частым. Ну чем, в самом деле, может увлечь читающего разговор о болтах, о винтах, о замках, а именно о них-то и будет рассказано теперь.

Вы, разумеется, помните имя Кузьмы Завалишина, который пировал на пепелище дома Гранилина в одной из глав первого цикла. Так вот, этот самый Кузьма Завалишин пришел в приемную конторку, стоявшую вне ограды Шальвинского завода, и сказал:

— А я ведь, Платон Лукич, учил тебя делать ловушки для белок. Забыл?

— Нет, почему же, Кузьма! Как можно забыть, что было в детстве! Ты где теперь?

— Нигде, Лукич. Погоду пинаю. Видишь, носки-то уж пропинал до портянок, штаны еле держатся.

— Деньги нужны?

— Зачем они, когда я сам золото!

— Так почему же гол?

— Не хотел разменивать себя на серебро. Большого-то не давал Гранилин.

— А за что он тебе должен дать крупнее деньги?

— За неоткрываемые замки.

— За какие?

— За те, что без тайного слова не открыть...

— Ишь ты! А какое же слово надо знать?

— Для каждого замка свое. Вот, к примеру... Открой!

Завалишин подал висячий замок и ключ. Привлекательный, блестящий замок. Платон тут же попробовал его открыть.

— Заедает ключ.

— У меня не заест. Дай я.

Взяв замок, Кузьма сунул его в мешок и тут же вынул открытым.

— Ты открыл его другим ключом, который был в мешке.

— Тогда давай я его открою и закрою за спиной.

При этих словах Завалишин за своей спиной открывал и закрывал замок несколько раз.

— Что за фокус, Кузьма?

— А фокус простой, Платон Лукич. Только для дураков. Ты не по солнышку поворачивай ключ, а против него.

Так и сделал Платон и расхохотался.

— Вот уж впрямь говорят, что на всякого мудреца...

— А уж про глупого-то и говорить нечего... Все по привычке по солнышку крутят ключ, даже воры... Сколько дашь?

— Сколько спросишь.

— У таких, как ты, не спрашивают, они сами дают. Знают, как легок такой замок в штамповальной работе и сколько может он дать выручки...

— Подсчитай сам, Кузьма.

— Что там считать по рознице! Я тебе гуртом «пакенты» продам. Вот еще замочек, — положил Кузьма на стол большой амбарный замок.

— Не хочу больше в дураках быть, Кузьма. Открой сам.

— Нет, ты сам, Лукич. Это очень смешной замок. Крути ключ два раза по солнышку, два — супротив, потом толкни ключ вглубь, и вся недолга.

Платон легко открыл замок.

— Замечательный замок. Пока вор догадывается, пробует, его собаки загрызут...

— Это уж как есть, Лукич. Хорошо, что ты про собак вспомнил. Есть специальный замок для побуда собак. Только ты его не пробуй. Напугает он тебя выстрелом... Не смертельная стрельба, а громкая. Все сторожа прибегут. Вот, глянь. В это тайное место ребячья пугачовая пробка вставляется. Только ключ или отмычку вставил — и хлоп, как из ружья.

— А где лавочнику столько пробок набрать?

— Да они в каждой игрушечной лавке. И надо-то их две, три. Один раз выстрелит, в другой к амбару ни один вор не подойдет...

— Покупаю, Кузьма. Все?

— Какое все? Еще пять есть...

Кузьма принялся показывать замки с двусторонними скважинами. Угадай, в какую ключ совать и в какую сторону его крутить. Показал замок с одной скважиной, замок, отпирающийся тремя ключами. Показал с винтовым ключом. Показал без ключа с закрышечкой скважины, которую тоже нужно было знать, сколько раз и в какую сторону отодвигать.

— Устал я, Кузьма, от твоих замков. Иди к Родиону Максимовичу и скажи, что я просил купить и прикинуть, когда ты можешь запустить их в изготовление.

— А как я запущу? Я же никто.

— Родион тоже был никем, а стал главным управляющим. Он тебя назначит главным замочником. А пока суд да дело, пусть он выпишет тебе сотню-другую в счет покупки «пакентов».

Завалишин где стоял, там и сел.

— Прости, Платон Лукич. Обезножел я от радости.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Бедствовавший у Гранилина самородный мастер Кузьма Завалишин просил у хозяина по десятке за каждый придуманный им замок. Гранилин рявкнул:

— По тройку сверх головы будет...

— Есть ли крест на тебе, живоглот? — не стерпел Кузьма.

Не стерпел и другой Кузьма, Кузьма Гранилин: раз? махнулся — и замком по виску. Фельдшер спас. Две недели пролежал Завалишин, пока разбинтовали голову.

Новой коровой хотел задобрить мастера Гранилин. А мастер на это:

— Сгореть бы тебе дотла, проклятому.

Теперь говорят, что проклятье ожило. Гранилин, как мы помним, сгорел. Слыть бы Завалишину вещуном, а он не верил никаким словам. Получив задаток от Скуратова, попросил его засвидетельствовать покупку «пакентов» долговой распиской.

С патентами Платон придумал простое домашнее оформление. Вычерчивалось изобретенное, описывалась его суть на этом же листе, затем шли к нотариусу, нотариус заверял, что настоящее изложенное и начерченное продается таким-то, за столько-то. И никаких хлопот о затруднительном в те годы патентовании.

Замки были вычерчены, прикинуты в изготовлении, а равно и сбыте. Предположили минимальную цену и прибыли. Получалось куда больше, чем доход от веялок и молотилок. Успевай паковать да отправлять замки. Если уплатить Кузьме по самой малой совести, то быть Завалишину тысячником. От двухста рублей он едва дышался, севши на пол приемной конторки. А от этих сумм и рехнуться недолго. Искренне пожалел Родион Кузьму и предложил ему выплату с рассрочкой на три года. Замки-то ведь еще в горе рудой лежат.

Кузьма и не торговался. Куда столько! Ему и первого платежа не прожить. А первый платеж был немалым. Три тысячи рублей. Кузьма же и в чужих руках не видывал столько денег.

Подписали бумаги. Заверили. Деньги Овчарову перевели в рост. Завалишина тут же приняла в Кассу со всеми ее привилегиями для состоящих в ней рабочих и служащих фирмы.

Пуглив был Кузьма Завалишин, не сребролюбив, а счет деньгам знал. Знал он и то, что нужда запас любит. Знал и правила карточной игры о придержании козырей. И он попридержал самый хитрый и самый главный замок без ключа до получения денег, до вексельных обязательств. Когда же он получил все, то объявил:

— А теперь я всех удивлю козырным замком-болтом о двух головках. Одна живая, другая мертвая. Кто отвернет живую головку, тому привсенародно вручаю сторублевую катерину-катеньку.

Похваляясь в таких словах, Кузьма подошел к столбу коновязи, где было кольцо, и сказал:

— Вот, глядите, честной народ, это и есть болт-замок с шестиколесной головкой, головка отдельно и болт отдельно. Теперь на кольцо глаза...

Кузьма, как фокусник, продел болт в кольцо на столбе, затем наверху на него головку, состоящую из шести дисков на одной оси.

— Теперь кому надо, пусть свернет головку. Сто рублей... Вот они.

Желающих нашлось много.

— А как свертывать ее, — пояснил Кузьма, — гляньте на колесики с буквами. Из этих букв нужно подобрать тайное словцо из шести букв. Гляньте, вон они как легохонько крутятся. И как слово подберешь, головка сама собой сыметя.

Кто-то усомнился:

— Темнишь ты, Кузьма... Головку ты намертво на защелку замкнул.

— Так я и знал, что такой сумневатель найдется. Отойдите в стороночку аршинчика на три... Я при вас ее мигом сверну.

Отошли люди. Подошел Кузьма к замку, прикрыл войлочной шляпкой замок. Повертел диски с буквами и снял головку.

— Вот и все! Теперь я ее опять наверну, а сам домой пойду. Кто принесет мне замок, тому денежки да штоф водки за ходьбу.

С этого почти балаганного представления и начался пересмотр изделий Шало-Шальвинских заводов.

Замок, разумеется, никто не открыл, хотя желающие сменяли один другого. Механика замка угадывалась теми, кто не знал ее. А знавшие ее говорили, что Кузьма изобрел забытое. Так же сказал и Платон. Он видел в Англии «наборные» замки с буквами. И все же предложенное Кузьмой увлекло его и Скуратова. Тем более что кроме правильно подобранного соотношения букв у замка был еще какой-то секрет, о котором умалчивал Кузьма.

— Это верные полмиллиона рублей чистой прибыли, Тонни, — сказал Скуратов.

— Почему же не миллион? Эта цифра круглее...

— Может быть, и два. Они тоже круглые, только где набрать столько металла и станков?

Замки могли занять еще пять или десять страниц, но ими нельзя закрыть общую картину перемен на заводах. Поэтому ограничимся тем, что скажем о договоре с Кузьмой. Он не захотел продать «пакент» на этот замок без ключа. Он попросил гривенник с каждого изготовленного замка. Сошлись на пятаке и разобрали замок. А до этого Кузьма попросил Платона Лукича высвободить замок из кольца.

— Составь из буковок, — сказал Кузьма, — имя, которым нарек поп старшего сына Луки Фомича.

Платон рассмеялся.

— А я-то думал, что ты на свое имя изготовил замок, Кузьма?

— Дурак я? Всякий бы догадался и открыл...

Платон открыл замок, потом вскрыл. Его устройство до чрезвычайности оказалось простым. Менее десяти деталей. Болт как болт. Головка — это обойма, и в ней шесть дисков — шестерен с внутренними зубцами.

— Слишком просто, Родион, необходимо доконструировать и усложнить.

Пока это делается, посмотрим, как самые неожиданные люди влияют на перемены заводов фирмы и на изменение сортамента ее изделий. Приведем на наши страницы из множества советчиков и подсказчиков еще такого же, как Кузьма, и тоже с присказюльками. Но до этого несколько строк о Юджине Фолстере.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Юджин Фолстер, перу которого принадлежала книга «Открытия и открыватели», изданная им и даримая его ученикам, поучала, что большинство изобретений принадлежит людям «нижних слоев» населения, вне их специальности, но во всех случаях тех, кто что-то делает своими руками. Инженер, как и наука, по статистическим данным, всего лишь корректирует и усовершенствует найденное, изобретенное, открытое.

Фолстер наставлял Платона, бравшего у него уроки, опираться на тысячи искр в головках рабочих и полагаться на них более, чем на свет одной головы. Надеющийся разбогатеть на большом самородке золота, учил Фолстер, всегда менее удачлив, чем не пренебрегающий золотыми песчинками.

Портрет Фолстера, как живое напоминание о первой заповеди Платона, висит в кабинете Платона. Без Фолстера не было бы и замков Завалишина. Без Фолстера он бы

не принял того, о ком только что доложили ему:

— К вам в лаптях какой-то. Судя по всему, интересный человек.

Он вошел. Перекрестился на угол без иконы и начал весело:

— Господин Платон Лукич Акинфин! Допрежь, как выгнать меня, как дураком обозвать, дозвожь, я тебе присказюлечку одну расскажу, а потом- суть. Писать-читать я плохо умею, а лаптем все-таки щи не хлебаю. Вы меня, конечно, видом не видали и слыхом не слыхали, а про вас я так много знаю, что, может, больше, чем йы про себя.

— Так бывает, — согласился Платон.

— За всяко просто и почти что кажинный раз. Человек себя, окромя зеркала, где может увидеть? А зеркало холодное стекло. А человек человека, как, скажем, вы меня, лучше видит.

— В этом я лишний раз убеждаюсь, разговаривая с тобой. Возчик?

— Он.

— Дочь замуж выдаешь?

— Сына женю.

— Нужны деньги?

— Об этом спрашивать не надо. Лапти об этом сами говорят.

— Сколько?

— Пока ничего. Присказюлька сама цену скажет. Сказывать?

— Сказывай!

— Жил да был Иван, не дурак, а умный. Ума у него, можно сказать, палата была, да маленькая, с куриный клюв. Сеном промышлял Иван. Хорошо промышлял. Луга были укосистые. Даровые. Известно — Сибирь. Она, почитай, вся некошенная. И он накашивал столько, что и сам сыт, одет-обут и семья тоже вся в сапогах ходит. Сено, стало быть, его одевало и обувало. И такое сено, что и продавать не надо. Сами к нему ездили. Шелк, а не сено. И если б Иван был дурак, он бы жил себе да жил, в ус не дул и в бороду не кашлял. А он умный был. А коли ум есть, он же думает.

И у него ум думал. Думал-думал, да и надумал не продавать свое сено ближним покупателям. Узнал, что. они ему в три дешева дают супротив того, что в бестравных местах сено стоит. И задумал Иван сам в бестравные места сено возить. Лошадей купил. Раз сvez. Два сvez. Большие деньги привез, а жить плоше стал.

На еде, на одежде ужиматься начал. Жену попрекать, что плохо хозяйствует. А она чуть не на каждом куске скаредничала. Сама недоедала.

Совсем до ручки добиваться он начал. У добрых людей спрашивать стал.

«Кошелями деньги из бессенных мест вожу, а сам чуть не голодом сижу».

А люди что. Люди как люди. Вздыхают да охают. А один сказал:

«Не иначе — тебе, преумный Иван, Ивана-дурака надо спросить».

Тот чуть не на дыбы. И когда совсем худо стало, пошел к Ивану-дураку. Так и так. А тот ему:

«Без тебя, Иван умный, знаю, что худо тебе. Я ведь дурак. А коли я дурак, то мне всякая дурость, как родная сестра, сродни. И твоя дурость, Иван умный, не чужачкой мне доводится».

Иван умный опять было... Да дурак ему не дал:

«Знаю, кто твой злодей, кто твои деньги съедает».

«Кто?»

«Лошади!»

Не понял попервоначалу Иван умный. И вы, Платон Лукич, господин Акинфин,

попервоначалу не поймете, коли у вас ума полна голова и малым, простым думам в ней и закутка не находится.

Вот и вся присказюлечка... Далее сами ее, Платон Лукич, заканчивайте...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Начал, так заканчивай, — попросил Платон Лукич.

— Без того не уйду. Не то же ли сено ваши веялки?

— Не знаю.

— Тогда у дурака спроси. Меня тоже Иваном звать...

— Скажи.

— Который год я ваши веялки вожу и думаю: во что вскакивает их перевоз? Не съедают ли их лошади? Будь они и железные кони. Много ли веялок можно в вагон впихнуть?

— Мало...

— Да еще дорогой крытый вагон берешь, чтобы дождем не мочило их, цена им не сбивалась...

— Так что же, не делать, что ли, их?

— Делать, но только так, чтобы в один вагон их в тридцать раз больше грузить.

— А как?

— Руку позолоти.

— Не только руку, а оба лаптя...

— Тогда слушай. По всем местам, и нашим, и дальним, веялки мужики делали. Кустарьки. И ладно делали. Не хуже. Одна беда.

— Какая?

— Веялка-то ведь не сплошь деревянная. К ней кузнечная снасть надобится. Ручка, скажем. Ось, и не одна. Шестеренчатые колесики. И эта снасть была самой дорогой для кустарька. А отчего? Нелегко кузнецу было делать ее. А заводчику — чик-чик, и вся недолга.

— Что же ты советуешь, Иван умный, Платону-дураку?

— Ужли не поняли? Тогда вместе разжужаем... Торгуйте доброй железной снастью для веялки. А к этой снасти, как к хорошему воротнику, легким-легко деревянную шубу пришить. Хоть в вятских местах, хоть в уфимских, да где хошь деревянных шубников пруд пруди.

Их глаза встретились.

— Сколько тебе, Иван умный?

— Красненькую-то надо бы.

— Не продешевил?

— Воля ваша, Платон Лукич. Можно и синенькую. Зеленую-то трешенку совсем будет не по-акинфински, Платон Лукич.

— Может быть, ты в самом деле дурак? И у тебя на себя поглядеть и зеркала в избе нет. Десять рублей за то, что меня... Да нет, ты при всей твоей крепкой, умной голове не поймешь, что ты для меня сегодня сделал! А молотилки разве не то же «сено», не те же веялки? А конные приводы с дурацкими, стоеросовыми вагами?... Нет, ты этого не поймешь...

— И стараться не буду понимать, Платон Лукич. Мне, Платон Лукич, не очестливо при тебе умным быть. Только и конные приводы тоже наполовину сено.

— Кто ты такой, Иван, как тебя по бабушке?

— Как и вас.

— Кто ты такой, Иван Лукич?

— Веяльщик я. Веялки делал. Не в простых сапогах хаживал, а теперь видишь, что у меня на ногах. Не сам в них переобулся.

Акинфин понял, о чем идет речь.

— Давай уж договаривай. Мы, что ли, Акинфины, разули тебя?

— Этого я не скажу. Жизнь такая пошла. Вот ложечников взять... Горшечников... Тоже чуть не по миру... И как винить заводчика, что его чугунный горшок не родня глиняному, как и ваши ложки? Хрясь и ложка. Мужики-то еще едят деревянными, а в городах нет... Хотел разве ваш отец уморить ложечников? Нет. Жизнь через него обескровила их. Таких, как я, Иван Балакирев.

Платон опустил глаза.

— Да, отец этого не хотел. Этого потребовала хитрая жизнь.

— Не только... Ну, да это долгий разговор. И не мой. А мой разговор про то, как хитрую жизнь перехитрить, чтобы людям дать жить и самому хорошие деньги нажить.

— А как?

— Про Зингера, который машинки для шитья делает, вам все известно?

— Знаю, что американец, торгует во всех странах машинами.

— Это все знают. А вот как ухитрится привозить дешево из-за моря свое сено? Об этом вы не слыхивали?

— Нет.

— Тогда послушайте, Платон Лукич. Зингер не возит своих машин полняком. Он везет только то, что ему сподручно и дешево, а все остальное, простое и легкое, в той державе делается и собирается, где продается его машинное «сено».

— Я, кажется, слышал об этом.

— Значит, не в полное ухо и мимо головы.

— Наверно.

— Да уж так. На кой вам ляд громоздить эту махину веялку, когда сподручнее вам, как и Зингеру, самое дорогое и самое нужное делать для веялки. Литое, точеное, кованое. А веялку где хочешь доделают.

— Кто?

— Да кто хочешь. Мы, Балакиревы, в каждой губернии есть.

— Понял я вас, Иван Лукич. Будете делать веялки, а я — только хорошую железную снасть к ним.

— Ни в жизнь. Охота пропала. Да и поднадоело на копейки считать. Я и на верхних проволоках счет костяшками щелкать не оробею. Было бы что на счетах считать. Думаю, что будет, если вы свои веялки в самом деле на зингерский манер переведете. Когда переведете, меня кликните. Я опять кое-что подскажу.

— Спасибо. Вы уже подсказали больше, чем хотели. Я ваш должник...

— Не будем про это... Еще пару слов хочу. Опять про Зингера! На чем зингерство держится? Не только на собирательстве да доделке машин, но и еще опора есть. Агентом она зовется. Слыхали, поди, что такая должность есть? Мой зять в магазине у Зингера в этой должности состоит. Машинами в долг и наличными торгуют. От зятя-то я и узнал, как у них все ловко скроено и вымерено. Вам тоже, Платон Лукич, агент будет нужен. Такой, что все не все, а порядочно знает тех, кто за вашу железную снасть для веялки больше заплатит, чем вам теперь веялка прибыль

дает. Без вывоза, само собой. Вывозные деньги тому пойдут, кто к вашим частям все деревянное приладит и веялками будет торговать. Дальше сказывать или все как на блюдечке?

— Все как на блюдечке, Иван Лукич.

— Тогда до скорого свиданьица. Вечереет, однако... Спокойной вам ночи, Платон Лукич.

— Я едва ли сегодня усну.

— Да и завтра, наверно, тоже плохо спать будете.

— Погодите, Иван Лукич... А как же вы, неграмотный, в нашей фирме агентом будете?

— Ежели буду, подучусь грамоте. Псалтырь-то я могу читать. А когда припирает, то и писание у меня получается. Ну, уж если вовсе немоготу случается, так я не только «Бову» могу без запинки честь, а и от мелкой печати в газетках не слепну...

После этой, казалось бы, малозначащей встречи миллионера Акинфина с возчиком Балакиревым начался переход от изготовления крупных изделий к мелким. Флегонт Потоскуев подсчитал, сколько из прибылей фирмы сжирает дорога. Цифры говорили не менее убедительно, чем присказюлька Ивана Балакирева.

Нашелся ключ к главному замку, о котором не думали, на который не обращали внимания, привыкнув к нему. Предстояла крупная ломка привычного. А пока она начнется, посмотрим, что происходит рядом, с заводами Акинфиных, и так далеко от них, что будто это не шало-шальвинские края, а другой мир, другая жизнь, где все другое — и краски, и слова...

ЦИКЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После неудачного хода двумя шарами по имени Кэт Алиса ожесточившийся Шульжин, разуверившись в этой дамской игре, обратился к мужской. Большой крокетный деревянный шар уступает меньшему костяному бильярдному шару не только в весе, но и в точности ударов.

Если продолжить начало главы в том же словесном регистре, то следует заметить, что на зеленом поле игр Шульжин преуспевал несравнимо больше, нежели на ниве промышленного производства. Между тем оба эти поприща имели больше внутренних сходств, чем внешних различий. Те же цели — кто кого. Та же хитроумность ходов. Такой же азарт. То же стремление обмануть друг друга. И то же, хотя и не всегда, жульничество и даже шулерство.

Подглядывать в чужие карты Шульжина учили с первых ступеней его карьеры. Сначала в полиции, потом в ее усложненных разновидностях, именуемых начальственными постами.

Феофан Григорьевич не был привержен к созиданию и способен к разрушениям. Мня себя цезареподобным, он не мог воскликнуть, обратись лицом к Шальве: «Карфаген должен погибнуть!» Для этого и при самопревозвеличивании и вере в свой гений интригана он знал, что силы не равны, что полководец и при отличном стратегическом замысле баталий — полководец без армии не более чем кукиш в кармане. И если у него нет армии, но есть резервы, то есть и надежда на победу.

Потенциальными резервами следовало предположить всех, кто еще не знает о готовящемся нападении. Их следовало предупредить. Тактичненько, тоненько, деликатно. И он начал с замков. С мелкого заводчика Гранилина. Он пригласил его в свой новый, не столь ослепительный кабинет, как прежний, но все же достаточно притупляющий зрение тех, кто и без того подслеповат.

— Батенька мой Кузьма Тарасович, — обратился Шульжин к тогда еще не сгоревшему Гранилину, — нам надобны добротные, массивные замки. Они есть у Акинфина, да не хочу из третьих рук покупать то, что можно получить из первых.

Тупоумный и не освободившийся еще от вчерашнего кутежа Гранилин не понял направления иглы, которая через минуту болезненно уколет его в самое больное.

— Вот, драгоценнейший наш соседюшка, какие удалось добыть пробные замки, рассылаемые Акинфиным оптовикам, переторговывающим этим товаром.

К певуче сказанному он изящно делал следующие ходы, как карту за картой, замок за замком выкладывал рекламные образцы завалишинских изделий.

— Вот, извольте ли видеть, этот никелированный красавчик неожиданно можно открыть при левом повороте ключа... А этот, двухскважинный, не разгадать и вам, королю замочных совершенств.

Продолжая показывать нарядные диковины, Шульжин видел, как ожесточается Гранилин с каждым появлением из ящика письменного стола на его зеленом сукне нового замка, превосходящего по внешности и выдумке устройства своего предшественника.

Упиваясь игрой, Шульжин показал последний, «стреляющий» замок. Гранилин ударил по письменному столу рыже-мохнатым кулачищем так, что подскочил графин с водой.

— Убью!

— Кого, Кузьма Тарасович?

— Обоих... И Кузьму... И Платошку... Это же мои замки! Мой Кузьма скандибоберил их на моем заводе...

— Ай-ай-ай! — зажав голову руками, сокрушался, возмущаясь, Феофан Григорьевич Шульжин. — Какой бесстыдный акт соседского злодейства!

— Убью! — снова возопил Кузьма Гранилин, вцепившись пятернями в свои огненно-красные волосы, готовые воспламениться.

— Зачем же убивать их, да еще самому? — подбросил Шульжин далеко пошедшую, как мы знаем, мысль. — Пока попробуйте сделать это же бескровно. Вот вам замки, Кузьма Тарасович. Дарю! Делайте их сами. Кузьма же «скандибоберил» их на вашем заводе, а вы, дружок, перескандибоберьте их в лучшем и более дешевом виде.

Гранилин понимал, что такой заворожительной «товарности» ему не добиться, но все же сгреб рекламные замки и, разложив их по карманам, помчался в Шальву возвращать к себе на завод Кузьму Завалишина.

— Я его под конвоем за волосы приволоку, — убеждал он не столько Шульжина, сколько себя. — Пристав у меня не вылезает из-за стола, и я его не толичко деньгами, но и прихотками своими одежаю. Нравствуете это, Феофан Григорьевич, или нет?

— Нравствую, Кузьма Тарасович, вполне... Удачи вам, о моем заказе вам поговорим потом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Хорошо начав Гранилиным, Шульжин решил продолжить осуществление своей программы мести Платону Акинфину его конкурентом Потаковым. Там он получит большую фору и, натурально волнуясь, проиграет все бильярдные партии Антипу Сократовичу, осчастливив его блистательной победой.

К разным людям следует по-разному прислуживаться. У кого-то восхититься отличным слогом речи и классическим построением фраз. Чью-то жену, еще во чреве матери обретшую страшноватенькое лицо, назвать пикантной до пределов тончайшего аристократизма. Был бы язык, его можно применить во множестве возможностей. Лстить. Клеветать. Лизать. Затуманивать. Низвергать. Возвышать. Ранить и даже убивать... Этому также был обучен Шульжин сызмала.

Очаровательная дорога от Шальвы до Старопотаковского завода удивляет спутника прелестями Среднего увального Урала. Здесь изредка встречаются и скальные образования, чаще же величавое волнение еловых, сосновых, смешанно-лиственных покровов гор, которое влюбляет и чужеземца. Каждая из них обязательно прячет в себе какое-нибудь из богатств миллионолетней давности, когда еще не соткнулись в единый материк два плавающих гиганта, получившие впоследствии названия Европа и Азия. Не напрасно же этот двухтысячекилометровый каменный шов двух частей света называют страной чудес и несметных сокровищ.

По сокровищам на тройке мчится в летнем кителе без эполет и других знаков отличия и различия Шульжин. Он и не предполагает, что рядом, вокруг да около, в полуверсте-версте от дороги, в двух-трех саженьях ниже ее, притаились то самоцветы, то уголь, то руда, то каменный лен или что-то еще, чему не знает названия жаждущий разбогатеть Феофан Григорьевич, как разбогател тот же Молохов на хухородном серебре, оказавшемся драгоценной платиной. Зато знают об этих дарах иноземные тайные разведчики-геологи, притворившиеся любителями путешествий и шныряющие по Шало-Шальвинскому бассейну, нанося на карту его скрытые миллиарды.

Купи Шульжин один из таких клочков земли с счастливой начинкой, зачем бы ему понадобилось служить, унижаться, интриговать и мчаться за двадцать верст сбивать с пути простака Потакова? Выкопал бы драгоценный клад, превратил его в капиталец, на проценты с которого можно жить да поживать, мед-бражку попивать, тульскими пряниками закусывать. И Кэточку, мармеладную конфеточку, выдал бы замуж за блестящего жандармского ротмистра, и родила бы она ему внука, зеленоглазого Феофаника.

Кабы знать, где что достать, так и в зловонную бы яму слазил... Э-эх, мечты-мечты-мечтюлечки...

Тройка скачет уже по широкой плотине, которую через три года взорвет старуха Мирониха. А теперь плотина целым-цела-целехонька, как и потаковский завод.

Лениво курятся короткие кряжистые трубы его цехов, в цехах льют колокольцы, вытачивают разные разности по местной и недалней потребности. Чугуны, сковороды, утюги... Загибают ухваты, сковородники, кочерги, лопаты, совки. Куют топоры, подковы, тележную снасть... Много что делают. Миллионов на этом не выжмешь, а дорогие пирамидки шаров из слоновой кости можно покупать и безоглядно бить тринадцатым по двенадцатому и не бояться проиграть годовой доход завода.

Вот так и катают пятнадцать шаров, целят их в одну из шести луз Потаков и Шульжин. А в промежутки партий антракт для ног и одышки. Рукам отдых, а языкам работа.

— Стало мне известно, Антип свет Сократович, что ваш смежник по роду товаров переходит с крупных изделий на мелкие.

— Это зачем же, интересно бы знать, Феофан Григорьевич?

— Верные доглядатаи докладывают мне, что по разумению неоперившегося всеядного пожирателя маловесный товар дает большой навар, поэтому штампуются ножи, вилки, ножницы, иглы, бляшки-пряжки и прочая галантерея, вплоть до крестиков...

— Каких крестиков, Феофан Григорьевич?

— Нательных. Позолоченных, из американского желтого сплава. Для епархий. Через молодого попа Никодима заказ. На паях. Чистая прибыль одиннадцать копеек и восемьдесят семь сотых на крестик. Вот он каков, точный счет. Миллион крестиков — почти что двести тысяч в лузе, без кия.

— Но позвольте, — задумался Потаков, — миллион крестиков — это тысяча тысяч... Их не так просто изготовить. Если взять оптимально по тысяче крестиков в день, для этого понадобится без праздников более трех лет.

— Это на ваш счет, драгоценнейший Антип Сократович. А у него свой. Он изготовил маленькие, переносные штамповальные станочки для женских рук и раздал их через овчаровскую Кассу старикам, женам рабочих, и те не по одной тысяче их в день наштамповывают. Весом сдают. Считать нет возможности. В арифметике цифр не хватает, а до астрономии не дошли, вот и взвешивают крестики фунтовыми гириями.

— Завидный заказ, Феофан Григорьевич!

— По справедливости говоря, у него много интересного, а еще более — скрытного. Темнит! Но до всего можно добраться. Говорят, что скоро появятся удивительные пять скороходных самонарезающих винтонарезных станков различных диаметров. И якобы они позволят многое собирать на болтах.

— Удорожит это...

— Не скажите, драгоценнейший Антип Сократович, не скажите. Пророк глаголет — гвоздем прибыли фирмы Акинфиных является новый, дешевый гвоздь, болт будет королем.

— М-да... — почесал за ухом, затем под мышками Потаков и сказал, откровенно завидуя: — Чемпион-шампиньон в темноте растет, а выйдя на свет, все грибы затмевает... Проникнуть бы в его темноту.

— Это уж не так сложно, душа моя. Революционеров и тех разнохивают. А этот гриб хотя и в тени, но на поверхности. К нему и к Родиошке любой слесарь вхож. А у вас есть такой!

— Кто?

— Тот, что, мною был уступлен вам, сокровище мое, и за коего я недополучил обещанной благодарности. Теперь я уже не считаю на тысячи, перейдя на более мелкую купюру, довольствуясь и трехзначными ассигнациями. Старею. Скоро выйду за штат...

— Сегодня же будет полный ажур. Даже сейчас. — Потаков вынул из кармана бумажник, а из бумажника деньги. — Кажется, точно. Говорите же, как можно применить для этих целей Сережку Миронова.

— Очень просто. Вы поссоритесь с ним, выгоните его, пообещав ему выплачивать ежемесячно то, что он получал. И вы будете знать до последней насечки на гвозде, что делается у этого англомана.

— А примут его?

— Настежь ворота раскроют. Он же в одной навозной куче вызревал с этим шампиньоном. Учился в том же домашнем училище...

После сказанного Шульжин мог из одной игры пригласить в другую. И он, уложив в пирамиду шары, сказал:

— Как всегда, вам разбивать...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Дог лает, а локомотив мчится». В такой перелицованной и осовремененной редакции слышал в Англии старую поговорку Платон Акинфин. С нее он и начал свою речь на инженерно-техническом совете, в зале приемов, куда были приглашены и некоторые мастера, а также и пусковики, именуемые в наши дни наладчиками.

Сидел тут же и «уволенный» Потаковым механик-пусковик Сергей Миронов.

Председательствовал, как всегда, Родион Максимович Скуратов. Речь Платона была короткой и густой.

— Фирменный знак, или фабричная марка, не просто нарисованная фигурка, отличающая одну фирму от другой. Это ее визитная карточка, это сфокусированное выражение лица фирмы. Фирменный знак должен быть нарисован очень просто и выразительно, чтобы его можно было ставить на любое изделие, вплоть до головки гвоздя. Сейчас я вам покажу предварительный рисунок нашей фабричной марки. Вот он, — Платон развернул лист чертежной бумаги. — Как видите, господа, здесь изображены весы с уравновешенными чашами и в пространстве меж ними буква «А». Мне кажется, господа, лаконичнее и выразительнее едва ли можно изобразить смысл, цель и главную идею наших общих дерзаний.

Почему были взяты уравновешенные весы, не понадобилось объяснять. Буква «А» также легко разгадывалась. И все было ясно. Однако всегда находятся подхалимы, и один недовырванный корешок Шульжина, попросив разрешения у председателя, сказал:

— А почему же нет широкоизвестной и зарекомендовавшей себя фамилии владельцев фирмы полностью? Что значит «А»? Могло быть «Б», а то и какая другая буква. Почему полностью не назвать зарекомендовавшую себя фамилию Акинфиных?

— Я знал, что такой вопрос зададут, — ответил Платон Лукич, — и готов объяснить. Во-первых, Акинфины ничем особенным еще не зарекомендовали себя. Не конными же приводами. Не кустарными же молотилками и тем более веялками... О весах, кажется, сомнений нет, есть только о букве «А». Это первая буква нашего алфавита, как и «альфа» у греков, как и у многих народов, ею начинаются все алфавиты. Буква «А» легко запоминается и хорошо смотрится. В ней тоже есть равновесие сторон, как во всяком равнобедренном треугольнике. За буквой «А» может подразумеваться и слово «акционерное»... А что касается Луки Фомича Акинфина и его сыновей, то кому до этого дело, кроме нас с вами, господа? А одному из сыновей нет дела и до нас с вами, господа.

Далее предстояло обсудить совету также, казалось бы, никчемный вопрос. А он важен, как и фирменный знак, для каждого, потому что, по утверждению председателя Кассы, всякий из работающих в фирме сам по себе фирма. И тысячи таких фирм, не называясь акционерами, являются таковыми по сути дела.

О заводском номере докладывал Овчаров.

— Господа! В нашей обстановке заводской номер рабочего все еще остается

самым простым и удобным заводским паспортом. Жестянки, которые выдавались у нас со времен царя Косаря и царицы Курицы, имеют неприглядный вид. Они легко теряются и не уважаются. Бирка-кругляшка с цифрой — и все. Ее легко подделать, легко изготовить кому не лень. Новый, общий для всех членов нашей Кассы номер тоже не вычеканен на монетном дворе, но все же его жаль потерять и стоит он рубль. Себе пятак. Но вы же знаете, господа, моего конька. Я со всего хочу иметь выгоду, и не для себя, и не для фирмы, будь она «А» или «Б», а для всех, на чьем труде она держится.

Речь прервалась одобрительным хохотком и хлопками. Овчаров умел овладевать вниманием слушающих его и знал, на какой фразе его прервут аплодисментами. Он поднаторел на выступлениях перед самыми разными людьми. Ободренный Александр Филимонович принялся говорить увереннее:

— Так вот он этот номер. Полтора на полтора вершка ровно. Квадрат. Чеканен из латуни. Отбелен в никелевой ванне, посреди него та же фабричная марка — весы. Под маркой набивной порядковый номер для всех, кроме меня. Я в фирме не состою.

Опять смешки, хохот и хлопки.

— Так вот... В правом нижнем углу буква «М» или «Ж». Мужской это номер или же женский. У нас работают и будут еще прибавляться женщины. И не только ремингтонистки или конторщицы, но и коренные цеховые работницы.

Снова хлопки.

— Так вот... В нижнем левом углу год. Год начала работы. Фирма обещает платить за выслугу за каждый год, и не когда-то после Петрова дня зимой и после дождика в четверг, а после второго года работы. Всем. Всем без исключения.

Члены совета и остальные поднялись и принялись громко аплодировать Платону.

— Не мне, не мне, — принялся отмахиваться он, — а этому выжиге, — и указал на Овчарова.

— Так вот, — повторил Овчаров, — стало быть, с вас причитается по шкалику с каждого, только не мне, а Кассе. За ее выжигательство.

Снова шум и снова хлопки.

— Так вот... А вверху, вдоль кромки номера, выпуклая полоса для фамилии владельца номера. Кто хочет — гравируй, а нет — и без фамилии номер действителен. Теперь с правого и левого боку по одному слову. Это как бы девиз и обязательство фирмы и Кассы: «Улучшающий вознаграждается». Слева видите слово «Улучшающий», справа — «вознаграждается». Я это нахожу умными словами, предложенными Платоном Лукичом. Короче не скажешь и точнее тоже.

Поднялся Платон и, подняв руку, попросил этим внимания.

— Господа! Мой учитель Юджин Фолстер, выбившись из низов до кафедры магистра, внушил мне, и очень крепко внушил, что самая большая голова не может вместить в себя больше, чем сто голов. Может быть, в каждой из этих ста голов всего лишь гран-полграна новизны, но разве не из этого состоит все то, что мы называем просперити, прогресс, продвижение, процветание и все, что не начинается на «про», но адекватно этому «про» в нашем производстве, промышленности, производительности, проверке давления и напряжения этой новизны...

Слушающие его инженеры почтенных лет, привыкшие к устоявшимся нормам заводских взаимоотношений, да и молодые, невольные продолжатели общепринятого, полностью разделяя сказанное Акинфиным, сомневались в его практической пользе. Сомневался в этом и еще один человек, по имени Вениамин Викторович Строганов.

Он сидел в сторонке и записывал происходящее. Его любознательности обязаны многие главы нашего повествования, поэтому расскажем о нем и тем самым перемежим информационно-справочные главы о Кассе знакомством с этим приятным молодым человеком.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Молодой литератор поселился в «Платоновом крыле» дворца Акинфиных. Его в домашнем кругу называли Венечка или «Веничек». Так прозвали его Лучинины. Он не просто однофамилец прославленных Строгановых, но и какая-то родня из обедневшей ветви рода. Про Строгановых говорят, что их в некоторых прикамских деревнях больше, чем белок в тех же лесах. Этот Строганов жил в доме Лучининых. Он тайно и безнадежно был влюблен в Цецилию, оставаясь ее «хвостом» и верным другом.

Вениамин закончил университет, прирабатывал еще в студенческие годы несколько необычными переводами. Он переводил с русского языка на русский же скверно написанные богатыми людьми различного рода сочинения и получал за это не так мало, тем паче что он не претендовал на соавторство.

Один молодой либеральный купец, заболевший сочинительством, показал Вениамину Строганову рукопись солидной толщины. Это была повесть под названием «Как я разбогател». Написана была она разнобойно, читалась же неотрывно. Вениамин увидел в ней ходовую книгу широкого, увлекательного и поучительного чтения. Строганов согласился подготовить ее к печати и привести в должный вид. Купец был счастлив и широко раскошелился.

Повесть была переписана, издана, ее автор прославился, а Вениамин Викторович разбогател. Три издания, одно за другим.

Разумеется, у Строганова было денег значительно меньше, чем у того же Гранилина, но он мог начать издание небольшого литературного журнальчика под названием «Подснежник».

Узнав об этом, Платон сказал:

— Зачем вам, Вениамин, «Подснежник» под снегом, когда на поверхности лежит еженедельная газета.

— Какая, Тонни? Где?

— У нас. И назвать ее можно звонко, весело, привлекательно и загадочно, с большим подспудным, иносказательным смыслом.

— Как?

— «Шалая-Шальва». Чем не название?

Вениамин воспламенился:

— Вы правы, Тонни! Интригующе и оригинально! Но все же я не склонен к шелкоперству, я хочу пусть небольшого, но изящного...

Платон сказал:

— Художник Сверчков также стремится к этому и пишет очень интересные пейзажные и бытовые полотна, но кроме того нужно было есть и кормить семью. И я помог ему быть сытым, одетым, обутым при условии, если он часть своего дарования отдаст рекламным рисункам фирмы... Счастлив и благодарен. Такие замки нарисовал, что так и просятся в руки. Не хочешь, да закажешь их «Акинфину и сыновьям». И с полотнами тоже у него дело лучше пошло. Нужда не висит над ним, рубль не стал для него бичом. Сидит и выписывает цветочки до лепесточка. Женские образы — до

последнего волоска ресниц.

При этих словах Платон показал Строганову незаконченный портрет Агнии Молоховой. Увидев ее лицо, Венечка-«Веничек» признался ей заглазно в любви. А увидев ее очно, повторил признание.

— Поздно, — с непринужденной сердечностью и скромностью сказала Агния, — я уже предрешила свою судьбу.

И это не было кокетством или не присущей ей хвастливостью. Агнию Вениамин Строганов располагал к откровенности. Тонкие черты его лица, кроткое выражение вызывали доверие.

Неожиданное для него признание Агнии в любви, и еще более нежданный ее ответ, и совсем невероятное, оглушившее Вениамина открытие, что сердце Агнии отдано опереточному «куплетчику», певцу шансонеточных «а-ля романсиков», потрясли его. Он хотел тут же уехать в Пермь, где губернатор, знавший Льва Алексеевича Лучинина, предлагал ему «бездолжностное» место «облагораживателя бумаг на высочайшее», не обязывая Строганова постоянно находиться в губернском городе.

Вениамин хотел видеть Агнию, пусть редко, пусть издали, но видеть. И он согласился приступить к созданию газеты «Шалая-Шальва», уйдя вскоре в эту работу целиком, открывая в ней возможности, о которых ни он, ни Платон до этого и не предполагали.

Пока шла подготовка издания шальвинской воскресной газеты, с благословения губернатора, Строганов интересовался необычной Кассой, созданной Овчаровым, и записывал ее также не совсем обыкновенную историю. О ней надо знать и нам, так как она в изломах сюжета нашего повествования скажется не один раз.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Касса взаимного трудового кредита» много раз меняла название и направление своей деятельности. Прежде она была малозаметным учреждением, наподобие общества трезвости. Сойдутся, поговорят о вреде алкоголизма и закончат собрание выпивкой.

Этого хотя и нельзя было сказать про Кассу, так как она что-то делала, в чем-то помогала, но не была такой заметной, как теперь. И уже одно то, что Касса переехала из деревянного домишка в большой двухэтажный кирпичный дом с колоннами, внушало к ней уважение. А что она такое, пожалуй, не скажет и сам ее председатель. Касса существует отдельно, не при заводах, но и при них. Она похожа на профессиональный союз, какие уже начали появляться, но не является им.

Как и с чего началась она, теперь позабылось. Помнят об этом и до мелочей знают только Овчаров да еще десяток рабочих.

История Кассы началась с товарищеской складчины десяти дружков-приятелей. Одним из них был мастер-литейщик Овчаров. Его-то и называли складчинщиками своим казначеем. Дело было поставлено до чрезвычайности просто. Овчаров завел небольшую карманную книжку. На каждого из своих товарищей в ней были особые страницы. Из них левые надписывались словом «Внес», правые — «Получил».

Из десятирех Касса выросла до шестнадцати человек. Пришлось избрать в помощь Овчарову еще двоих казначеев. Он стал старшим, а они — простыми. Решали втроем. Решали просто, между дел в литейке.

По примеру этой Кассы появились такие же в других цехах Шало-Шальвинских заводов. Начальство хвалило. В полиции тоже не видели в этом крамолы, ни явной, ни тайной. И когда все кассы решили собраться, им никто не воспрепятствовал в этом.

Собрались в цирке.

На собрании касс была создана единая Касса. Этого хотели все. Больше будет денег — больше можно будет брать займы. Спор зашел о том, как назвать Кассу. Овчаров предложил ее назвать «Шало-Шальвинская касса взаимного кредита». Предлагали добавить пояснительные слова: «рабочая», «общественная», «товарищеская», «заводская».

Овчаров настаивал на своем названии и считал, что она и заводская, и рабочая, и товарищеская, что ясно и без названия. И так известно, чья она.

По-разному поняли это настояние, но все знали, что Александр Филимонович Овчаров человек головастый, предусмотрительный и, прежде чем что-то сказать, хорошо обдумывает.

Да и, в конце концов, зачем лишние слова, от которых все равно останется только одно — Касса?

В задачу Кассы будет входить только материальная забота о труженике. И только материальная. Открытая. Гласная. Касса должна быть такой, чтобы ее никто и ни в чем не мог упрекнуть или, хуже того, уличить.

Объявили прием, определили вступительные взносы и возвратные паи. Пайщиками по решению Кассы могли быть и сторонние лица. Одним из них стал сам хозяин, Лука Фомич Акинфин. Он внес десять тысяч рублей.

Резон простой. Общий процент. Больше платят только в ненадежных банках. А здесь надежно. Овчарову и больше можно дать. Не Кассе, а Овчарову.

Опасливее отдавали деньги в рост Кассе заводские начальники, у которых были денежки про запас. Они приехали на Урал «за рублем», и не всем хотелось рассказывать, велик ли у него этот «рубль». У некоторых он был превесьма многотысячен. Например, у его превосходительства господина Шульжина. Ему денежки приходилось скрывать. Но не все же были мздоимцы и воры. Для многих Касса оказалась удобным и близким местом хранения сбережений. Можно было уговорить и прижимистых. Касса общая. И если можно ей помочь, почему же не помочь. Убытка не будет, а выигрыш может быть, Овчаров ввел выигрышный девятый процент.

Два раза в год в цирке выставлялась урна с пронумерованными билетиками. Билетиков было ровно столько, сколько вкладных номерных счетов.

Билетик из урны вытаскивался тем мальчиком или девочкой, кому на этой неделе исполнилось семь лет. Опять игра. По части игр Александр Филимонович Овчаров был большим выдумщиком. Предпочитал он игры честные, исключаящие фальшь. В этом смысле лото хотя и азартно, но свято. Так и сказал Овчаров полицейскому приставу, ставя его в известие об открытии игры в лото при кассе.

Общеизвестную игру пришлось расширить и усложнить. Она состояла в том, что всякий желающий играть мог купить карточку лото с номером игры и числом для игры за одну копейку.

Карточки лото на первый случай были отпечатаны в десяти тысячах штук в екатеринбургской маленькой типографии. Отпечатанные под номерами карточки поступали доверенному — кассиру лото, хранителю круглой печати.

Купить карточки можно было всякому.

Кассиру нужно было получить копейку, проставить число дня игры и прописью номер игры. В день случалось до десяти игр.

Играть можно было дома и в цирке. Бочоночки лото с номерами пересчитывались и проверялись лотошниками кассы перед каждой игрой. Затем, пересчитанные, они опускались в черный плюшевый мешок. Девочка или мальчик, знавшие цифры, вытаскивали бочоночки один за одним, как это и делалось во всякой игре в лото. Цифры писались мелом на большой черной доске.

Играющие зачеркивали карандашом выкрикнутые номера. И когда какая-то карта выигрывала, — а выигравших карт было несколько, — лотошник объявлял номер выигравших карт. Количество проданных карт было известно до игры. Кассиру и лотошнику не трудно было при участии выборных от играющих подсчитать по числу проданных карт данного выигравшего номера карты сумму выигрыша. Она вручалась тут же. А те, кто не присутствовал на игре, могли получить выигрыш в течение недели, считая первым днем день игры.

Несложные условия овчаровского лото стали известны всем. Честный выигрыш был особенно приятен для выигравшего и не обиден для проигравшего. И все находили справедливым, что Касса отчисляет себе десять процентов. Десять процентов не кому-то и не куда-то, а Кассе. Общей Кассе.

Первые десять тысяч карточек дали первый доход. Новый заказ в екатеринбургскую типографию был уже на пятьдесят тысяч карточек. А третий заказ исполнился Кассой. Она купила печатную машину бостонку.

Невинная игра в лото становилась популярной. Карточки покупали жители соседних заводов. Играли в лото духовные лица. А иные лавочники покупали по сто карточек. Требовали воскресную игру в лото проводить в будни.

Понадобился особый кассир и доверенный лотошник на оплате. Это уже служба, отнимавшая время. Оплата оправдывала себя. Полмиллиона проданных карточек лото стали суммой, замеченной губернскими властями.

Спокойный, улыбающийся, ясноглазый, русобородый, степенный Овчаров объяснил чиновнику, приглашенному отужинать, что, несмотря на многочисленность играющих, лото остается домашней игрой. Заводские жители играют промеж себя, не причиняя урона, а принося даже пользу отвлечением их от горячительных напитков и пустого времяпрепровождения.

Чиновник рассудил по-овчаровски. Игра, если говорить по совести, была в самом деле домашней. Разве где-то в сводах законов империи ограничивалась числом играющих всякая допущенная игра?

И это он говорил вовсе не потому, что литейщики преподнесли ему чугунного лешего на пне, отлитого в честь такого лестного посещения Шальвы высокопоставленным губернским лицом. Игра в самом деле была безвинна и отвлекала от политики. Так и доложило губернское лицо в губернии, где согласились с ним.

К лото привыкли. Волна азарта схлынула, игра вошла в свое русло. Не менее четырех тысяч чистого дохода в месяц. В год около пятидесяти и даже более тысяч дохода.

Уже можно было давать безвозвратные ссуды по бедности, по увечию, при несчастном случае и при счастливом — на свадьбу малоимущих.

Это было началом расцвета Кассы, до возвращения из Лондона Платона.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Познакомившись ближе с Овчаровым, Платон Акинфин почувствовал, что он встретил человека, который поймет и разделит его идеи «гармонического равновесия взаимностей».

Овчаров не только понял и разделил их, но и расширил их.

— Я так счастлив, Александр Филимонович, — искренне признался Платон.

— А я, Платон Лукич, и поверить не могу, как могли два разных человека, находясь, скажем прямо, в весьма разных условиях, с первых же встреч взаимно уравновеситься. Это чудо! — тоже совершенно искренне ответил тогда Овчаров.

В подтверждение этих взаимностей, по настоянию Платона, Лука Фомич передал Кассе в арендное пользование большой, десятин на тридцать, лес, носивший название «Игрище». Здесь по большим праздникам случались гуляния. А в Троицын день игрища. Отдан был Кассе также в аренду по малой цене и дедовский цирк.

Через Кассу и лично через Александра Филимоновича Овчарова стало известно всем восьми акинфинским заводам, каков новый молодой хозяин Платон Лукич Акинфин.

Снова опережая события, чтобы не разбивать по времени и главам сюжетно-тематическую линию Кассы, нам необходимо рассказать о ее удивительных для Шальвы расширениях.

На лесном берегу Шальвинского пруда пустовало недостроенное здание, завещанное богоугодливым купцом под богадельню.

В первое же лето по приезде Платона началась скорая добротная достройка больницы. Началась потому, что произошло несколько смертей подряд незаменимых мастеров, которых можно было спасти простейшими медицинскими средствами. А их не было под руками.

Платон и Овчаров, научившись понимать и слышать не договоренные друг другу слова, нашли способ сделать больницу, как и цирк, не только безубыточной, но и прибыльной.

Решилось просто, как с лото. В больнице десять палат второго этажа предназначались не для всех, а для тех, кто может платить покоечно.

Как всегда, нашлись крикливые и сомневающиеся. А для сомнений были основания. Койка оценивалась от пяти до пятнадцати рублей в сутки. Это неслыханная цена... Кто может, а если и может, то захочет ли столько платить?

Оказывается, захотели. Платон раздобыл в Москве волшебника хирурга, показавшего чудеса на первых же операциях. Он дорого стоил. Более двадцати тысяч в год давали две средние по цене палаты для привилегированных и богатых. Равновесие так равновесие.

Бесплатная койка для состоящего в Кассе рабочего обходилась в день менее восьмидесяти копеек. Полное лечение. Безупречное питание. И хороший уход. И все за счет Кассы.

С приездом второго врача, средних лет, названного в Шальве «доктором по всем болезням, кроме резательных», палат уже не хватало. Приезжали ходатаи из Тагила, Невьянска, Кушвы, из самого Екатеринбурга.

Хорошая слава бежит не тише плохой. Когда вылечиваются обреченные, когда удлинится жизнь миллионера, которому уже намекнули, что «медицина бессильна», и он возвращается из чудодейственной шальвинской больницы

здоровым-здоровехоньким и вносит за исцеление Шало-Шальвинской кассе не сто, не двести рублей, а десять, пятнадцать тысяч, при таких обстоятельствах можно расход на бесплатные койки увеличить и до рубля с гаком.

«Гармоническое равновесие взаимностей» торжествовало, вдохновляя их носителей одолевать новые ступени.

К двум дорогим, ставшим именитыми докторам добавили еще двух. Дешевых. Из совсем молодых. Дорогие врачи не могли ходить по домам. И делали это в крайних и неотложных случаях. А молодые для этого и приглашались. В Шальве вводилось неслыханное.

Рабочий, состоящий в Кассе и проработавший на заводе не менее двух лет, имел право на бесплатный вызов доктора, фельдшера или сестры. Это всегда стоило рубль доктору или полтинник фельдшеру. Попробуй полечись, когда семья жила от получки и до получки!

А тут — изволь тебе... Приезжает на лошади, с кучером. Здоровается. Внимательно, подолгу расспрашивает, затем прослушивает, прощупывает и просит запомнить или записать, как и чем лечить, а то и сам пишет на листке. А потом рецепт на лекарство. В свою фирменную аптеку, где только по заводскому номеру выдают и такие снадобья, что в большом городе не всегда найдешь.

«Равновесие взаимностей» сказывалось и здесь во взаимопомощи имущих и малоимущих, о чем не знали ни те и ни другие. И зачем им всем знать? Одни не поймут, другие оклеветают.

А люди понимали. Во всяком случае, догадывались, с кого и как это все началось.

На соборной площади в Шальве приговоренный к смерти старик, позабывший теперь о рябиновой палке, которая помогла ему меньше хромать, увидел молодого Акинфина. Старик побежал навстречу Платону мелкой рысцой, пал перед ним на колени, перекрестясь на него.

Платон оробел. Кругом люди. Кончилась обедня...

— Дедушка, дорогой мой, ну как вы так можете? — испуганно озираясь, подымал его Платон с колен.

Старик снова перекрестился на Платона и громко сказал, не ему, а всем:

— Да святится имя твое, Платон... Я ведь, сызмала зная тебя, говорил, что ты прославишь род свой и бог простит через тебя грехи породившим тебя до седьмого их колена!

Эти слова слышал и Лука Фомич, заходивший в собор послушать певчих. Ему тоже стало не по себе. И он подумал: «Не переслащает ли Платон свои медовые пряники? Когда привыкнут к ним, нелегко будет ему сбавлять сласть...»

Лука Фомич твердо был убежден, что и ласка должна знать меру, а уж что касается ублажения мастеровых, то тут особо нужно понимать, что данное им и назад не вернешь, и убавить не убавишь.

Дед-покойник Мелентий Диомидович каждую масленую неделю мешками грузил бублики в кошевы и выкидывал по улицам угощения. И как-то пропустил он или позабыл про бублики в одну масленую неделю. Весь год об этом помнил народ. То кота дохлого с бубликом на шее к воротам подкинут, то бублик из этого самого... скатают и в расписной коробке на дверную скобку привесят.

— И бублики с умом кидать надо, — поучает Лука, — а уж больницы-то даровых-то докторов... и говорить нечего. Лиши теперь попробуй их этого... Не кота дохлого, а покойничьи кости из могилы выроют и на дом доставят. И не чьи-нибудь

косточки, а отцовские или дедовские. Акинфинские. Да еще напишут углем: «Для уравнивания взаимностей» или еще чище... Найдут, что написать...

С хорошим самочувствием возвращался из собора Лука Фомич — и на тебе... Все прахом пошло. И шустовским не запьешь...

«Оно конечно, — рассуждал он, — если по совести... Нужна больница. И школа хорошая с черчением-рисованием тоже нужна. И я бы сам это мог. От души мог... А потом что?.. Коли назвался груздем, лезь в кузов... Так уж лучше в мухоморах числиться, чем в распятых праведниках на кресте висеть».

Имя Платона называлось в каждом доме. По-разному, но называлось. Одни превозносили его до превыше седьмых небес. Другие называли его ловким притворщиком, отравой в позолоченном пузырьке, а то и просто дураком, не в отца. А третьи, которых было большинство, чистосердечно не понимали, кем считать, как назвать молодого Акинфина.

Овчаров — тот весь на виду. И целей у него корыстных нет. И рабочая кровь в нем. Жалко только, что против царя и словечка худого не сказал. Усмешки не обронил. А может, и хорошо сделал, что не обронил. Оброни бы ее, так был ли бы он в такой чести и у тех, и у этих? А честь не ему нужна. Нужна только радость за тех, за кого скорбит Александр Овчаров.

А молодой-то Акинфин зачем в ту же упряжь влез?

Зачем?

Простой народ не понимает этого — одна статья. На то он и простой народ. А начальники? Инженеры? Свои и привозные... Почему они тоже насчет него шепчутся и хотят знать, каков он там? В себе? Куда ни отец, ни мать и никто, видать, не вхожи. Видать по всему, и они немногим больше других о нем знают.

И, как всегда, размышляющие, ищущие ответа и не находящие его говорят одно и то же.

Время покажет...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Увлечшись, перо опять опередило события и снова нарушило единство времени. Исправляя это, мы снова побываем во дворце Акинфиных, теперь все чаще и чаще называемом домом, что более соответствует новой фирменной марке с изображением уравновешенных весов.

В доме Акинфиных созерцательный его глава снова предается воспоминаниям и размышлениям:

— Давно ли это было, Калерия... Не вчера ли, не в этом ли зале в такую же пору трубили трубы, пели певчие, засыпали нас цветами, заваливали подношениями и во всю-то моченьку кричали нам: «Горько! Горько!» Пили-били, плясали до одури и на другой, и на третий день... Перемешались в один Содом, засыпали в одной обнимке, а просыпались в другой. Пьяному море по колено, а богатому и того мельче... Давно ли это было, давно ли, Калерия? Будто прошло не двадцать девять лет, а мелькнуло двадцать девять дней и каждый из них как один час...

Увлечшийся воспоминаниями Лука Фомич перебирал и мелочи, называл малознаемые имена вперемежку с громкими фамилиями заводчиков, владельцев приисков, копей, лесов, распронаибогатых вдов, их превосходительных сановных гостей, всемогущих горных начальников и тут же, рядом, циркачку-наездницу, рыжего

клоуна, словно проверяя крепость своей памяти, упоминал он и тех, кто пек, варил, жарил, подавал на стол, обносил вином и одарял такими улыбками, что чуялись давно забытые запахи пьянящей черемухи.

— Наша свадьба, Калерия, если прикинуть и вдуматься, — рассуждал Акинфин, возлежав на диване, — обернулась и богатой ярмаркой. Не один миллион, думаю я, прошел через нее — кому-то в приход, а кому-то в уход. Ушел, я думаю, именно в эти дни из козырных доменных королей в черную краховую масть, вечная память ему, Пармен Ключарев, а удачливый Молохов шутя-шутешеньки оттяпал две ключаревские медные печи себе. Доходной была наша свадьба для Васьки Молохова! Подумать — две печи... Обе они могли бы нашими быть, да и все другие, коли б не поторопился Платон...

— Будут нашими, — твердо сказала Калерия.

— Ты что? Молохову сын нужен, а не шарабан! Он так и сказал мне: «Помни, Лука Фомич, одна у меня она дочь, и я не неволю. Пущай ее на людях покрасуется. Но ежели кенарь хоть в чем-то поневолит ее, ты знаешь, Фомич, как я умею стрелять из дуэльной шомполки...»

Калерия сказала мужу:

— Не утруждал бы ты свою голову, Лука, в ней и без того тесно. Вычерчивал ты Платона доменным владельцем, а он лесным властителем вычертился. Так и младший.

— Кто чертит скоро, строит не споро. Не прибаутка это, а первая заповедь для всех и каждого. Боюсь, что Клавка самообольстителен и легкодумен в своем черчении.

Калерия хихикнула.

— Да он ее по рукам и ногам очертил, от головы до щиколоток. Так очертил, что дальше, пожалуй, и некуда. Поздно, я думаю, ей обратно расчерчиваться.

Лука Фомич приподнялся на диване. Качнулся и снова лег.

— Ты что?

— Ништо! Если это правда, Калерия, то хуже и сам сатана не придумает.

— Чем же хуже-то? Окстись!

— Это так плохо, что и слов не найдешь. Молохов не из тех отцов, у которых дочери сами себе женихов выбирают да еще... ставят родителей в безотказное положение. Плохо Клавдиево дело, Калерия. Так плохо, что и слов не найдешь.

Калерия насторожилась:

— Лица на тебе нет. Опомнись!

— Ты опомнись и остановись, если еще не поздно. Их останови. Да так останови, чтобы и концы в воду. А если в самом деле поздно, доктора нынче всякие есть. Головы долбят, черепа штопают, а уж...

Лука Фомич так страшно выругался, что уши Калерии, слышавшие всякое, захолонули от слов.

Испугалась и она. А вдруг Молохов в самом деле, как поруганный отец, вызовет драться Луку на шомпольных ружьях с картечью, как того гусаришку, и прихлопнет, как и его. А то бездуэльно кулачищем пришибет и оправдается, как уже бывало: «Я же до смерти не хотел, а только так...»

Что же делать-то ей, что? Не к Жюли ли бежать? Эта ящерица все ящерные ловкости знает. И побежала к ней!

— Поздно, — сказала Жюли. — Теперь вся надежда на Мадонну.

— Так ты и стань ею, Жюлечка! Ничего не пожалею за это!

Жюли потеряла круглый лоб и ответила:

— Попробую... Только я не верю обещаниям!

Калерия мигом сбегала к себе и принесла дорогую алмазную материну брошь.

— Задаточно! Если уладишь, весь этот алмазный гарнир твой, кроме кольца. Память по матери.

— Попробую, — ответила Жюли, не веря в успех и теперь уже раскаиваясь в своих плутнях. Она тоже боялась первобытно-длиннорукого Василия Молохова. Черного, мрачного и жестокого полуживотного-получеловека. Таким она всегда видела его, а теперь он представился ей еще страшней.

Ничего не знал, да и не хотел знать Платон о любовных интригах, происходивших в семье. Для него все это было мышиною возней, не стоящей и крупицы переустройства жизни, происходившего на его заводах.

Он, Скуратов, Овчаров и Флегонт Потоскуев нашли способы компромиссного взаимного соглашения с рабочими об отчислении в Кассу сумм для установления престарелым рабочим пенсии.

Авторитет Кассы возрос вдвое. И как еще вырастет, когда Касса будет продавать в рассрочку своим членам хорошие, о двух, о трех и о сколько пожелаешь комнат дома. Или по желанию сдавать их, как сдают квартиры. Только дешево. Очень дешево.

Возведение новых рабочих домов, новых улиц было давним, еще юношеским желанием Платона. Теперь оно стало и желанием Родиона Скуратова.

Платон, занимаясь только теми науками, которые ему могут пригодиться, по совету Юджина Фолстера, не пренебрег и новейшими экономическими учениями. Пусть он читал Маркса и Энгельса, листаючи через две страницы на третью, а тем не менее к чему-то из главного Платон приобщился. Ему отчетливо было ясно, что три материальные потребности являются обязательным условием для существования человека. Это потребность в питании. Она более или менее теперь обеспечена в Шальве. И особенно этому способствует свое небольшое домашнее хозяйство. Корова. Мелкий скот. Огород. Надо бы лучше, и будет лучше. Но пока можно терпеть, как и с обеспечением третьей потребности — в одежде и обуви. Не щеголяют, а голыми да босыми не ходят. Лохмотья не так уж часты. Они больше в деревне дают себя знать, но не в заводских населенных пунктах. А вот относительно второй материальной потребности — жилища — дела обстоят плоховато. С этим тоже мирятся шальвинцы, но мирятся потому, что не допускают лучшего. А это лучшее надо показать.

Барские дома и дворцы не схожи. Они все на особицу, а рабочие дома один в один.

В детстве Платон наблюдал, как строился дом рабочего. Это был чаще всего дом-пятистенка. Избой его не называли. Но это была изба. Пятая стена делила дом на две части. Первая была кухней. В ней же стоял столовый стол. Здесь обедали, пили чай, ужинали и спали на полатах, находившихся под потолком, поблизости от русской печи. Вторая половина была чистой. Гостевой комнатой и спальней.

Рабочий дом строился долго и трудно. Строительство растягивалось и на год. Осенью заготавливали бревна. Иногда осенью же рубили сруб. Весной сруб ставился на бутовый фундамент и крылся чаще всего дешевой тесовой крышей. Железная крыша была дорогой и хлопотной. Дорогим были и застекление, и кладка русской печи. Дом разорял рабочего и вводил в долги.

В «равновесии взаимностей» для осуществления широких планов нужно было не ограничиваться обещаниями, не успокаиваться провозглашением их на фирменном знаке и заводских номерах, а наглядно показывать, что это все не посул, а явь.

Пенсия уже стала явью. Ею же должно стать и краеугольное жилищное благополучие рабочей семьи. Тогда рабочий почувствует себя не порабощенным хозяином, а взаимно полезно сотрудничающим с ним.

Предрешенное в мечтаниях должно найти практическое, техническое, инженерное воплощение. Им-то и занялся Платон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Думая о дешевом доме для рабочего, Платон вспомнил подарок отца. Отец заказал для Тоника столяру «форменный дом» для игры. Это была модель дома, который можно шутя разобрать и снова собрать. Игрушка увлекла Платона и самым процессом разборки-сборки, и своей «всамделишностью». Здесь было все: и половые доски, и накат пола, и стропила, и сенцы с лестницей, и чулан.

Разборный игрушечный домик подсказал идею таких, но настоящих быстро собираемых домов. И он принялся думать, каким должен быть такой дом. Для него было ясно, что для этого прежде всего необходимы такие детали стен, которые бы не нуждались в дополнительной притеске, прилажке, как это делали плотники, по нескольку раз примеряя бревно, прирубая его. Бревно легко мог заменить брус. Точный, прямой, готовый для укладки вплоть до зуба углового замка. И это представлялось ему простым и легким. Он в часы досуга нарисовал, а затем вычертил несколько таких домов. Но какой из них окажется наиболее удобным и пригодным для рабочей семьи, об этом Платон знал лишь умозрительно. И он решил заказать в модельный цех разным мастерам разные сборные дома «по их разумению и как для себя». Он обещал за лучшие дома дорого наградить. А за те дома, которые могут быть пущены в работу, создавший их получит за созданную модель самый дом.

Платон Лукич и Родион Максимович относятся к своей затее вдумчиво и, предвидя большое будущее, заказали сорока рабочим своих заводов рисунки домов, в каких бы они хотели жить. И обещали оплатить хорошей ценой.

Начались новые обсуждения, замечания. Заинтересованность поражала Платона и позволяла ему надеяться, что он теперь может осуществить лелеемое. Оставалось ответить на самый главный вопрос:

— А во сколько влетят эти красавчики?

Названной цене никто не поверил. Она была втрое меньше, чем предполагалась строившими дома и знающими, «что почем от уголка до конька крыши».

И совсем было трудно поверить, что за дом нужно платить не сразу, а в рассрочку. С вычетом из полочки в течение семи, десяти и двенадцати лет.

Когда же сказанное Платоном подтвердили Скуратов и сам Александр Филимонович Овчаров, сомневаться было уже нельзя. И сомнения отпали окончательно после того, как появились две новые станковые лесопильные рамы, изготавливающие мерные брусья. Это были особые рамы, которые справедливее было назвать станами. Выпиленный из бревна брус шел дальше по стану в остругивание, запилку и вырубку угловых замков. Лицевая, фасадная сторона бруса — «заполуваливалась» под вид бревна.

В новом цехе при лесопилке также машинно изготавливались рамы, двери, доски пола, накат для потолков.

Забегая опять вперед, чтобы во имя уважения к хронологии не нанести ущерб развитию действия, опять расскажем, что вскоре произошло и что еще не случилось

пока.

Первые дома получили модельщики. Вез рубля, без копейки.

Желающих купить в рассрочку составные домики оказалось больше, чем возможностей произвести их. Поданные заявления разбирались Кассой с привлечением представителей цехов.

Кого предпочесть? Как установить очередность?

Предпочли бездомных и вновь нанятых. За ними — живших в ветхих, догнивающих домах.

В третью очередь шли радивые и отличившиеся на работе.

Остальным было сказано, что ждать долго не придется, что с каждым месяцем будет прибывать число изготавливаемых домов и правило Платона Лукича — «легче, лучше, больше» — и на этот раз не окажется пустыми словами.

Касса назвала первые сто фамилий, которым будут построены до осени новые дома. После чего началось обсуждение договоров, взаимных обязательств. На некоторые пункты этого договора не все обратили внимание, а они заслуживали этого.

В числе пунктов были такие, по которым дом не может быть продан или передан другому лицу. Это понятно.

За дом нельзя удерживать из месячного заработка рабочего более двадцати процентов и менее пятнадцати процентов. Тоже хорошо.

А вот почему за дом нельзя выплатить сполна наличными или с более короткой рассрочкой, это вызвало удивление. В самом деле, чем плохо для хозяина, если выплату не будут растягивать на долгие годы. Овчаров объяснил так:

— Ни Касса, ни фирма не желают, чтобы дом ложился тяжелым бременем на семью, купившую его.

Хотелось знать, что станет с домом, если купивший его уволится с завода или будет уволен. Овчаров сказал:

— Дом продается без прибыли, по самой крайней цене, и только работающему на наших заводах. Может быть, в дальнейшем будет продажа всем, но по другой цене. Пока же домов не хватает своим.

Это же растолковал и Скуратов.

Спрашивалось: а как будет с домом уволенного?

На это в договоре отвечалось точно: выплаченные деньги возвращаются полностью с добросовестным удержанием за износ дома по установлению Кассы.

Спорить не о чем, и сомневаться не приходится. Пока что не увольнялся никто, кроме воров и преступников.

Предусматривалась в особом пункте и смерть купившего дом. В котором ясно говорилось, что в этом случае при отсутствии в семье работающих дом переходит в собственность осиротевших. При наличии подрастающих членов семьи, способных стать ее кормильцами, дается добавочная рассрочка, до времени поступления на работу, в этом случае выплачивается половина долга.

За такие слова и в ножки можно поклониться.

Снова имя Платона Лукича у всех на устах.

Во многих поминальниках, как сказал отец Никодим, на листках о здравии вписывалось имя Платона.

Когда же началась установка первых домов на фундаменты, пришлось стройку огораживать жердями от зевак. «Скорое составление» превратилось в зрелище. Первые «составные» дома возводились «под конек» в течение шести дней, потом

поднаторевшие мастера, получавшие за сборку сдельно, управлялись в три дня. Самым долгим была кладка печей, но и здесь нашлись смекалистые мастера. Нашлись свои выдумщики. Печь клали по шаблонам трое — печник, подручный и подносчик кирпича.

Жизнь подсказала добавления к дому по желанию заказчика. Добавлялись полати. Терраска. Летняя светелка на чердаке. И с первых же новоселий оказалось, что в новом доме нужна и под стать ему начинка.

Мебель — это новый цех. Новый цех — новые расходы. Но и тут нашлись «улучшатели». Была предложена мебель, получившая, как и дом, название «составной».

Новый успех венчал новыми лаврами сердечного, пекущегося, понимающего рабочего человека молодого хозяина Платона Лукича.

А теперь, забежав так далеко в успехах старшего сына Акинфина, вернемся к тревогам младшего — Клавдия...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Совсем недавно Луке, Жюли, Агнии, тем более маменькиному сынку Клавдию развязка хотя и казалась бурной, но все думали, как думает большинство людей в таких случаях. Не они первые, не они последние. Покричит, пошумит, может быть, и прибьет дочь, потом невозможное примет за неизбежное и благословит.

Теперь в это никто не верил. Грозовая туча висела над домом Акинфиных и в эти ясные, солнечные дни без единого облачка на тихих небесах.

Только один Платон, которому боялась сказать правду знающая все Лия, как всегда, занимался сонмом своих дел. Типолитографией. Составными домами. Пуском новых станков. Телефонной станцией и ее линиями. Возведением электрического цеха. Подсчетом замочных прибылей.

Ему завидовали все Акинфины и молчали. Он мог вмешаться и сделать еще хуже.

Еще хуже сделал другой, вмешавшись в тайну семьи Акинфиных, мстя за Кэт, за себя. Он очень последовательно и логически доказательно хотел оберечь от позора Молохова, который должен потребовать у Акинфиных женить Клавдий на Кэт. Агнию же отправить в Петербург, где и невозможное сделают возможным.

На Молохове известие Шульжина не сказалось взрывом негодования. Выслушав Феофана Григорьевича, Молохов предупредил:

— Знай край, да не падай! Будет врать. Пошел вон, старый растлитель! Пикни только об этом или Алиса твоя пусть пикнет, тогда знай... Это будет последний ваш писк... Последний... Пшел вон, дочерин поддавальщик! Пшел!

Оставшись один, он выпил стакан успокоительного.

Белого. Красных и всяких других цветных вин он не пил.

Придя в себя, Молохов позвал Агнию.

Бледная, прозрачная, она в длинной ночной рубашке вошла неслышно светлым ангелом в отцовский каземат под мраморными сводами.

Агния, кротко опустившись перед отцом на колени, еле слышно сказала ему:

— Какой бы мерой ни наказал ты меня, я и бог простят тебе.

Зверь дрогнул, съезжился и зарыдал.

— Доченька... Неужели ж, неужели он ошарманил нас, обесчестил и покорил?..

Агния бросилась к отцу, и они, обнявшись, зарыдали вместе.

Так прошел тягостный долгий час, а потом Василий Митрофанович, ничего не говоря, встал и ушел в свой «алтарь» за железную дверь. Дочь перешла в объятия матери, и та, крестясь, сказала:

— Агонька, страшен первый гром... Отойдет... Придет в себя... Отец же он... Отец!

А Платон в этот день любовался рекламным образцом замка-болта. Отполированный до алмазного свечения зеркально-никелированный замок мог украсить письменный стол и вельможного банкира. На обеих торцовых плоскостях отчетливо выштампованы весы и буква «А». На дисках съемной головки вместо букв цифры от нуля до десяти. Номерные диски вращаются бесшумно.

Изготовлено по числу замков сто кедровых подарочных коробочек. На них выжжено, что необходимо. И адрес. И оптовая цена. И скидка при оптовом заказе на сто, на двести, на триста и на тысячу замков.

Отпечатано в литографии и уведомительное письмо. Оно извещает:

«Милостивый государь! Фирма презентует Вам образец замка, открывающегося и закрывающегося без ключа...»

Штильмейстер, мастер словесного колдовства, сумел выткать на листе, тисненном под канву, живописно интригующие фразы и математические формулы, исключаяющие открываемость номерного дискового замка-болта.

На каждом замке свой номер, а в списке, остающемся в сейфе, отгадка цифр каждого замка. Надо же заказчику убедиться, что замок открывается. И он, помучившись день-другой, неделю, спросит об этом. И когда, получив ответ, своими руками откроет свой замок, для него уже не будет сомнений, какой это ходовой товар и как много можно на нем нажить.

Дело верное. Хватит ли только технических возможностей выполнить заказы на полмиллиона прибыли, занесенной Флегонтом Потоскуевым в реестр предположительных доходов? Кузине Анне четвертую часть долга вернули первые завалишинские замки мелкого пользования. А эти болтами вернут за год все, да еще построят «Женский завод», а может быть, и башкирский поселок Султанстан. Башкиры очень честный, исполнительный, работающий народ. Их только окрылить и заставить поверить, что они могут свернуть горы и пустить реки вспять. И они пустят и свернут...

Отрадно на душе у Платона. Широко рисуется ему недалекое осуществление своих замыслов. Он поможет и Антипу Потакову омолодить его старый завод. Потаков поймет предпочтительность зависимого расцвета самостоятельному захирению и согласится стать акционером. Буква «А» очень много заключит в себя.

Можно простить и серость Кузьме Гранилину. Наладить ему производство нескольких видов замков, передать скобяную мелочь и также помочь технологически. Чем тогда он будет не акционер? Да и Молохову поможет открыть глаза титулованное чучело Шульжин, ничего не смыслящий в металлургии, принесся ему первые убытки. Поймет и этот первобытный человек, что прочное содружество спокойнее убыточного одиночества. А может быть, как знать...

Мысли Платона перескакивают на Клавдия. А вдруг?.. Чары любви необъяснимы. Вдруг в самом деле тоненькая ниточка Агния свяжет брачными узами Акинфиных с Молоховыми?.. Ведь любовь в самом деле необъяснима в своей мудрости и глупости...

Нет, решительно отгоняет нелепое, несуразное предположение Платон. Разумное

для фирмы Платон считает безнравственным для себя. Как можно желать видеть ниткой близкую к идеалу и совершенству чистую, бескорыстную Агнию... Нет, нет, ее влюбленность пройдет, она отдаст дань девичьей наивности, поймет, как пуст Клавдий, и отвернется от него навсегда. Ей нужен такой же, как она. Вениамин мог бы освободить Агнию от плутовских чар...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Агния не освобождалась от чар, а осмысливала в бессонные ночи, как могла она позволить ему привести её к этой ранней потере юности и началу новой, зрелой жизни, к которой она не была готова и которая теперь страшит.

Ей очень хотелось оправдать себя и поднять Клавдия в своей душе.

Она знала, что Клавдий рано пристрастился к вину. Быстро хмелел, а охмелев, давал больше воли слабости. Болтовне. Выдумыванию. Прожектерству. Хвастовству. В этих случаях он становился не только недалеким, но и смешным в несусветности своей околёсицы. Клавдий мог рассказать, как однажды он танцевал с императрицей. Ему ничего не стоило соврать и поверить совранному. Но лгал он обо всем бескорыстно. О встрече с медведем, которого он прирезал перочинным ножом, вонзив его в сонную артерию зверя. Для него ничего не стоило на пари переплыть Ла-Манш или пробыть под водой около часа, держа во рту резиновую трубку. Меткость стрельбы удивляла и его самого. Оказывается, он без промаха бил из ружья, заряженного маленькой дробинкой, в комара за окном, мог острой саблей отсечь половину крыла летящей пчеле и загипнотизировать волка...

Мало ли что сочинял он! Кто не был одержим мальчишечьим враньем. Можно сожалеть, что это мальчишество не оставило Клавдия до двадцати одного года. Оставит позднее. Не всегда же он будет распевать пошленькие песенки и с увлечением рассказывать, как в парижской оперетте выручил больного премьеры и в течение десяти дней пел за него и как антрепренер, не зная, что он сын миллионера Акинфина, предлагал ему уйму франков за каждый выход на сцену.

Нелепо это. Нужно простить ему наивное вранье, не преследующее выгод, наживы и ничего, кроме желания еще больше понравиться ей. Несчастное дитя, испорченное матерью и гувернанткой.

Пройдет это все, и папа поймет, что он будет хорошим мужем и счастливым отцом.

Надеясь на это, Агния засыпала под утро. Отца третий день нет дома. Он куда-то уехал, сказала дочери Феоктиста Матвеевна и пообещала:

— Обойдется, Агонька, все обойдется, потерпи.

Днем к Молохову приезжала Жюли.

— Я хотела бы лично, Феоктиста Матвеевна, рассказать кое о чем Василию Митрофановичу.

— Не теперь бы, милочка. Повременить бы... А может быть, и не надо... Он любит сам доходить до всего и сам решать. И решит. По-отцовски решит. Агочка-то у него, как и у меня, одна.

Жюли вернулась в Шальву с обнадеживающими вестями.

Прошел день. И еще прошло два дня. От Молоховых не было никаких известий. Не давала знать о себе и Агния.

— Опять тебе придется быть послом, Жюленька, — попросила ее Калерия

Зоиловна.

Пара самых огневых умчали Жюли. Ее принял Молохов как давно ожидаемую.

— Если свахой изволили прибыть, мадам, то милости прошу...

И все как всегда. Как будто ничего не произошло. Вошли и Агния с матерью. По их лицам можно было прочесть самое благоприятное.

— Сватайтесь же, мадам, — попросил Молохов. — Или вы не умеете, не знаете, как это делается, как сказывается по русскому обычаю?.. Вижу, нет. Тогда я научу. — И он, меняя голос, начал сватовское присловие: — У вас, Василий Митрофанович, белая утица, а у нас белый павлин, в холе дома выпестованный, за морем выученный всем ихним премудростям, и звонким пениям, и другим разумениям... Так, что ли, свашенька?

— Так, Василий Митрофанович, так...

— Тогда время тянуть нечего. Пусть мать и отец вместе со своим богоданным павлинчиком приезжают на обручение. Так водится на Руси, так и будет у нас.

— Я счастлива... Очень хорошо, Василий Митрофанович...

— Да куда уж Лучше, если без сватовства все сосваталось. А это вам, мадам, за хлопоты.

Молохов снял с руки Феоктисты Матвеевны массивный браслет с изумрудами, надел его на руку Жюли и повторил:

— За хлопоты, — а затем отчетливо добавил: — И за короткий язык... А ежели он не ровен час подолжеет, тогда... Тогда другим одарю...

— И от меня, Жюли Жаковна, прошу принять подареннице с теми же наказательными словечками.

Феоктиста Матвеевна отцепила свои с такими же изумрудами серьги, завернула их в платочек и сунула подарок за пазуху Жюли.

— Так завтра или когда вздумается жду их втроем. Свашеньку милости прошу не утруждать себя. Уши любят серьги, а любить им чужой семейный разговор негоже...

В Шальву огневые серые лошади примчались в мыле. В поту вбежала в дом и Жюли.

— А вы мне не верили... Да, да, вы мне не верили, а я всегда, ничего не обещаю наверняка, сделала больше, чем могла... — В доказательство сказанного Жюли показала знакомые Акинфиным серьги и браслет.

Платон не поверил услышанному, а Клавдий нравоучительно сказал ему за утренним чаем:

— Тонни, я исправил твой промах с молоховскими доменными... — Он не договорил. Красный острый соевый соус не дал ему договорить. Соус залил ему рот и заслепил глаза.

Выплеснувшая все содержимое соусника в лицо Клавдия поднялась и вышла из-за стола. Утершийся салфеткой Клавдий понял свою оплошность и крикнул вслед Цецилии:

— Вы правы, мадам! Пардон! Я горжусь вами, мадам, и преклоняюсь перед вашим выбором! — Затем, доутирая лицо, Клавдий обратился к Платону: — Она обожает тебя, брат. И я верю теперь, что не лес прельщал тебя, когда ты...

Ему снова не удалось завершить комплимент. Платон предупредил:

— На этом остановись, если ты не хочешь, чтобы я к соусу добавил что-то еще.

Платон, резко повернувшись, ушел вслед за Лией.

Выяснить эту размолвку не стали.

— Мало ли чего не бывает в семье, — предупредила Калерия Зоиловна. — У нас теперь есть поважнее дела. О них и надо думать.

А Лука Фомич думал свое. Он не верил в искренность Молохова и ждал подвоха.

— Помни, Клавдий, твердо помни, что твое дело теперь только молчать. Упаси тебя бог развязать язык у Молохова! Тогда я не соей тебя оболью, а серной кислотой изуродую... Калерия, я приказываю до свадьбы запереть в погребке все вина. Ни рюмки в доме. И это сейчас же убрать со стола. Убью, если учую от кого-то винный запах!

— Папа, я всегда был умерен...

— Умерен или укобылен, я не желаю знать, Клавка. Укороти сегодня же свои медностружечные патлы. Не к девкам-шантанкам едешь! К невесте и к ее отцу, к человеку стропливой строгости. Будешь молчать да кланяться, и больше ничего! Никаких пардонов и бонжуров. Безо всякой францужатины... По-русски! И на передний угол не мешает перекреститься, когда войдешь! Завтра судьба фирмы решится! Быть ей со своим железом, со своей медью или не быть!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром на следующий день Василий Молохов, готовясь к встрече с Акинфиным, был откровенен с женой:

— Что говорить, Клавку я всегда считал пустоцветной придурью и двуххвостым прохвостом. — Молохов имел в виду любовь Клавдия к фракам, которые он носил и в не положенные для них часы.

— Нынче все двуххвосты, Васенька. Агочка лаской и добротой обесхвостит его полностью.

— Все может быть, — соглашался и не соглашался Молохов. — Для неимущей жены супружество-замужество пути. Для нашей же Агочки всего только проба на верность, на крепость семьи, какой она может быть и должна стать. Не ожегшись не узнаешь огня, — рассуждал он. — А опалившись им, она либо приручит его, либо погасит и задует новый, верный... долгий огонь.

— А когда сын или дочь? — спросила Молохова.

— Богатая вдова и с семьей ребятами девственница. Оно конечно, — рассуждал далее Василий Митрофанович, — может, и из Клавки с годами дельный человек выпляшется. Бывает и так...

Вошла горничная. Она была сегодня в атласном кремовом сарафане и при жемчужных бусах. Видимо, было кому дарить такие.

— Прибыли господа Акинфины. Втроем. Пренаряднущие, — сообщила девушка.

— Надо встретить, Васенька...

— Ты встреть. Я посижу...

— А что я за встречалка им?.. Милости проси их, девонька. Любезнехонько проведи их. Ниже кланяйся...

— Да уж знаю... Все знаю...

Нетерпеливая Калерия не стала дожидаться, когда вернется горничная, и столкнулась с нею в двери. Следом вошел Лука, а за ним робко, пришибленно и притворно покорно, на цыпочках, вошел Клавдий. Его волосы были укорочены. К этой новой прическе ему шли вышитая зелеными листьями шелковая косоворотка и сапоги.

Молохов не скрыл улыбки. Он вышел навстречу. Облобызался. Пошутил.

Похвалил его русский наряд и ничем не показал своего неуважения к нему. Все это вселяло в недалекого Клавдия самые благоприятные надежды.

Акинфин и Молоховы, оставшись в своем кругу, могли начать ожидаемый разговор. Они уединились вшестером в небольшой гостиной. По одну сторону стола сидели отец, мать и сын Акинфины, по другую — Молоховы с дочерью.

— Дело не шуточное, — заговорил первый Василий Митрофанович, — и поэтому всё должно быть в полной ясности. Как говорят, в открытую — карты на стол. Так ли?

— Так, Василий Митрофанович, — откликнулась Калерия Зоиловна.

— Это уж как водится, — присоединился к ней Лука Фомич, — не торг ведем, «кто кого обманет», жизнь наших детей решаем, — посмотрел он на сидящую поодаль Агнию.

— Однако же счастье счастьем, а остальное тоже забывать не будем. О приданом и однолошадный мужичок-пахарек не забывает. С него и начну для большей вразумительности и лучшей понятности.

— Да зачем оно нам, Василий Митрофанович? Мы, слава богу, капиталами не обижены и долгами не обременены.

— Это и я, и все знают, Лука Фомич, но все же ж порядок блюсти надо. Не приемное чадо выдаем, не седьмую родню, а кровную и единственную. Так вот, отдаю за ней все, от старой бани до новой домны. Все будет ваше, — обратился он к Акинфиним. — Все. Нет у меня других наследников, опричь разве мелкоты, которым завещано по тыщонке-другой, третьей, пятой...

У Луки Фомича кольнуло в боку, ему труднее стало дышать.

— А ты-то с чем останешься, Василий Митрофанович?

— Обо мне не горюй. Я себя никогда не забывал и теперь не забуду. У меня всему свой срок и всему своя мера. Прошу прощения, — сказал он и расстегнул ворот рубашки, а потом, опять попросив снисхождения к нему, снял чесучовый пиджак.

Феоктиста Матвеевна хотела открыть окно, да Молохов удержал ее.

— Нынче и стены не без ушей, а уж окна вовсе малонадежны для такого разговора. Так, стало быть... Отдаю все нотариально завещательно. Однако же ж... Коли карты на столе, прятаться нечего. Клавдий мне мил и дорог, как сын, — солгал он так правдиво, что Калерия тут же смахнула слезу. — Но я Клавдия знаю плохо и верю ему мало.

— Это как же, Василий Митрофанович? — удивился Акинфин. — Он весь на виду.

— То-то и плохо, что весь на виду и ничего спрятанного в нем нет.

— Чем же плохо-то? — спросила Калерия Зоиловна.

— А тем, что Париж много ему дал и еще больше взял. Нет у него той строгости, что у старшего вашего, Платона. Тот хоть и замчен на семи замках, да знаешь, что под ними заперто. Камень. Кремень. Гранит. И никакой пустой породы в его рудоносном нутре нет. И муж он тоже не из мягкого мрамора, а из самых твердых пород, каких, может, и нет в наших горах. Разве алмазы только... А я хочу своей наследнице мужа мягкого, высокой любви и нерушимой верности.

— Так я и буду им, — чуть ли не умоляюще вымолвил Клавдий.

— Верю, Клавдий. Верю, но проверю. Поэтому половину всего, чем я владею и еще буду владеть, вручаю тебе после третьего ребенка. Малец ли он или девчущечка-внучечка, но после третьего.

Сидящие молча переглянулись. Обменялись разговорами глаз. И, кажется, поняли

смысл сказанного Молоховым.

— Воля твоя, Василий Митрофанович. По мне хоть после четвертого.

— А по тебе, Клавдий, как?

— Как папан, так и его енфан.

— Не по-русски, но вразумительно. Значит, первая половина может считаться договоренной.

— О чем разговор, Василий Митрофанович!

— Если не о чем, Лука, — назвал его Молохов уже по-свойски, — тогда руки на крест.

— На какой крест?

— На этот. На медный. На дедовский.

Молохов еще шире расстегнул ворот, снял на золотой тонкой цепочке нательный крест, положил его на стол, затем положил на него свою руку и сказал, как колдун:

— Пущай сказанное будет нерушимо, негоримо, непотопляемо... Кладите руки. Правые!

На крест было положено шесть рук, и последняя из них розовая, с тонкими, ровными пальцами, с миндальными ноготками Агашина рука.

— Теперь о второй половине приданого. Оно переходит на сороковой день моего преставления перед престолом всевышнего в девяти долях и в одной доле на дожитие благоверной...

— Да что ты, Васенька, разве я без тебя...

— Не спорь, жены живучее мужовой, меньше пьют... Так по рукам?

— По рукам! — крикнул Лука Фомич. И спросил Молохова: — Будем иконами благословлять?

— Будем и иконами.

Не успели пяти перечесть, как Агния и Клавдий стояли на коленях, а два отца и две матери по очереди благословляли и наставляли их.

— Хотя малость и опоздали мы с благословением, ну, да что поделаешь. Не все ли равно, масло в кашу класть или кашу в масло? Смесь та же будет, — пошутил Молохов.

Теперь уже все. Теперь уже, кажется, Акинфиным нечего бояться подвохов, которые они ждали от Молохова. Все, что надо, выговорил. Оберег себя, как мог.

Нет, не все еще кончено. Зря облегчают свою душу Акинфины. Впереди свадьба. О ней-то и спросила Калерия:

— А когда будем гулять, Василий Митрофанович?

— Сегодня, — ответил он. — Сейчас и гульнем, справим свадебку меж собой.

— Без венца? Без таинства бракосочетания? — удивленно спросил Лука Фомич.

А Молохов еще удивленнее:

— Да вы что, господа Акинфины? Неужели вам тоже неведомо, что Агния и Клавдий повенчаны? Зачем же вы незнайками прикидываетесь, господа хорошие?

Лука Фомич едва устоял. Калерия завопила:

— Когда? Где?

— Неужели же, — удивился Молохов, — это не вы им самокрутку подстроили?

— Батенька наш, Василий Митрофанович, — защищалась Калерия, — зачем же чего не надо выдумывать...

— Какие же это выдумки, когда мне причетник самолично привез венчальную выпись, которую Агнюшка с Клавкой на радостях забыли взять в церковной

канцелярии... Вот она, выпись. Форменная. С церковной печатью... Вот!

Волнуясь, Молохов вытащил из-за икон выпись.

Жених хотел что-то сказать, но глаза встретились с глазами Молохова, и все слова застряли несказанными в горле Клавдия.

— Больше не будем об этом. Тяжко и мне, и тебе, должно быть, тяжело такое своеволие. Забудем о нем. Я усыпил зверя в себе и требую, чтобы никто не полусловом не смел его будить. — Молохов покосился на знаменитую шомполку, почему-то оказавшуюся в этом гостевом зале, и потребовал накрывать стол.

— Коли такое дело, так пусть будет оно таким, — примирительно согласился Лука Фомич. — Значит, большую свадьбу нам не играть...

— Поздно ее играть, Лука. Поздно. Только людей смешить да врагов тешить ранними родами. А ты запиши себе число и месяц ихнего венчания. А я бумагу запру в несгораемый шкаф, чтобы не вздумал муж отпереться, что он не женат. А теперь шампанского... А после него бери, Лука, сношку в свой дом. Береги и люби ее. Она стоит того...

ЦИКЛ ПЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О тайном венчании Клавдия Акинфина и Агнии Молоховой на второй-третий день узнали все. И все удивлялись, как мог Молохов простить такое дочери и зятю.

Простой народ, услышав об этом, тут же забыл. А те, кто относились к непростым, живо обсуждали случившееся, строя догадки, как скажется породнение Акинфиных и Молоховых на их заводах.

Оглушенный примирением Молохова, Шульжин решил перейти к Потакову. Там он сумеет быть очень полезным и, получая меньше, вознаградит себя мстью всем своим обидчикам. Когда все определилось, Шульжин объявил о своем уходе.

— Не торопись, ваше превосходительство, — сказал Молохов. — Потакова Платон к своему тарантасу пристегнет. Каково тогда будет тебе? Лучше Кэт свою прикэть. Есть один. Лет ему немало, зато тысяч порядочно... Худой-то мир лучше доброй ссоры, равно как и старый законный муж надежнее безусого двоехвостика.

Шульжин понял больше, чем желал. А те, кто не понял, принялись наносить поздравительные визиты Акинфиным. Перечислять, называть всех побывавших нет надобности. Большое перечисление имен затенило бы интересные для нас имена. Потакова, например. Его интересовал не Клавдий, а Платон.

— Теперь, Платон Лукич, мне, вероятно, придется искать поставщика железа. Вам, надо полагать, потребуется все, что производит Василий Митрофанович, да еще не достанет производимого им.

— Если не достанет, Антип Сократович, у меня есть где прикупить. Мне пока не так много нужно сырья на мои мелкие поделки. Берите уж вы. Вам, доброму, снисходительному фабриканту, подойдут и молоховские сорта.

— Чем они плохи, Платон Лукич?

— Тем же, Антип Сократович, что и ваши изделия.

Потаков скрыл обиду:

— Плохое можно улучшить, Платон Лукич...

- Имея что улучшать, Антип Сократович, нужно научиться улучшать.
- Пытаюсь, Платон Лукич, пытаюсь...
- Попытка еще не действие, а намерение. Пока вы пытаетесь и намереваетесь, другие в это время действуют, и действуют не в вашу пользу.
- Вы?
- Я, кажется, уж нет. Нам не имеет смысла производить то, что успешнее и дешевле могло бы делаться у вас и что мы рады бы переуступить вам, Антип Сократович.
- Мне? На каких условиях? Уж не на акционерных ли?
- Платон посмотрел в глаза Потакову.
- Вас кто-то очень хорошо осведомляет относительно наших желаний?
- У Потакова забегали глаза.
- Слухами земля полнится. Извините, Платон Лукич, скажите: захотели ли бы вы из хозяина превратиться в пайщика?
- А я и есть пайщик фирмы отца. Мне платится жалованье, а доход идет в основной капитал. Я же предлагаю вам не кабалу, а прибыли. Ваш завод будет производить такое, что у вас не будет нужды в поисках покупателей. Вы же ищите их...
- Вас тоже кто-то хорошо осведомляет...
- Да. Телефон. Проведите его и вы. — Платон снял трубку. Позвонил и попросил доставить ему образцы литой посуды.
- Мне хотелось увидеть ее. Вы очень предупредительны, Платон Лукич.
- Я вам подарю принесенное, а вы попытайтесь отлить такое же. Уплаты за подражание фирма не возьмет.
- Я никогда не подражаю.
- Подражаете, Антип Сократович. А подражание никогда не становится лучше того, чему подражают. Мистер Фолстер учил меня: не повторяй увиденного, а совершенствуй его, тогда никто не назовет тебя присвоившим чужое.
- Литейщик-чех Карел Младек принес набор сковород, чугунов, жаровен.
- Паровые утюги тоже захватили на всякий случай, — сказал литейщик. — Уходить или рассказывать?
- Рассказывайте, а я пройду в цех.
- Потаков нескрывая залюбовался отличным литьем. Без следов стыков форм, без малейших раковин и даже шероховатостей.
- Это есть, господин Потаков, литье по моему способу, — начал с легким акцентом Младек. — У меня на родине тоже еще не научились отливать такие гладкие, с тонкими стенками, очень крепкие посудные утвари.
- Мастер, стараясь говорить короче и понятнее, показывал сковороды, на которых еле заметно, но четко красовался маленький фабричный знак — весы.
- А это есть угольный утюг внутреннего горения, господин Потаков. Он в два раза легче вашего и нагревается скорее около двух раз. При таком весе мы делаем вдвое больше отливок, и поэтому можем их дешевле продавать и больше получать капиталов.
- Отлично, господин литейщик, отлично... А как это делается?
- Фирма может показать...
- Фирма, а не вы?
- Нет, почему... Показывать буду я, а посылать меня будет фирма.

— Вам много платят здесь?

— Больше, чем дома. И я еще имею здесь пять копеек за пуд. За пуд утюгов — семь копеек. На утюгах узоры и поддувальные дырочки. Это труднее лить.

— Интересно, очень интересно...

— Да, очень. Ваш пусковой техник Миронов тоже сказал, что это очень интересно, и хотел узнать, что мы добавляем в сплав...

— Зачем же это ему знать?

— Он любит много знать. Вы потеряли очень хорошего знатока. Он высоко подымется, если так же будет любить работу и много узнавать. Работа хочет, чтобы рабочий много знал. Я читаю и учусь. Я тоже хочу много знать.

Вернулся Платон. Карел Младак раскланялся и ушел.

— Убедило ли это литье вас, Антип Сократович?

— Как инженера — да, Платон Лукич, но как владельца — нет.

— Сожалею, Антип Сократович. И прошу вас, пожалуйста, не позабудьте, что я протягивал руку и хотел перекинуть акционерный мост от вас к нам.

— Я предпочитаю не ездить по такого рода мостам, Платон Лукич.

— Страшитесь высоты?

— Напротив, низины. Боюсь оказаться под мостом.

— Подаренные изделия вам доставят, Антип Сократович. Повторяйте, лейте и богатеите. Я не сержусь на то, что вы даже не пожелали узнать об условиях соединения. Не сердитесь и вы, Антип Сократович, если обстоятельства и жизнь заставят нашу фирму снова удешевить это добро, — Платон указал глазами на сковороды, чугуны и утюги, лежащие на полу. — Подумайте!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Замки-болты с цифровыми дисками получили скорые отклики. Пришли первые телеграммы, в которых просилось назвать номера для открывания замков. И почти во всех изъявлялось желание приобрести замки и называлось количество в сотнях и тысячах штук заказов по опробовании рекламных образцов. Появились первые представители оптовиков. Один из них предлагал монополию на продажу. Это было очень выгодно. Но в рекламном отношении оказывалось неразумным. Замки в этом случае получили бы узкое распространение в какой-то одной сфере торговли и на одной территории.

Замки не могли дать по их спросу. Родион нервничал, сердился на нерасторопность. Платон радовался ограничению заказов. Оно вызывало ажиотаж. Оплаченные заказы перепродавались по значительно повышенной цене. Это дало основание повысить цену.

— Ты в чем-то изменяешь себе, Тонни, — сказал Скуратов. — Ты же утверждал удешевление?

— Смотря по покупателю. Кто будет покупать эти амбарные и магазинные замки? Твой отец, что ли? Или наши рабочие? Лавочники будут брать их! «Надувалы-аршинники». С кого же взять, как не с них? С кем же уравнивать наши торгашеские взаимности, как не с ними, и не такими способами?

— А репутация фирмы, Тонни? Наше реноме? Мы же выходим на большой рынок, Тонни! Есть заграничные заказы... В Данию и Францию!

— Тем более. Они с нас дерут, а мы что? Что же, мы должны играть в Алешу

Карамазова или в Филарета Милостивого?

— Но как объяснить? Как аргументировать, Тоник, повышение цены?

— Придумаем. Новая марка стали. Еще один диск! Запасные диски.

— Зачем?

— Как зачем? Не нравится фабричный шифр номеров дисков — ставь свой! Откусывай нужный зубец на каждом диске, и только ты будешь знать тайну номеров открывания своего замка!

— Ты гений, Платон!

— Об этом я знал задолго до моего рождения. А ты, Родик, осел.

— В этом я убедился только минуту тому назад! Драть с них! Драть! А как и где об этом объявить?

— Через неделю выходит первый номер газеты «Шалая-Шальва». Штильмейстер напишет, Сверчков нарисует замки «ин корпора» и в разрезе...

Заказы были приторможены, а затем приостановлены. Инженер-англичанин с русской фамилией Левитин занялся способом «удорожающего удешевления» замка. Платон занялся Гранилиным. Он приехал поздравить на две недели позднее других Клавдия и Агнию, а заодно сообщить, что вчера сгорел дом Кузьмы Завалишина по «божьей милости».

— Очень странно, Кузьма Тарасович, что дом сгорел по «божьей милости» от грозы, а вчера грозы не было.

— У вас не было, Платон Лукич, а у нас была. Короткая боковая... Тр-рах и — пых! Как порох... Сушь же, сушь... И попасть в дом нельзя. Заколотил же его беглец...

Гранилин подробно рассказывал о причинах пожара и как-то очень старательно доказывал, что дом сгорел от молнии, вкатившейся «вот таким шаром».

— Вы видели?

— Я?.. Я — нет, народ видел. Люди видели...

— Ну хорошо, Кузьма Тарасович, видели так видели. Больше будет свидетелей на суде, и Завалишину никого не придется подозревать в поджоге. Никого, как я думаю, кроме бога.

— Сущая правда. А с бога какой же спрос, когда он сам спрашивает.

— Он и спросит. А теперь, Кузьма Тарасович, позвольте спросить лично вас. Не через посредников. Надумали ли вы погореть по милости господина рынка и госпожи цены или вы захотите сдать ваш завод в длительную аренду с правом получения половины чистой прибыли? Вам не будет никаких хлопот, кроме потери времени на получение прибылей. А через положенный срок, если вы захотите, получите обратно ваши мастерские современным заводом, со всем, что в нем будет преобразено и вновь построено. Подумайте прежде, чем отвечать, Кузьма Тарасович. Подумайте! Завтра я этого не предложу. Не скрою: расположение ваших мастерских для фирмы выгодно близостью к Шальве и тем, что не нужно строить жилищ рабочим.

Гранилин вспылал:

— Ни в жисть!

— Ни в жисть так ни в жисть! А теперь советую вам не сообщать лично Завалишину о пожаре дома. Он горяч. И не очень изошрен в мышлении. И первое, что ему придет в голову...

— Пусть приходит. И даже лучше. Пусть знает, что его бог наказал за меня.

— Вы нетрезвы, Кузьма Тарасович. И он в субботу позволяет себе некоторые

излишества. А мне не хочется, чтобы в Шальве кому-то испортили черепную коробку... До свидания... Вон и Клавдий. Идите поздравьте его...

При этих словах за окном дворца послышался голос:

— Пропустите меня! Я зарублю поджигателя отцовского дома! Мне везде есть вход! Пустите... я Завалишин!

Завалишина связали кучера. Гранилин через калитку парка убежал лесом, не успев поздравить Клавдия и Агнию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молодая чета Акинфиных разместились в левом крыле дворца. Комнаты заново меблировались под наблюдением Жюли.

Лия близко сошлась с Агнией. Не одно приближающееся материнство обеих молодых женщин сблизило их, но и общность взглядов.

Агния, воспитанная в частном Московском пансионе, кажется, оставила там и то небольшое, что она унаследовала от родителей. Только материнские черты лица и ее же добродушие изобличали в ней Молохову. Она, как и Цецилия, принадлежала к тому роду бессребрениц, которые пренебрегали деньгами, зная, что они есть. А как, откуда и почему они есть, до этого они не позволяли себе снисходить.

Василий Митрофанович внес на первый случай в овчаровскую Кассу пятьдесят тысяч рублей и сказал:

— Это тебе, Клавик... Агашин пай до нового года. В счет наследственных прибылей. Трать их по усмотрению или без него — твое дело.

Молохов вручил чековую книжку Кассы. Зять поцеловал руку тестя.

Жилось Клавдию скучновато. Любка, что взбивала теперь вдвое больше подушек, не могла уже скрасить жизнь. Начала жухнуть и толстеть. Отцвела! Меркла для него и Агния. С ее приездом Клавдий лишился привычных жгучих увлечений. А иных занятий не было. Поэтому Клавдий решил заняться заводскими делами.

Побывав в цехах, поговорив с Родионом, он узнал, что металл главный материал, и записал в маленькую карманную книжечку: «Металл — это главный материал наших заводов». Записал и другие слова. Название инструментов, станков, специальностей рабочих. Надо же знать. Он же на вывеске. А вдруг что-нибудь случится с Платоном... Его уже чуть не прихлопнуло прогнувшимся потолком. И если бы это случилось, то Клавдию пришлось бы на вывеске остаться одному. Поэтому во имя продолжения рода нужно кое-что знать о заводах.

За эти скучные дни ему стало известно, что за железо его второму папан приходится платить дороже только потому, что домны близко и железо дешево доставлять, но это железо хуже демидовского. И он решил поговорить с Молоховым. Решил, зная пословицу «Услужливый дурак опаснее врага», но не допуская, что она может относиться и к нему.

Василий Митрофанович, стиснув челюсти, выслушал Клавдия и сказал:

— Хорошо, зятек, я прикину, и что могу, то и сделаю. Иди. Тещенька тебя тенарифчиком попотчует. Заказные бутылочки у нее еще, пожалуй, не заплесневели...

Предположив, что Платон подослал брата, обронившего где-то между слов об его мечте «акционировать» соседние заводы, Молохов пригласил в свой именинный день Акинфиных, встретился с Платоном и сказал ему:

— Тонька! Я тебя недельным знавал. Ты вырос и вознесся на моих глазах. Ты и

мое каким-то боком суженое дитя. И если тебе надо было заполучить меня в свою «англию», так через французей не дипломатничай. Это раз. А ежели же тебе мои плавки кажутся шлаковыми, так ты их не пользуй. С нового года тебе уже не снадобится возить мои дорогие чушки гужом, вози железкой дешевые тагильские. И на этом, как бог свят, аминь...

— Отец, — на другой день спросил Луку Фомича Платон, — когда уедет из Шальвы Клавдий?

— Аль, Платик, тебе с ним тесно в тридцати четырех палатах, не считая прихожую?

— Мне тесно будет с ним и на земном шаре. Молохов нам отказал в железе.

Лука Фомич, не протрезвившись со вчерашнего, снова охмелел.

— Да не горюй ты, не горюй ты, Платон, — спустя два часа успокаивал его Скуратов. — Хорошее дорогое дешевле плохого дешевого. Вспомни, что говорил Макфильд. Марганец восходит на небосклоне металлургии! Златоустовский булат затмевает хваленые привозные стали! Каслинский чугуун так тонок, что из него можно отлить и муху...

— А провоз?

Провоз всегда мешал развитию уральской промышленности. Он и теперь оставался добавочной тяжелой гирей, удорожавшей добываемое в недрах и производимое на заводах. Походя рассказанная байка возчиком Иваном Балакиревым о дешевом сене и его дорогих перевозках, повторяя известную поговорку о телушке и полушке, звучала не только применительно к Шальвинским заводам, но ко всем остальным. И лишь те промышленные предприятия, которые счастливо соединились с железной дорогой, освобождались от «гужевых тягот», да и то не полностью.

«Железка скоро, да не спора», «Вагон ходко везет, да шкуру дерет», «Конная пара не чета силе пара и по деньгам неровня». Много прибауток сочинялось досужими языками таких, как Молохов, Потаков, Лука Акинфин, Гранилин, и всеми, чьи надежды обманула поманившая их железная дорога.

Погорачившийся Василий Молохов понял, что он пересамодурничал, отказав в поставках Платону, но он еще не понял, что вхождение в компанию омолодило бы его железозелание и медеплавление. Молохов, как и Потаков, как и беспросветно темный, беспробудно пьяный Гранилин, держась за свою независимость, тем более не могли понять, что все они взаимозависимы один от другого и подчинены произволу рынка. Что их спасение только в соединении заводов, в укрупнении фирм.

Платон, Родион и отчасти Лука понимали это, но не могли воздействовать ни на одного из окружающих их заводчиков силой убеждения, увещевания, доказательств. Такое упорство проявили не только названные, но и те, что не появились на страницах нашего повествования.

Платон, разуверившись в способе своего риторического воздействия, вынужден был наказывать не внявших добрым намерениям жестокими, ими же порождаемыми из их же разобщенности последствиями. Наказывать своим техническим превосходством и его неизбежной и узаконенной победой, а то и разгромом на рынке. И те, кто могли бы стать сообщниками, оказались врагами.

— Мы не можем, Родион, конкурировать с ними, — говорил Платон, — даже сверхотличными изделиями, потому что не можем произвести хорошее в количестве, превышающем плохое. Поэтому будет действовать старое правило. Когда не хватает в продаже зерна, люди вынуждены покупать и мякину. Что из того, если наше литье,

наши поковки берут нарасхват? Их расхватывают, прославят и будут покрывать недостающую потребность потаковской стряпней и даже гранилинской замочно-скобяной мякиной. Наш товарный рынок ненасытен, а производство товарной пищи для него скудно и дороговато...

Понимая Платона, Скуратов также хотел не вражды, а единения. Не вдаваясь в то, кто будет называться хозяевами, Родион понимал, что все улучшения, благополучия, накопления будут принадлежать стране, ее народу. В этом и состояло, на этом и держалось его сотрудничество с Платоном.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Родиону так же, как и Платону, хотелось производить не крестики для епархий, не замки для купцов и мещан, не косы, серпы и топоры. Не гвозди, болты и шурупы. А главное, чему обязано процветание всего остального, чем возвеличили себя Англия, Франция, Германия. Это главное называлось коротким словом — машины. Всякие машины. Обрабатывающие металл. Превращающие волокно в ткань. Обрабатывающие землю и снимающие урожай. Тянущие поезда и баржи. Добывающие клады из недр. Машины, делающие машины, станки, создающие станки. И это последнее — самое главное, и его можно осуществить, во-первых, здесь в краю, где в избытке все необходимое для производства машин, а не добиблейских конных приводов, не изнуряющих руки веялок и молотилок.

Расширяя свои владения и внедряя идеи взаимного равновесия, можно на началах акционерного соединения или кооперативного содружества вовлечь под эгиду «А» десятки хиреющих заводов огромной Пермской губернии, можно перешагнуть и в Вятскую губернию и поставить в необходимость того же парходчика Любимова присоединить свой судостроительный завод к «весам» с буквой «А». Мало ли казенных и частных заводов по берегам Камы, чающих сводить концы с концами и приносящих убытки. Их можно арендовать, а потом и купить, но...

Но для этого нужны деньги. Деньги, деньги!.. Поэтому нужно производить крестики, гвоздики, иголки, булавки, штампованные ложки, пряжки, брошки и все, что штамп во сто раз делает скорее рук, превращая сталь в золото. Так же можно поступить и с тонким каслинским чугуном и каждый его пуд превратить в полпуда серебра или в фунт золота. Зачем лить тяжелых чертей, громоздких коней и заделистых в формовке рыцарей, когда можно покупателей европейских столиц удивлять чугунными колечками, запястьями, ажурным металлическим черным кружевом, изящными табакерками, не прибегая к одноразовым формам, и найти не сыпучий, а монолитный материал, заменяющий формовочные земли?

— Да, Родион, мы вынуждены производить из хороших металлов прибыльных мух для того, чтобы овладеть слонами. Этого нельзя было объявлять на техническом совете и раскрывать свои замыслы всем. На техническом совете следовало по секрету сообщать только то, что нуждалось в широкой гласности.

Всякое дело тем успешнее, чем лучше знает его и владеет им мастер. Это знали Платон и Родион помимо Макфильда. Этому учили их отцы — Лука и Максим.

От пивовара зависит пиво, его вкус, цвет, спрос и цена. А следовательно, и доход владельца пивоваренного завода. Истина подтвердилась чехом-литейщиком Младеком. Подтвердилась она и Завалишиным. Оба они «варили пиво», превосходя других.

Кузьма Завалишин и литейщик-чех получили и получают неслыханно много для их ранга. Но прибылей фирме они принесли столько, что и одаренный Флегонт Потоскуев не вычислит, во сколько рублей превратится каждая копейка, получаемая Завалишиным и чехом-литейщиком.

— Платон, если штамп главное в современной промышленности, то мастер-лекальщик, гравер, изготавливающий штампы, важнее, чем все остальные.

С этим невозможно было не согласиться.

— Такие мастера есть, Родион, но они работают на Монетном дворе. Их не переманишь, да и дадут ли переманить?

— Такой, а может быть, и лучший мастер есть, Тонни... то есть был.

— Где же?

— В Перми. Иван Лазаревич Уланов.

— Чем же он прославился?

— Многим... И особенно часовым брелоком, поднесенным губернатору в день его пятидесятилетия. Гравер уместил на лицевой стороне брелока величиной с почтовую марку пятьдесят слов. И в поздравлении губернатору заказавшие граверу брелок пожелали жить его превосходительству столько же лет, сколько букв в поздравлении. А букв было триста! Триста букв на прямоугольничке величиной с почтовую марку.

— Так нужно, Родик, немедленно найти и нанять его за любые деньги.

Скуратов, горько улыбнувшись, ответил:

— Найти его нетрудно, а нанять нельзя. И если бы хотя бы какая-то была возможность пригласить его и предоставить ему королевское содержание, он бы уже работал у нас...

— Что же с ним, Родион, где же он?

— В тюрьме... В тюрьме, как и большинство талантливых людей. Он заточен в пермскую тюрьму. Ему угрожает каторга!

— Каторга? Он террорист?

— Хуже. Он посягнул на святая святых империи. Его обвинили в фальшивомонетничестве и уличили в этом.

Здесь нужно сделать оговорку. Скуратов, надеясь на спасение обвиненного в фальшивомонетничестве, рассказал о нем Строганову. Вениамин Викторович, потрясенный необыкновенной историей, приключившейся с гравером, написал рассказ «Пятачок погубил» и опубликовал его в одном из первых номеров газеты «Шалая-Шальва». Рассказ имел такой успех, что владелец писчебумажного магазина в Перми попросил допечатать пять тысяч номеров газеты. Этим сделав известной газету и счастливым ее издателя и автора рассказа.

Более полно история гравера сохранилась в шальвинских описаниях Строганова, которым в значительной мере обязаны своим появлением эти главы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Довыяснять и уточнять дело фальшивомонетчика Ивана Лазаревича поехал в Пермь наместник Фемиды, знаток юстиции и чародей слова, управляющий делами фирмы Георгий Генрихович Штильмейстер. Он и без прикрас выглядел профессором, магистром, вельможей и кем-то еще в ранге того высокого слоя, представители которого обращают на себя внимание и заставляют любоваться собою, начиная с их

носового платка.

Очень хорошо найденная бородка роднила Штильмейстера с великим князем Н. Н. Романовым. Большие глаза, как у композитора Мусоргского. Высокий гладкий лоб говорил о блистательном уме, рост и все сложение Штильмейстера могло бы украсить и миллионершу средних лет.

Приехавший сразу же отыскал на Торговой улице мастерскую и хозяина, у которого работал гравер Уланов. Первые выяснения и первые записи полностью подтвердили трогательный воскресный рассказ Вениамина Строганова «Пятачок погубил», в котором во избежание «всяких и прочих» Уланов назывался Усановым. Сто экземпляров этого номера газеты Георгий Генрихович раздаст в зале суда и раскроет настоящую фамилию героя рассказа «Пятачок погубил».

Штильмейстер, разыскав убитую горем жену Уланова, выяснил некоторые обнадеживающие подробности. Сказав ей, что выступит защитником Ивана Лазаревича Уланова на суде, он попросил рассказать все подробно и откровенно. И она показала ему утаенную от обыскивающих ее квартиру монету. И предложила посмотреть на нее через увеличительное стекло и прочесть два слова, вписанные в герб на обратной стороне монеты так мелко, что их невозможно было прочесть невооруженным глазом.

— Это спасет его! Как он предусмотрителен! — радовался Штильмейстер.

Теперь оставалось добиться разрешения встречи с Улановым в тюрьме и побывать у губернатора. К губернатору оказалось попасть легче, нежели в камеру тюрьмы.

Губернаторская дверь открылась ключом в розовом конверте, если так будет позволено назвать письмо Цецилии Лучининой-Акинфиной, для которой губернатор был папочкиным «сопитейником», «сокартежником», «сопроказником», но называла же она его куда ласковее: «Босая головка».

Эта самая «Босая головка», восседавшая в главном доме губернии на Сибирской улице, приняла Штильмейстера наидемократичнейше. Губернатор покинул свое губернаторское кресло, имевшее быть перед письменным столом и под портретом государя-императора, пригласил Георгия Генриховича на губернаторский диван, присев рядом с ним.

Как оказалось, рассказ он уже читал и ему доложили, о ком рассказывает милейший Венечка-Веничек, господин Строганов.

— Все это написано превосходным слогом, очень сентиментально и очаровательно и заслуживает восхищения, и при всем при этом, господин Штильмейстер, — переврал губернатор фамилию своего просителя, — он вычеканил поддельную монету, следовательно, он фальшивомонетчик. А коли так, то каторга. Только каторга.

— Но, ваше превосходительство, он же сделал это на пари! На пари, ваше превосходительство...

— Да-а, господин Шипмейстер, — снова переврал губернатор фамилию, — это смягчает и облегчает вид каторги, степень каторжных работ, но не само наказание. Я поговорю с прокурором, он лучше меня знает тонкости статей законов. Мне очень хочется оказать мое покровительство господину Акинфину. Я высоко ценю изготовленный им замок с цифрами... Вся губернская управа открывала эту головоломную... арифметику...

— Кстати, простите, я позволю перебить вас. Цецилия Львовна и ее благоверный

просили вручить вам новый замок. Не с арифметикой, а с грамматикой. На его дисках вместо цифр буквы. И если вы, ваше превосходительство, из букв составите имя супруги вашего превосходительства, замок послушно откроется, да еще проиграет пять аккордов из «Славься, славься...».

Губернатор заметно развеселился и тут же открыл замок, и он проиграл объявленные аккорды.

— Это чудо! Только почему он не бел, а желт, как медь?

— Такова прихоть Цецилии Львовны. Металл в самом деле похож на медь, лишь с той разницей, что у него другая проба...

— Так это же фунт другой пробы...

— Не могу знать-с, ваше превосходительство!

— Нечего сказать, презент... Как я могу его принять?

— Клерк, ваше превосходительство, не должен знать и тем более советовать тем, чью волю он исполняет...

Губернатор уложил замок в резной футляр, высланный золотистым атласом, и спросил:

— На кой черт этот фальшивомонетчик Акинфиным?

— Чтобы делать, ваше превосходительство, штампы и формы для изделий из простых металлов, которые будут цениться дороже, нежели этот замок из этого притворившегося медью металла... Рукам Уланова, ваше превосходительство, нет цены. Их кощунственно назвать даже золотыми. Об этом вы можете судить по своему юбилейному брелочку, преподнесенному вам подчиненными и выгравированному Иваном Лазаревичем Улановым...

— Однако ваш язык, господин Штильмейстер, — произнес он правильно его фамилию, — так же кощунственно назвать золотым... И я начинаю думать, что присяжные найдут исключение. А что касается меня, то пусть мне распрекрасная Цецилия пришлет еще сто таких замков, я не сумею усомниться в букве закона. Ни на волосок. Пусть это сделают другие...

— Благодарю вас, ваше превосходительство, за честь приема и прошу оказать еще одну честь — разрешите мне переснять фотографическим способом ваш брелок, увеличить его отпечаток и этим показать суду, как высоко мастерство Уланова.

— С величайшим. — Губернатор отцепил брелок. — Вернете через моего чиновника...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После исполнения всех процедурных формальностей арестованного подсудимого мещанина города Екатеринбурга Уланова Ивана Лазаревича, тридцати двух лет от роду, попросили рассказать суду, как возникло и что заставило его чеканить фальшивые монеты.

Штильмейстер, видевшийся с Улановым в тюрьме, нашел его посвежевшим. В его глазах уже не было отчаяния затравленного, обреченного на позор изгнанника. Там он выглядел уже отбывающим каторгу, здесь он представал безвинно наказанным и всем своим существом чувствующим свою правоту.

Уланов поверил своему защитнику. Это значило много. Защитника вдохновлял обвиняемый своим видом открытого, честного человека. Это значило еще больше.

Уланов начал рассказывать суду так, как будто пред ним были не решающие его

судьбу должностные лица, а свой брат по ремеслу.

— Я, — начал он, — считал себя лучшим гравером в губернии. И это правда. Никто не мог на картошине скорее и красивее меня вырезать печать, или какую-то эмблему, или просто цветок, а потом тиснуть его на лист бумаги. Все ахали да охали, превозносили меня до седьмого неба. Мне это нравилось. А кому не нравится, когда его хвалят и называют первым мастером? Но не все любят красоту, некоторые завидуют ей. Нашлись такие и у меня и подсидели, как дурака. В пивной это было подле Черного рынка, на нашей же Торговой улице.

«Можешь ли ты, Иван, — подзудили меня дружки, — вычеканить пятак?»

А я им говорю:

«Какая такая хитрость пятак? Орла только канительно выгравировать, а решку можно, закрывши глаза...»

В зале послышался шумок оживления. Звонок призвал к тишине.

Уланов, не обращая внимания ни на звонок, ни на публику, рассказывал свое:

— «Не сможешь, Ванька, не сможешь, — начал подсиживать меня Витька Пустовалов, тоже гравер из первых, но второй. — Давай на спор!».

Тут другой гравер встрял. Не из первых, но с художественным штихельком. Тоже Витька. Тоже почти Пустовалов. Кособродов его фамилия.

«Двадцать пять рублей закладываю...»

«И я двадцать пять», — разъяряет меня Пустовалов.

А мне деньги эти как овсяное зернышко коню. Мне по четвертному билету плачивали за монограммки на яшмовых купеческих печатях. И по сто плачивали за экслибрисы на пальмовом дереве. Я в трехкопеечном кружке картины целые вгравировывал... Зачем мне ихние полста, господа? Зачем? Когда у меня в казначействе чистоганом двести сорок рублей лежит на свое художественное граверное заведение. У хозяина это что? Факсимильки завитковые, подносительные надписешки да иной редкий раз тонкий вензель... А пиво, господа, не зря двойным столовым прозывается. Задвоило у меня в глазах. И не столько деньги, сколько мастеровая честь, и я слово дал выиграть... Руки розняли. Я уже докладывал господину следователю, его благородию, кто руки разымал. Ну, а потом за пятак взялся... Думал, что недели с три понадобится, а я этот пятак за десять дней вычеканил. Вычеканил и принес спорщикам два пятака — один мой, другой Монетным двором чеканенный. «Угадайте», — говорю.

А они туды...

Послышался звонок. Уланов махнул на него рукой и повторил начатую фразу:

— А они туды-сюды — и говорят:

«Оба пятака не фальшивые, на Монетном дворе чеканенные... В другом месте, Ванька, дураков ищи».

Тогда я им доказательство. Увеличительное стекло. И показал через него мое имя, Иван, и мое отчество, вчеканенное в гербе. А они опять подлым ходом:

«Эка невидаль... В любой монете, даже в маленьком пятирублевике, свою фамилию вгравировать можно. Пусть казначейство проверит, что твой пятак самодельный, тогда получай по четвертному с обоих».

И я, господа прокуроры, господа судьи, господа ваши благородия и ваши степенства присяжные, дурак дураком, дуб дубом, в трезвом виде, охмеленный любовью к творению своих рук, сам полез в петлю, сам принес вместе с обоими витками свой пятак в казначейство, и там удостоверили, что он фальшивый... Тоже

промеж себя спорили. Взвешивали, пробовали на кислоту, а потом кусачками в виде ножниц надрезали, вернули его мне и сказали при обоих Витьках:

«Фальшивый!»

И я получил... Получил только не пятьдесят рублей от моих дружков, а пять... И не рублей, а гривен. Тут я их бросил им в лицо и плюнул в их бестыжие хари полными харчками.

«Больше вы мне никто... Знать не знаю вас и помнить не хочу...»

А потом... Через неделю, а может быть, и через шесть дней... Обыск. Арест. Я все отдал, и штамп, и еще два пятака... Четвертый куда-то делся, — может, полицейские куда закатали. И тюрьма. Я фальшивомонетчик... В чем и признаюсь... Только какой?.. Искусственный. Искусство мне мое было дорого. Дорого мне было, что я все могу... Господа прокуроры, и все вы, ваши благородия, если вы можете допустить, что мне были нужны двадцать копеек по четыре пятака, так судите меня. А если нет, так снимите с меня этот позорный арестантский армяк и присудите мне с Виктора Пустовалова и с другого Кособродова сорок девять рублей пятьдесят копеек по свидетельским доказательствам. Не деньги мне нужны, а справедливость суда. И еще требую им высидку за подсиживание...

Он рухнул на скамью подсудимых. Его отпаивали, дали какие-то капли, а зал не умолкал и требовал оправдать. Требовал так громко, что не было слышно и пронзительного колокольчика.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Судебное заседание было перенесено на следующий день, затем еще на два дня и наконец на следующую неделю. У здания суда с утра собирались толпы. Номера «Шалой-Шальвы» продавались по цене «кто сколько даст, сколько возьмет». Предприимчивые фотографы сумели переснять домашний портрет Уланова. Они торговали его фотографиями. Переснятый и увеличенный брелок губернатора также стал предметом продажи. На снимке был маленький брелочек в натуральную величину и тут же его увеличение, по которому легко читалось выгравированное.

Всех волновало, почему откладывается дело и какой будет приговор. Мелкие судейские чиновники коротко объясняли, что идет следствие. Всезнающий Штильмейстер так же терялся в догадках. В Шальве у него ворох дел, но Платон Лукич явился сам в Пермь и сказал:

— Уланов нам дороже всех ваших дел, Георгий Генрихович.

— Я предчувствую, Платон Лукич, что замок откроется хорошо. И предполагаю, что приговор суда проветривается где-то очень высоко...

— Не будем гадать. Если приговор будет плохим, я подам на высочайшее. Уланов — это новый завод...

Слушание наконец не перенеслось и началось. Свидетели подтвердили быстро и точно. Но все это было проформой, как и речь прокурора. Он говорил главным образом «с одной стороны» и «с другой стороны»... А что с обеих сторон — сказал защищающий подсудимого Штильмейстер, а за ним суд.

— Господа присяжные, — начал Штильмейстер, — отсутствие преступления так же очевидно, как и отсутствие обвинения. Господин художник Иван Лазаревич Уланов выгравировал с поразительной точностью скульптурный портрет самой крупной медной монеты нашей великой империи и подписал эту скульптуру открыто

своим именем и открыто принес свое произведение в государственное казначейство. Вы сами видите, господа присяжные, по слогу речи господина художника, сколь разнится его талант с его образовательным цензом. Мне больше нечего сказать в защиту подсудимого, защищенного самой правдой. Будучи христианином, я бы просил смилостивиться над подстрекателями, оказавшими плохую услугу своему коллеге, оклеветав его, вдвое смягчить им против уложения наказания и приговорить их не к двум годам, а к одному году тюремного заключения. А теперь, господа присяжные и присутствующие на суде, окажите честь принять как сувенир номер новой газеты «Шалая-Шальва», где опубликован рассказ о гравере Уланове под видоизмененной фамилией. И это фотографическое искусное и точное увеличение юбилейного брелока его превосходительства господина губернатора, просветителя и блюстителя нравственности верноподданных его величества, проживающих в Пермской губернии... Да пребудет с нами вечное взаимное равновесие наказания и преступления, безвинности и очищения от клеветы.

Далее глубокий поклон во все стороны для показа новейшего сюртука, сшитого петербургским портным, высланным в Пермь. Затем продолжительные овации.

Заседание присяжных было единодушным. Нечего было им обсуждать и выяснять и не о чем спорить.

В приговоре, как и в речи, также было несколько раз написано «с одной стороны» и «с другой стороны» и также — «принимая во внимание», а смысл состоял в том, что «прощенный за бескорыстное изготовление четырех монет пятикопеечного достоинства отдается на поруки купцу первой гильдии промышленнику Платону Лукичу Акинфину».

Штильмейстер понял теперь, как могут открываться золотые замки без ключа. Он также понял и почувствовал себя слугой, а не вершителем дел.

За злоумышленное подстрекательство Пустовалов и Кособродов приговаривались к тюремному заключению. Первый — на год и шесть месяцев, второй — на год.

О взыскании сорока девяти рублей и пятидесяти копеек не говорилось, так как они были вручены супруге Уланова. Не говорилось также, где будут отбывать заключение два друга, два гравера, но вскоре выяснилось, что они будут заточены с правом работать в шало-шальвинский полицейский острог.

Всем стало ясно, как наказывается зло и торжествует добродетель. Довольные мудрым приговором суда и зрелищем, побывавшие на нем жители города разошлись, прославляя торжество правды.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Тонни, дорогой мой! Случалось, что с одного выстрела убивали двух зайцев, но трех не убивали и в охотничьем вранье. Все три здесь. С одним я уже подписал контракт на пять лет и показал ему личную мастерскую с двумя сотнями английских штихелей и двумя grosсами надфилей, точнейшими сверлами и со всем тем, что Уланов не видел никогда. Он трясся, рассматривая свой инструментарий.

— Спасибо, Родик! Уланов достоин большего. Он все вернет сторицей. Забота о мастере вдохновляет его, но все же нельзя и чрезмерно пере... Ты понял меня?

— Я с полбуквы понимаю тебя.

— И я... А как с остальными?

— Пристав получил больше, чем нужно. Я обоих Викторов расквартировал в

другом, в инженерском доме. Дал им по комнате. Они говорят, что Уланов их простил, но хотят выпить на мировую и разрешить встретиться с тобой.

— Зови их вечером в шульжинскую кухмистерскую. Единственное, что мы не будем упразднить.

Вечер наступил днем. Короткий день недолго светил. Платон пришел в кухмистерскую к накрытому столу. Там же был и художник Сверчков и Вениамин Строганов. Ведь он тоже сыграл немалую роль в вызволении Уланова.

Ужин, как всегда в таких случаях, начался с разговора «о том о сем». Нащупывали, знакомились. Разговаривали до третьей рюмки, а на пятой рюмке разговорились. Платон пришел подготовившись.

— У фирмы есть конкурс. Три премии. Первая — тысяча. Вторая — семьсот пятьдесят. И пятьсот рублей — третья. Надоело нам на шляпке гвоздя лицезреть никому ни о чем не говорящую насечку сеточкой. Хочется на ней уместить наш фабричный знак. Нашу марку — весы. В конкурсе на штамп марки участвуют два Виктора и один Иван. Очень интересно знать, за кем будет виктория. Срок пять дней.

— Это для нас не дело, хозяин, а полдела, — сказал, смеясь, Пустовалов, — нам бы такое, чем людей удивить...

— Тогда это же самое потом, помимо конкурса. Кто-то пусть сделает марку для булавочной головки. Зачем миллионам булавок беспаспортно по белому свету гулять? Люди должны знать, кем и где рождена эта маленькая человеческая слуга. Теперь главное в нашей жизни — штамп!

Недолго пробыли в кухмистерской Платон и Родион. Они твердо усвоили выражение Макфильда: заслуживающему уважение человеку нужно оказать внимание и честь, но не перечествовать его до такой степени, чтобы он показался себе больше, чем он есть.

Обогатив фирму ювелирными мастерами, Платон не беспокоился теперь за главного своего технологического конька — за штампование. Эти трое сделают все необходимое для самого скорого и самого дешевого изготовления мелких ходовых изделий, не требующих большого завоза материала и облегчающих вывоз сделанного из него компактного, легкого товара. Не уйти им от изготовления комплектов металлической оснастки веялок.

Возчик Иван Лукич Балакирев, превратившись в посредника между фирмой и мелкими производителями, не отягощал хлопотливыми перевозками на станцию и погрузками на железную дорогу. То же происходило с остальным товаром средней громоздкости. Улучшившись по внешнему виду и по всей остальной его добротности, он брался оптовиками упакованным большими партиями в ящики. Без проверки и счета.

С этим было налажено так, что и можно забыть об идущем само собой. И прибыли также были таковы, что любой окрестный заводчик радовался бы и благодарил вседержителя. А неусыпный финансовый дирижер Флегонт Потоскуев, почувствовавший себя осевым валом фирмы, в очередном недельном докладе предупредил Платона и Скуратова:

— В грубом округлении товар средней громоздкости дает нам на копейку затрат чистую копейку прибыли. Этого я не ожидал. Не ожидал также я, анализируя калькуляцию металлической мелочи, что она дает на каждую копейку затрат от трех копеек до двадцати семи чистой, гарантированной прибыли.

— До двадцати семи копеек на копейку? — переспросил Родион. — Что же это?

Иголки?

— Нет, Родион Максимович, крестики. Иголки дают сам-одиннадцать. А вот чертежные кнопки и ученические перья, штампуемые из отходов, дают примерно двадцатипятикратную прибыль... Но вы сами понимаете, господа, что кнопки, перья и крестики ограничены в спросе. У них головокружителин процентаж прибылей, но невелик «пудаж», — пошутил Потоскуев. — Пудом крестиков можно окрестить младенцев средней губернии. Это же можно сказать и об остальной мелочи, кроме гвоздей...

Гвозди по-прежнему давали самый большой доход. Их спрос не ограничен. Не ограничена и возможность производства их. Изготавливающие гвозди станки требовали только наблюдения да смены мотков проволоки и заправки ее в станок. Это могли делать и подростки, и женщины, хотя их с трудом пускали мужья на завод при всей выгоде хорошей оплаты.

Удвоились с приходом литейщика-чеха Карела Младека прибыли от «кухонного литья». Спрос на него так же не ограничен, как и на гвозди, но так же, как и на них, ограничены сырьевые возможности. И если на литье можно было пускать молоховский чугунок, облагороженный чехом, то на гвозди требовалась проволока точного качества. Она не должна быть чрезмерно сталистой, а также излишне мягкой. Хорошую во всех отношениях проволоку волочили в придоменном цехе. После введения Улановым новых алмазных фильеров она была зеркально блестящая, и от этого гвоздь выглядел привлекательным и дорогим изделием. Но своей проволоки давно уже не хватало. Приходилось возить ее за тридцать семь верст, от мелкокалиберного заводчика Мамаева, присягнувшего на верность Акинфину. У него был превосходный плавильщик железа для проволочного волочения, а само волочение было никуда. С ласинами. Без соблюдения точных диаметров. Луке до этого было мало дела. Лука рассуждал так:

— Зачем блеск гвоздю, когда ему сидеть в темноте дерева? И толщина проволоки тоже десятое дело.

Далеко не десятым делом были технические тонкости для Родиона Скуратова, являясь поэзией его инженерного труда. А он одно из главных действующих лиц романа. Повествуя о нем, невозможно раскрыть его душу без ее «металлического» наполнения и производственных исканий.

Технологические обоснования, бухгалтерские выкладки радуют тех, для кого они стали атмосферой их жизни. Без таких описаний нам не обойтись. Однако же все эти коммерческие изощрения, цеховые подробности нередко замедляют действие повествования, а иногда и снижают интерес к нему. Это так же плохо, как и отсутствие показа производственных новшеств. Ведь именно им обязаны все акинфинские преобразования, на которые так много возлагается надежд. И все же техника остается техникой, а люди людьми...

Просим поверить Вениамину Строганову, что появление на заводах Ивана Уланова было событием не только производственным.

«Иван Уланов сразу же стал близок, дорог, понятен сосланному художнику Николаю Андреевичу Сверчкову. Иначе и не могло быть. Оба они не по своей воле оказались жителями Шальвы. У того и у другого было одинаково трудное детство в затравленных нуждой рабочих семьях.

Уланов мечтал стать мастером художественных гравюр, а оказался в хищных лапах оборотистого штемпельщика.

Сверчков хотел посвятить свою кисть обличению потогонного фабричного труда. После первых же гневных полотен он был наказан полицией изгнанием. Теперь Сверчков стал рисовальщиком замков, сковородок, утюгов, пряжек, бляшек и всего рекламируемого фирмой.

Их щедро поощряют, высоко оплачивают, им предоставлены хорошие квартиры, но оба они кабальные без кабалы, кандалные без кандалов...»

Так пишет Вениамин Строганов в своей тетради, озаглавленной «Раскрепощенные крепостные». Отличная тетрадь! И так жаль, что нам она послужила всего лишь одним из множества мазков для фона некоторых шало-шальвинских событий — драм, трагедий, фарсов, описаний фабрик, интимных сцен, любовных походов. Все они, теснясь в пределах нашего романа, нетерпеливо требуют своего выхода на страницы.

Вот и сейчас мы вынуждены из цехов направиться туда, где ветреная, вероломная влюбленность завяжет новые нелепые узлы и размежует казавшееся накрепко соединенным...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Цецилия Львовна уехала с отцом и матерью в Петербург. Родители не могли оставить единственную дочь на попечение притворявшейся акушеркой Лукерьи, Болотной вещерицы.

Проводив нелюбимую сноху, трехжальную змею, Калерия Зоиловна все же была довольна, что эта сухопарая курица снесет яйца пусть и не полняком кровной княжеской, все-таки полукровной внучкой или внуком. И этим улучшит акинфинский род.

Молоховы, как и Лучинины, также нашли благоразумным взять Агнию к себе до масленой недели. Начнутся тряски-пляски, тонцы-звонцы, налижется не чающий, когда начнется широкая гульба, Клавдий. И от него нужно побережь дочь.

Дважды уже капало с крыш. Чувствовалась масленица. К веселому шальвинскому празднику загодя готовился дворец Акинфиных. Здесь она будет шире распростертых, добропожаловательных крыльев дворца. И маскированные, и блины на сто персон с двадцатью официантами в одежде староцарских стольничих и с мажордомом в одеянии боярина Морозова... Конечно же, тройки с разбросом пряников, и в каждом сотом прянике будет запечен либо золотой пятирублевик, либо серебряный рубль. А если кому попадет полтинник или двугривенный, и то хорошо. Дарового коня не спрашивают, какова ему цена.

Готовился к масленице и пока еще не уравновешенный Платоном простой люд. Цирк будет давать ежедневные представления. Утром лото. Днем — для мелкоты, вечером — для всех. Члены Кассы по пятаку тянут из урны билеты. Какой кому на какое место попадет. Коли уж равновесие, так равновесие. А тех, у кого нет заводских номеров, милости просим приобретать билеты по дорогой цене. Для важных господ особые места и особые цены. Дорого — не приходи, не приезжай. Своим будет тесно в эти масленичные цирковые дни, а если хочешь веселья до упаду, плати. Содержать цирк Кассе денежек стоит. Касса должна не только окупать его, но и выручать на нем. Это же не какой-то шапитовый цирк с брезентовым верхом, с продувными тесовыми стенками, а настоящий, капитальный театр, только круглый.

О цирке в Шальве говорилось и писалось так много, что пожелавший собрать половину рассказов о нем написал бы вдвое-втрое объемистее книгу, чем

«Поминальный численник».

В Шалой-Шальве и окрестных заводских поселках жили не одни любители цирка, но и поклонники музыки, хорошего пения — всего того, что появлялось на сценах столицы и губернских городов. В Шальве концерты и драматические представления затруднялись тем, что — единственное зрелищное помещение — цирк не был приспособлен для них. Одержимый переустройствами Платон Лукич трансформировал арену в сцену. У входных и выездных ворот арены цирка воздвигались сценические подмости, огораживались кулисами, позволяя этим давать концерты и спектакли. Правда, при этом пропадала часть мест при круглом зрительном зале цирка. Но те места, с которых ничего не было видно, можно было продавать «галерочной» публике по копеечной цене или пускать по даровым контрамаркам.

Масленичная цирковая неделя началась концертом, гвоздем которого была вокально-музыкально-танцевальная пара, анонсируемая крупно: «Гризель и Гризет».

И далее помельче: «Проездом из Иркутска через Москву и Санкт-Петербург в Париж».

Цветная афиша величиной с дверь, с которой улыбались танцующая донельзя декольтированная Гризель и танцующий Гризет во фраке с хризантемой, в цилиндре, привлекла всех. Овчаров приказал кассиру цирка удвоить цены на билеты и попридержать полсотни мест на случай приезда из Екатеринбурга и Перми знатных любителей таких «музык».

Настал вечер концерта. Цирк залит добавочным электрическим светом. В гостевой ложе страусовые веера и сверкание бриллиантов. Длинные сюртуки и фраки новейших покровов. В одном из них Клавдий Акинфин. Он с лорнетом, мешающим, а не помогающим видеть его глазам. Но это же настоящий черепаховый лорнет, инкрустированный перламутром, и такого нет ни у кого.

Появился конферансье в ослепительно золотом фраке из неизвестной парчи. Он объявил соло на арфе. Знатоки впервые увидели за арфой мужчину. Они еще не знали, что Гризет играет на всех инструментах мира, вплоть до гибкой пилы, которая то глухо страдала виолончелью, то визгливой скрипкой жаловалась и умоляла. Гризет, несомненно, был виртуозом, а Гризель превзошла соловья. Так никто не исполнял Алябьева. Такого диапазона голоса Клавдий не встречал ни в одном из театров Европы.

Гризель исполняла и классические романсы, и серенады на итальянском языке, и легкие песенки шантанного репертуара.

Она и он стремительно и бесконечно переодевались. Смена костюмов была «отработана» до секунд. Конферансье в золотом фраке был мастером циркового жанра трансформации, а попутно жонглером и фокусником. Он, давая передышку Гризель, выпускал голубей из рукава и находил в карманах зрителей белых мышек, исчезнувшие золотые часы Потакова, кольцо его жены... Невероятные манипуляции, жонглирование серебряными черепами, превращающимися и пазах почтеннейшей публики в кроликов и вновь становящимися черепами, производили неизгладимое впечатление на тех, кто сидел на боковых дешевых и даровых местах.

Венчаемые овациями, подношением букетов коленкорových и восковых цветов с ложением в них кредитных билетов и с таким же вложением нарядных коробок, артисты раскланивались, прижимали руки к груди, делая реверансы, а конферансье в том числе кульбиты, были счастливы.

Заключительным сюрпризом вечера было появление Клавдия с букетом белых, как февральский шальвинский снег, роз. Такое мог позволить только он. Только у Акинфиных могли цвести розы зимой.

В букет было вложено пригласительное письмо.

После концерта артисты впервые узнали, какими могут быть ужины во дворе фирмы «Акинфин и сыновья».

Давней мечтой и вожденным призванием Клавдия была сцена в том виде и канве, какая представляла в этот первый день шальвинской масленицы. И в снах, и яви Клавдий видел себя в испанском плаще, с гавайской гитарой в руках, завораживающим зал своим почти итальянским тенором. И он сегодня, благо не было ни жены, ни ядовитой Цецилии, пел под свою гитару фривольные серенады, и Гризель восхищалась им, а затем вызвалась петь дуэтом. Он и она почувствовали созвучие голосов и душ.

На десятом или пятнадцатом дуэте Гризет и его собрат по гастролям нашли правильным дать возможность Клавдию допеть перспективно начавшиеся дуэты и удалиться в гостевой Дом.

И они пели вдвоем и порознь до утра. Именно об этом и сообщали отрывочно доносящиеся и возмущавшие Платона строки романса, исполняемого Гризель:

Я пела доутра,
в слезах изнемогая,
Что я твоя любовь
И нет любви иной.

Она переиначивала слова романса. Переиначивал их и он, отвечая ее признанно:

Я угасаю с каждым днем
И не виню тебя ни в чем...

А она, не давая ему «угаснуть», ответила новым многообещающим романсом.

Эта откровенная переделка слов явного приглашения изменить Агнии, ожидающей ребенка, заставила Платона накинуть халат и появиться в музыкальной комнате.

— Клавдий, — не церемонясь сказал Платон, — ты запел мадемуазель Гризель до изнеможения и слез, и мне кажется, нужно пожалеть ожидающего кучера...

— Да-да, — спохватилась Гризель, — мы еще допоем завтра, мосье Акинфин...

— Нет-нет, — сказала, вбежав, Жюли, — как можно! Кучера я уже отпустила спать, а Гризель проведет ночь в моей спальне.

— Да-да! — крикнул возбужденный Клавдий и подтвердил это «да» громким аккордом на рояле.

— Если бы здесь, Клавдий, была Цецилия, — сказал очень внятно Платон, — она бы запечатлела это безнравственное «да» на твоей щеке так громко, что было бы слышно Агнии...

— Надеюсь, этого не сделаете вы, Тонни, — сказала Жюли, став между братьями. — Не будем нарушать платонической музыки шекспировской жестикуляцией. Я, надеюсь, заслуживаю доверия, Тонни...

— О, несомненно, Жюли! Вы же соединили узами святого таинства брака

Клавдия и Агнию. Кто, как не вы, тайно обвенчал их в церкви, название которой все еще покрыто тайной неизвестности...

Платон ушел. Пение прекратилось. Утром старая верная горничная шепнула Платону:

— Они у нее заперлись вместе с ней и сейчас почивают там.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прощальный концерт артисты давали днем в последнее воскресенье масленицы, прозываемое в народе прощеным воскресеньем.

Клавдий, выступавший и до этого концерта с Гризель в соседних заводских поселках, где находились помещения, увлеченно пел под свою гитару и под ксилофон Гризета серенады, шуточные песенки, своим маленьким, очень приятным, камерным голосом. Зрители восторгались неожиданным открытием. Платон старался не поддерживать разговоры о брате с теми, кто на самом деле восхищался его пением и кто делал вид, что ему нравится пение Клавдия.

Родиону сказал Платон прямо:

— Он пропал, Родик. И хорошо, если пропал не в прямом смысле... Мне стыдно за него и жаль его. Он чужд мне как человек, но все же он мой брат и каким-то краем сердца я люблю его, ненавидя другим.

В прощенное воскресенье, в канун Великого пасхального поста, Клавдий, испросив и получив от отца с матерью легкое, шутивное прощение, должен был отправиться по обычаю за этим же к тестю и заодно навестить Агнию.

Смутные предчувствия заставляли его кого-то взять с собой. О Платоне нечего и думать, а Родион мог бы... И он попросил его.

— По пути, Родиоша, уладишь железные дела. Он простит недоразумения, и к тебе потечет железная река.

— Я подожду, Клавдий, когда она выйдет из берегов и затопит нарушившего ее долголетнее плавное течение. Езжай с приставом.

— Ас ним зачем?

— Он же лучше оборонит тебя, чем я...

Жюли также отказалась поехать с Клавдием.

— И у меня плохие предчувствия. — А затем добавила по-французски: — Я, как вторая мать моего мальчика, не советую ему рисковать.

— Я не поеду, папа... Напишу Агнии, что простудил горло, и пошлю с кучером.

— Так, пожалуй что, будет надежнее, — поддержала сына Калерия. — Ляжь в постельку, ты всамделе допелся до хрипоты. И головка горячая. Ляжь! А в чистый понедельник какие же прощения! Пост!

Клавдий принялся сочинять письмо, а оно не получалось. Он рвал лист за листом. Он не мог найти даже первых слов. Что-то сопротивлялось в нем и мешало назвать ее «милой», «родной» и даже «дорогой».

— Я потом, Жюли, напишу ей или лучше скажу на словах...

— Лучше на словах, мой мальчик, — одобрила Жюли. — А может быть, не понадобятся и слова.

Жюли как будто что-то знала, что-то было предreshено для нее. Она захлопнула бювар с почтовой бумагой и конвертами. В ее глазах прочитал Клавдий, что все будет хорошо, и успокоился...

И все было хорошо, но не так, как этого хотелось бы Клавдию.

Вечером от Молоховых вернулся Вениамин Викторович Строганов. Он все эти дни бывал там. Возвращался обычно молчаливым, на этот раз он заговорил первым:

— Агния Васильевна родила мальчика.

Это известие переменяло все. Лука Фомич сказал:

— Теперь ты, Клавка, не можешь не поехать туда.

Это же подтвердила Жюли:

— Добреет и лев, когда в пещере появляется львенок.

— Тогда я завтра, Жюли, или через день, когда лев еще больше подбредет... Я так взволнован, господа, — обратился Клавдий ко всем. — Ведь мне же предстоит стать отцом...

— Не предстоит, Клавдий Лукич, — сказал и повторил Строганов: — Не предстоит.

— Что не предстоит?

— Не предстоит стать отцом!

Клавдий вспыхнул и готов был сказать дерзость, оборвать Строганова, но вместо этого он спросил:

— А почему вы думаете, что не предстоит? Почему? Кто вам об этом сказал? Кто?

— Мне об этом сказали и дед, и бабушка, и мать ребенка.

— И Агния?

— И Агния Васильевна Молохова, — отчетливее повторил Вениамин Васильевич.

— Вот тебе и на! — развел руками Лука Фомич. — Вот тебе и прощенное воскресенье!

— Не прощенное, Лука Фомич, а прощальное, — Строганов подал письмо. — Я его ношу при себе несколько дней, а теперь вручу.

Клавдий торопливо разорвал конверт и прочел. В письме было всего только три слова: «Вон, и навсегда!»

Письмо перечитали все, и последним прочел его Лука Фомич.

— Как же это изволите понимать, милостивый государь Вениамин Викторович?

— Писал не я. Но думаю, что нужно понимать, как написано.

— А святое таинство брака? — спросил неуверенно Лука Фомич.

Строганов как никогда держался твердо и строго, будто это говорил не он, а Василий Молохов:

— О святом таинстве брака я бы на вашем месте, Лука Фомич, не вспоминал. И не вспоминал бы об отце внука Василия Митрофановича. Так просил он передать вам всем и пообещал, что если эта просьба не будет исполнена, то им будут найдены, как сказал Василий Митрофанович, способы вразумления.

— Мы лучше думали о вас, дорогой гостенек Вениамин Викторович, — припряглась к разговору Калерия Зоиловна.

— Думайте хуже... Я обязан передать все, что было сказано. И передам все. Все просьбы Василия Митрофановича.

— И много их, господин посол?

— Еще одна, Лука Фомич. Довольно неприятная, но я полагаю — справедливая и разумная для всех.

— Какая же, господин Строганов?

— Я позволю, Лука Фомич, передать ее в смягченных выражениях.
— Как вам будет удобнее, Вениамин Викторович. Мы не из пугливых...
— Василий Митрофанович Молохов требует, чтобы Клавдий Лукич в течение трех лет не появлялся в Шальве и не находился ближе чем на тысячу верст от нее...
— Да как он...
— Погоди, отец, — попросил Платон, — нужно выслушать до конца. Говорите, Веничек, все.

— Покинуть Шальву требует Василий Митрофанович не позднее первой недели Великого поста.

— Да кто он такой?! — сжал кулаки Лука Фомич. — Кто он такой, чтобы требовать?!

Строганов ответил, так же не шевельнув бровью, тем же ровным голосом:

— Василий Митрофанович, как бы и кто бы к нему ни относился, дважды оскорбленный отец. Я г:ри всех особых отношениях к нему нахожу, что он прав.

— Вот как, господин Строганов? Значит, он прав? А я плюю на его правоту. Плюю... Вот так, — показал Лука Фомич. — Плюю и растираю.

— Напрасно, па, — предупредил Платон. — Ты забыл, как он на дуэли... У него очень твердая рука...

Клавдий принялся разыгрывать истерику:

— Он погубит меня... Он убьет меня... Я не жилец в моей Шальве!

Говоря так, златокудрый комедиант был рад, что все так счастливо развязывается для него.

На другой день утром сложившие обстоятельства были оценены трезвее. Воинственные негодования стариков Акинфиных сменились опасением и трусостью.

Жюли не посоветовала Клавдию дожидаться определенного ему Молоховым срока отъезда. Боязно было задерживаться в Шальве. Страшновато стало отправляться и через ближнюю станцию. Мало ли какие жестокие проводы мог придумать ему этот дьявол...

Так говорила не только Калерия Зоиловна, но и Лука Фомич. Он также торопил отъезд.

Все обошлось хорошо. Выехали тайно после полуночи на далекую станцию. Утром Урал уже был позади. А на третий день Жюли и ее питомец распивали благодарственные бокалы и распевали: «Париж, Париж, ты счастье нам сулишь...»

Платон тоже благодарил судьбу. И не про себя. Не молча. Он отправился к Молоховым. Поздравил с новорожденным. И тут же, трижды поклонившись Молохову, сказал:

— По поклону за каждый год, — а затем, протянув ему руку, добавил: — Я благодарен вам, Василий Митрофанович, за счастливую разлуку с тем, чье имя навсегда презренно и забыто в этом доме.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Лука Фомич Акинфин долго пребывал в раздумьях о том, зачем поднадобилось Ваське Молохову называть новорожденного внука Платоном. Это же явный кинжальный подковыр. И все же... Ставя себя на место Василия Митрофановича, можно было понять его старые и новые обиды. А посему Лука решил лично и откровенно повиниться перед Молоховым.

Так он и сделал, сказав, что в этой непростимой марьяжной заварухе и опутывании чарами злодейственной любви виновны бабы.

— Соседи мы, — ответил Молохов, — нам от этого и деться некуда.

— Мудрее и не скажешь, Вася...

Смягчившись, Василий Митрофанович все же не показал младенца и попросил Луку не называться дедом маленького сына Агнии.

— По крови он — да, а по всему другому этого не получается.

— Я понял, Вася, понял, — согласился, смахнув слезу, Лука и решил не объявлять, что у него в Питере родился внук. Законный внук Вадимик.

Пусть об этом Васька узнает от других.

Встреча закончилась не столь сердечно, зато выгодно для молоховских домен и акинфинских заводов.

Вскоре из Петербурга вернулся Платон Лукич.

— Как же ты так скоро, Тонни! — удивился встретивший его Скуратов. — Почему же ты и двух недель не побыл со своим Вадимиком?

— Вадимику теперь нужнее мать. Мне же полезнее быть в Шальве. Да, Родион, полезнее и даже больше...

— Что-то неладное произошло, Платон?

— Произойдет. Мы накануне взрыва, Родион.

— Какого, Тонни?

— Какого — я еще не знаю. Дай бог, если он коснется только одного царя, а не заводчиков и не заводов.

— С чего бы это, Плат?

— Как с чего? Во всем одни провалы. Военные и всякие Другие. А гонор, гонор!.. Гневят народ, глумятся, душат, порют, затыкают рты. И это все вместо того, чтобы ослабить напряжение внутри империи, дать какое-то смягчение рабочим... хотя бы посулить поблажки. Так нет! Жмут, нагнетают недовольство, сажают в тюрьмы, шлют в ссылки... Делают черт знает что, не понимая, что этим озлобляют и тех, кто мирился, молча нес свой крест, снося проклятый каторжный режим...

Скуратов слушал и молчал. Таким впервые видел он Платона. Впервые закралось смутные сомнения. Так ли уж все благополучно в Шальве? До конца ли искренен Платон? Так ли благонамеренны его заботы о рабочих? Не есть ли они наследственное, предупредительное самоохранение миллионера? Лука Фомич тоже был мастером в таких делах. Умел предупреждать подачками бунты...

Подумав так, Скуратов тут же остановил себя. Таких заводчиков нет нигде, каким является Платон. Он прям в своих намерениях. Не суля молочных рек в кисельных берегах, он дает рабочим больше, чем они могли предположить.

Платон, словно подслушав мысли Родиона, сказал ему не прячься, не таясь:

— Родька! Здесь в конторе мы вдвоем. С глазу на глаз. Между нами нет третьих лиц. Их не должно быть вообще. Штильмейстеру и Потоскуеву я верю, но они при нас, а мы с тобой единое одно. Я понимаю, у тебя и у меня есть что-то недоговоренное. Всего никто не говорит. И муж с женой, отец и сын тоже не откровенны до предела. Таково устройство душ.

— Допустим, Тонни, таково...

— Так вот, душа моя, нам нужно не когда-то, а теперь, сегодня-завтра, в три-четыре дня, решительно и круто улучшить жизнь работающих на заводах нашей фирмы. Решительно и щедро противопоставить нагайкам, штрафам, изнурительности

труда — доброту, внимание, льготы и... И все, что возможно, даже если это не в наших силах...

— На это, Платон, нужны, во-первых, деньги, деньги, во-вторых, и в-третьих, тоже они.

— Ив тридцать третьих — деньги. Ну и что? Лучше попуститься прибылями, даже понести убытки. Заложить что-то или продать... Занять... Украсть... Пойти на все, но доказать, что примирение непримиримого возможно! Не будем, Родик, выяснять и спорить. Россия накануне опасных потрясений. Пробудится и наш замордованный край. Так пусть же потрясается тот, кто заслужил этого, а не мы!

Тут же был вызван Флегонт Потоскуев. С ним разговор происходил в ином разрезе.

— Флегонт, — начал Родион, — мы накануне огромных прибылей. Нам нужно эти прибыли не только получить, но и закрепить...

— Не только закрепить, — перебив, продолжил Платон, — но и сделать устойчивым наращиваемое нами. Поэтому...

Далее была изложена программа и затем объявлена приказом по цехам. Это был очень впечатляющий приказ.

В приказе говорилось, что главное управление заводами остается верным провозглашенному фирмой закону равновесия взаимностей. Преследуя заботы о всех и каждом, главное управление находило справедливым поделиться полученными прибылями, половина из коих предназначалась на облегчение условий труда и на приобретение первоклассного оснащения цехов и всего способствующего взаимному благополучию рабочих. В том числе называлось особое внимание к женскому труду. Обеспечение ухода за детьми работающих матерей, расширение лечебного дела. Внедрение первой очереди электрического освещения в домах. Удешевление оплаты за поставку дров и всего касающегося упрочения жизни, всех имеющих отношение к преуспеванию Шало-Шальвинских заводов.

Вторую половину прибылей минувшего и текущего, 1904 года главное управление приказывало употребить на увеличение оплаты сдельных, поденных и всех других видов заработков.

Далее назывались проценты увеличения прибавок, устанавливалась выдача бесплатной рабочей одежды. Приказывалось пробное введение удешевленных обедов в цехах и также пробное введение заводских лавок, торгующих по сниженным ценам...

Просторный приказ лишает нас возможности привести его полностью. Это сделала газета «Шалая-Шальва», отдав весь номер подробностям, примечаниям и дополнениям.

Нетрудно предположить, как такая щедрость фирмы была встречена в рабочих семьях. Платона чуть ли не причисляли к лику святых. Нашлись и такие, что потребовали у отца Никодима отслужить большой молебен и произнести похвальную проповедь.

Молебен был отслужен и проповедь произнесена, в которой Никодим не преминул заметить, что имя Платон произошло от древнегреческого слова «широкий».

— Таков и есть раб божий, принявший это имя, Платон, сын Лукин.

Для всех шальвинцев и для самого Платона сказанное Никодимом стало неожиданным открытием. Многие были неожиданным в эти дни, в том числе волнения на окрестных заводах, угрожающие письма без подписи и широко распространенная,

отлично нарисованная и четко напечатанная открытка.

На открытке был изображен херувим с когтистыми лапами вместо рук и ног. Всякий знающий Платона Акинфина легко узнавал его в светлом лике ангела с когтями.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Открытка больно кольнула Родиона Скуратова. Его снова посетили колебания. Этому настойчиво способствовал задиристый литейщик Савелий Рождественский, друг детства Родиона и Платона.

Савелий, по школьной кличке «Саваоф», сказал, придя домой к Родиону Максимовичу:

— Эта карточка — плохая гиря на Платоновых весах.

— Плохая, — подтвердил Родион, — но хуже ее злое зубоскальство.

— Притом оно облыжное, конечно? Не так ли, Родион?

— Савелий, не глумись. В открытке есть доля правды. Но — доля. Всякий заводчик не без когтей. Но не у всякого заводчика есть крылья.

— Понял, Родик. Понял! И я ценю высокое парение Платона.

— Он не парит, Савелий! — ответил, раздражаясь, Родион. — Твой новый дом, полученный в рассрочку, не парение. Твоя полуторная прибавка к заработку тоже не порхание в небесах. И если все это тебе унижительно получать из рук когтистого Платона, кто тебе мешает плюнуть лживому архангелу в глаза и перейти к другому, праведному заводчику? Только найдется ли такой? Найдется ли такой заводчик?

— Молчу, молчу... И таких не надо нам искать, а лучше потерять... При этом навсегда и безвозвратно. Бывай здоров, главный управляющий!..

После ухода Рождественского, оставшись один, Родион вел разговор и продолжал спор с самим собой.

В самом деле, кто мешает Савке и ему, Родиону Скуратову, встать и уйти, коли он признает, что в открытке есть доля правды? Но доля, только доля. Нелепо же хотеть, чтобы миллионер отказался от своей казны, отдал свои заводы рабочим и потерял над ними власть.

Такое может быть. Об этом уже пишется в листовках и в брошюрах. Но это же пока только листовки и брошюры. То есть стремление. А всякое стремление — только слова и мысли. А «равновесие взаимностей» Платона живет и действует уже сегодня. Действует и облегчает жизнь. Пусть только в Шальве. Но кто знает, может быть, Шальва вынудит и других заводчиков предпочесть малые прибыли большим потерям...

Рассуждая так, Скуратов признается, что ему не по уму решать большое, заглядывая в грядущие годы. Поэтому, не зарясь на далеких журавлей, он должен отдавать себя служению тем, благополучие которых зависит от успехов фирмы и намерений Платона и впредь улучшать жизнь своих рабочих.

Возможно ли уравновесить жизнь или нет? Родион так же прямо признается сам себе: «Я этого не знаю, но буду стремиться верить в лучшее и осуществлять его на деле».

И опять сомнения приходят в голову Скуратова.

А что думает Платон? Каково его суждение об этой злой карикатуре? Прошла неделя, а он ни словом не обмолвился о ней.

Может быть, Платон ее не видел? Может быть! Однако такое маловероятно. Впрочем, почему же? Кто мог осмелиться вручить хозяину эту открытку, коли сам Родион не сделал этого?

Все выяснилось на другой день в конторе. Платон, разговаривая об изыскании прибылей, сказал, как следует держаться после «убыточного приказа»:

— Родик, самое главное для нас теперь, во-первых, не терять чувство юмора. Во-вторых, не замечать нападки, пасквилы, наскоки, какими бы оскорбительными они ни оказались. И, в-третьих, мы обязаны оставаться ангелами и только ангелами, платящими за зло добром. Только добром!

— Я понял тебя, Тонни. Скажи мне, должен ли я удвоить или, может быть, утроить, а то и архангельски учетверить жалованье высланному под надзор художнику Сверчкову?

— Родик! Как ты прямолинеен! Николай Андреевич Сверчков обиженный талантливый художник, а мы его замучили этикетками, наклейками и прочей рекламной чепухой. Вспомни его портрет Агаши Молоховой, через который Венечка Строганов влюбился в нее.

— Так что же следует из этого, Платон?

— Ничего особенного. То, что должно следовать. Должны мы увековечить на холсте наши заводы, наших рабочих, наши новые составные дома? Нашу Шальву? Должны! Вот я и заказал ему кое-что из этого и дал задаток десять тысяч...

— И он был благодарен?

— Больше! Он был бледен. У него дрожали руки, даже, кажется, подкашивались ноги... Ну, бог с ним. Он несчастный человек. Вернемся к разговору о том, как возместить убытки после нашего архангельского приказа. Есть один верный, но очень трудный ход — с «безделушечным литьем» Савки Рождественского.

— Да это же грошовая тысячная прибыль...

— Это верно, Родик, если счет вести по абсолютным цифрам. Есть и другой счет. Счет Флегоши Потоскуева. Он с карандашом в руках мне доказал, что каждый золотник Савкиного литья дает втрое больше, чем фунт отличного литья Карела Младека.

— Положим так, но это тоже крохи.

— Все состоит из крох и капель. Савелий одарен, но не обучен. А если бы ему придать в наставники такого виртуоза, как Уланов, то из крох может вырасти пусть не гора, но золотой пригорочек навверняка. Тут я, как суеверный человек, остановлюсь и утаю, мой милый братик, как я хочу пуститься на поимку «курочки рябы», которая снесет нам... Тьфу-тьфу! Плюнь через левое плечо и пожелай удачи. Я уезжаю и хочу вернуться с «Улановым» по тонкому литью...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дневники, записи Вениамина Строганова и хроника газеты «Шалая-Шальва», будь бы они опубликованы в их первоизданном и разрозненном виде, могли бы стать занимательным чтением. Строганов рассказал о поездке Платона Акинфина в Каслинский завод достойное нашего внимания.

Выбирая из рукописных кип нужное нам и вплетая его в этот цикл, следует предварить о давних намерениях Платона, а до-этого — Луки, перехватить секреты каслинского «украшительного литья». Об этом уже говорилось вскользь, а теперь

скажем подробнее.

Впервые, еще в юности, с каслинским литьем Платона познакомил утюг, обрамленный тонко отлитым, причудливым орнаментом. Утверждали, что его отлили в Каслях. Лука Фомич хотел повторить отливку. Литейщики не могли добиться и близкой копии. Вместо листьев, бутонов и цветов получалось бугристое нагромождение, «не разбери — поймешь». Затею Пришлось оставить.

После утюга произошла другая встреча с каслинскими художественными поделками в Лондоне. Там в ювелирных магазинах рекламировали оригинальные украшения из русского чугуна. Платон зашел в магазин и попросил показать ему эти украшения. И он увидел маленькие чудеса тончайшего литья. Это были кольца, перстни, браслеты, серьги, подобия камней, цепи для часов, кружевные коробочки, з абонированные изнутри смёкалистыми торговцами светлой блестящей подкладкой. Она эффектно подчеркивала черноту чугунного кружева и делала шкатулочку пригодной для хранения драгоценностей состоятельных леди.

Не верилось, что все это отлито из чугуна.

— В этом и шарм, — сказал продающий, не предполагая, что молодой человек может что-то купить.

Ювелирные «шармы» стоили дорого. Чугунная табакерка превышала по цене такую же по весу серебряную. На доньшке табакерки значилось знакомое слово: «Касли».

Платон купил кольца, серьги. Вернувшись домой, он прежде проверил, чугун ли это. Оказался чугун.

Он вспомнил, что это литье видел у себя в Шальве, не обращая на него внимания.

Уцелевший утюг поверг Платона в размышления.

После разговора с Потоскуевым возникло неодолимое желание отправиться в Каслинский завод и всеми способами разыскать, озолотить и привезти в Шальву «Уланова волшебного литья».

И вот Платон в Каслях.

Завод и его мастера поразили Платона, и особенно один из них. Он познакомился с ним. Его звали Артамон Моргунов. Ему было лет сорок.

Не зная, как выразить свое восхищение, Платон подарил ему завалишинский замок, открывающийся при наборе дисками слова «касли».

О наборных замках были наслышаны многие, но не многие видели их.

— Мастачная штуковинка, — похвалил Артамон Моргунов, то и дело открывая и закрывая замок. — Прошу ко мне, молодой господин, для отдарка на тетеревиные пельмешечки.

Этого-то и хотел Платон, ища возможности поговорить с мастеровым наедине.

После тетеревиных пельменей с брусничным уксусом Артамон преподнес Платону черную розу в таком же исполнении, что и шкатулочка, виденная в Лондоне. Живые лепестки розы, тончайшие шипы в Лондоне оценились бы десятками фунтов стерлингов. Отдарок показался слишком щедрым. Платон спросил:

— Сколько же может стоить такая роза?

— В том-то и суть, что никто не знает, какова ей цена. Завод не стал пускать ее в отливку. Дескать, не товар, а только погляд. И так не первый раз меня били по рукам за то, что я хотел штучных, а не базарских отливок, которые купит и наш брат. Мне нет на заводе ни входа, ни выхода. Не понимают, что такие диковинки продают царям, королям, кунсткамерам. Это тебе не табакерки, не брошки-сережки, которые из чугуна

льешь, а серебром остужаешь. Такой чугунный розан золотым из формы вынается.

Рассказывая о себе, Моргунов не хвалился, а гордился своей работой. И ему горько было, что его не только не ценят, но и называют «ушибленным».

— А я и есть ушибленный, ибо тяпины-ляпины никогда не любил. Из простой рябины непростые тросточки для понимающих людей одушевлял. Ни дней, ни узоров не жалел, и для меня ничего за них не жалели. Мать корову на тросточки купила и Тросточкой ее назвала. Уйду с завода. Домаюсь сколько-то, а весной пойду понимающего хозяина искать.

— А есть ли такие?

— Есть. Найдутся. Кому не фартово чужими руками жар загребать.

— Таких много, но захотят ли они вводить себя в расходы на новое дело?

— Расходы невелики, — сказал Моргунов. — А если надо, я сам в них введусь. Свои руки денег не просят. Был бы угол в цехе. А потом все углы отдадут. Для меня и кузни для первых разов хватит.

Выслушав Моргунова, Платон сказал:

— А не побывать ли вам на наших заводах?

— На ваших? А разве, это самое? А я вас за барича принял из тех, кто по свету ищут то, что они не потеряли.

Платон назвал. Услышав его фамилию, Артамон обрадованно сказал, что целил побывать и в Шальве, где у него родня.

А дальше все сложилось лучше лучшего.

Чтобы не затягивать рассказа, укоротим его страниц на десять и скажем, что в Шальве Моргунова прозвали «Молчуном» за то, что он не раскрывал своих секретов. А Савка «Саваоф» Артамону пришелся по сердцу. Ему в нем было дорого то, что он переимчив и толков. А главным в Савелии для Артамона были его прочные суждения о перемене жизни, с ее основания и до верхушки.

Приглянулся Артамону Моргунову и другой рукастый мастер. Гравер Виктор Кособродов. Он предложил замену неспорых одноразовых земляных форм постоянными каменными.

Молчун опасался, что каменная форма треснет от раскаленного металла.

Нет, Кособродов опроверг это на деле, принеся большую кусковую форму. Он сказал:

— Стрекозочка мною выгравирована в этой форме. Большой камень и ахнуть не успеет, как остудит эту крохотульку, в которой весу чуть больше, чем в настоящей стрекозе.

Проба подтвердила сказанное.

Так гравер, соединясь с литейщиком, удивил и самого Карела Младека, Стрекоза была так точно отлита, что на крылышках виднелись их тоненькие перепоночки.

Теперь скорость художественного литья почти не отставала от штамповки. «Курочка ряба» неслась едва ли не ежеминутно. Чугунные, тончайшие диковинки можно было изготавливать в неизвестном числе для иноземных городов и для своих столиц.

Как водится, реклама, образцы, преподношения... А вслед за ними перекупщики, заказчики, сделки на поставку и... деньги.

На исходе убыточного года ювелирное волшебное литье молниеносно обернулось сказочными прибылями.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сказочные прибыли позволили Платону встретить грозный 1905 год в надежной обороне улучшений труда и жизни шальвинских рабочих. Снова поднялась оплата. Снова награды и надбавки за хорошую работу. Опять особая забота о женщинах и детях. Вновь газета «Шалая-Шальва» дотютельно перечисляла, кому, и что, и как, и сколько... Мало этого — сам Овчаров в газете заявляет, что будет дано членам его Кассы в ближайшие два года. И все назывательно, подробно, понятно даже для ребенка.

Грамотные неграмотным читают газету по два, три раза. Слушающих прошибает пот. Поверить трудно этому посулу, а не поверить вовсе неумоготу.

Обещанное прежде не только выполнялось, но и с лихвой перекрывало заботы Платона о рабочих. Отрубить бы по локоть руку тому, кто рисовал его с когтями. Черту бы в когти этого мазилу!

Были и другие разговоры, но Вениамин Строганов их или не слышал, или не пожелал запечатлеть в своих записках. У всякого свои уши и своя способность слышать. Он очень мало оставил нам строк о волнениях, забастовках и бунтах. Но мы-то с вами знаем, каким был этот год первой революции в России.

Нам известно, что дело доходило до схваток на площадях, до уличных боев. Бывало, что рабочие своих хозяев выдворяли за ограду заводов, обували в лапти иных начальников и наряжали в рваные зипуны. Бывало всякое, о чем достаточно подробно писалось и широко читалось. Наша задача уже и локальнее. Мы описываем Шалую-Шальву и связанное с нею, не ставя своей целью нарисовать большое полотно. В чем прямо и откровенно признаемся. Оговорившись так, скажем, что в Шалой-Шальве в этот величественный революционный год было предательски спокойно. Состоялись всего лишь две тихие, немногочисленные демонстрации, требовавшие свержения царя, обуздания заводчиков, но не Платона Лукича.

Такие, как Молохов, Потаков и мельче, сидели взаперти или скрывались на заимках, прятались в надежные места. Платон же с тросточкой, нарядный, разгуливал по заводам, мягко упрекая в цехах своих рабочих, что в них нет сочувствия к бастующим на соседних заводах. Не без его подсказки появились подписные листы для вспомоществования женам, детям рабочих, лишившихся работы на усмирённых полицией заводах.

И все же Шальва не обошлась без пороков и арестов. Ночью был обыскан и взят полицией Савелий Рождественский.

Через неделю арестованный был оправдан за большие подношения тем, кто допрашивает, обвиняет и ссылает. Тем, кто может при желании найти улики необоснованными, доносы ложными, а затем освободить арестованного, да еще, прощаясь с ним, пожимая его руку, принести свои извинения за досадное недоразумение.

— Только заботой и добром наша фирма платит и тем, кто по недомыслию подымает на нее свою бессовестно неблагодарную руку. — Так сказал Георгий Генрихович Штильмейстер, возвращая Рождественского в своем экипаже его семье.

Жена и дети Савелия плакали от счастья. Он же, стиснув зубы, не проронил ни слова.

Задетый этим Штильмейстер заметил вызволенному Рождественскому:

— Если бы я обыскивал вас, почтеннейший революционер, то я бы нашел

тягчайшие улики, хранимые под этой половицей. Сожгите их или перепрячьте умнее и надежней. А теперь благодарю вас, сударь, за удовольствие, доставленное мне ходатайством о вашем счастливом освобождении. Мне это приятно...

— И мне приятно, — ответил Рождественский, — что я хоть чем-то оказал услугу вам и фирме.

Штильмейстер не рассказал об этом Платону Лукичу. Видимо, были особые причины. Для себя же он сделал вывод, что Рождественский не одинок. Не исключал этого и Платон Лукич, настаивая все же на своем:

— Только забота, внимание и добро могут умиротворить любого из «савок», будь их даже два или три миллиона. Революции не пресекаются саблями, не усмиряются штыками, тюрьмами, нагайками и всякими другими насильственными мерами. Юджин Фолстер учил разоружать души революционеров. Работающий должен быть сыт, одет, обут и... Если это не будет понятно и после того, что происходит, тогда... Вы, Георгий Генрихович, и без меня знаете, что следует после «тогда».

Убежденный на опыте умиротворенной Шальвы в правоте идеи равновесия взаимностей, Платон решил об этом заявить публично. И, как мы знаем, он это сделал в цирке Шалой-Шальвы. Мы также знаем, чем кончилось это выступление Платона Лукича.

Теперь у нас есть полная возможность, не повторяя случившегося в первых главах нашего романа, продолжить повествование, перейдя в его шестой цикл таких же пестрых и перенаселенных глав...

ЦИКЛ ШЕСТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1906 год готовился смениться своим преемником.

В Петербурге все еще слышались отголоски народных волнений, далеких и близких. Княжеский дом Лучининых ограждал себя от всего нарушающего привычный уклад.

Дом жил маленьким Вадимом Платоновичем Акинфиным, похожим на отца и мать. Глаза и волосы папины, личико мамино, и характер Платона, а изящество Цецилии.

Мальчик так рассудителен и любознателен, что приходится искусственно замедлять его развитие. Раннее повзросление ребенка губительно сказывается на его юности.

Лето Цецилия проводила в Шальве. Зимой почти не бывала там. Платон же часто приезжал в Петербург. Супруги жили и вместе и порознь, в своих сферах. Вадимик скреплял их соединение, не заставив, однако, ни того, ни другого изменить свои взгляды и суждения.

Цецилия по-прежнему утверждала свою невиновность в том, что она рождена и воспитана аристократкой и не может предпочесть «шальвинский черный дым» свету цивилизации.

Платон так же прямо называл аристократическое бесцельное безделье жены худшим дымом, отравляющим тысячи светлых умов, которые могли служить великому делу сословного равновесия.

Отец Лии, Лев Алексеевич Лучинин, полностью разделяя взгляды милейшего и любимейшего Платоши, не мог зачеркнуть суждений дочери и ее образа жизни: это бы значило зачеркнуть себя. Ведь он жил в неизбежном для него безделии и отравлялся тем же дымом, что и Лия, что и все люди из его круга.

Прожитое им тоже было бездельной, бесцельной суетой сует, кроме разве отличных коллекций картин, скульптур, фарфора и уникальных предметов разных веков. Собранное, несомненно, оставит след. Пусть оно будет не таким, как у виднейшего московского собирателя картин Третьякова, но все же будет. А в остальном его жизнь — это преходящая пестрота, и больше ничего.

Наиболее интересные сведения из биографии Льва Алексеевича Лучинина оставил живший в этом доме все тот же Вениамин Викторович Строганов. Воспользуемся снова написанным им и приведем его в избранном и откорректированном виде, со своими домыслами.

Лев Алексеевич Лучинин, побочный сын князя Алексея Алексеевича Лучинина, был его единственным наследником. Ему перешло все принадлежащее князю, кроме титула, получения которого Лев Алексеевич не желает теперь.

Владея богатейшими наследственными имениями, он мог жить независимым и знатным барином без чинов и званий. Зимой — в наследственном особняке с княжеским гербом, а летом — в одном из имений.

Так он и жил, богатым наследником, в окружении людей светских, высокопоставленных, конечно, богатых. Менее богатых, чем он. А отсюда и превосходство Льва Алексеевича. Ему было доступно так много, что и лишенные зависти его именитые друзья чувствовали себя двойственно. Превосходя его «титულлярно», в остальном они уступали ему. А уступать не всегда и не всем бывает легко. И кто-то из тех, кому это было делать трудно, сочувственнейше и сердечнейше жалил его в самое больное. А самым больным, как можно догадаться, у Лучинина была его «побочность».

Кто-то из обладающих языком тоньше осинового жала заметил о несоответствии герба на доме князя Лучинина с владеющим ныне этим домом Львом Алексеевичем. А кто-то другой посоветовал устранить это несоответствие одним из двух способов. Либо под видом обновления фасада дома избавиться от герба и тем самым покончить с кривотолками в свете, либо испросить высочайшего дозволения вместе с унаследованной фамилией отца унаследовать и право именоваться князем.

Благоразумие не позволило бы Льву Алексеевичу ценой унижения добиваться милостивого возвышения. Лев Алексеевич хотя и не был цареотступником, но и не мог назвать себя преданным ему.

Всякий знает, как много значит жена. Значит тем более, если она любимая. Жена Лучинина, Любовь Павловна Строганова, находясь в аналогичном положении относительно своей фамилии, хотела быть княгиней. Она выглядела всего лишь однофамилицей вельможных графов Строгановых.

Не всякий знает, что фамилия Строгановых, ветвясь с давних времен, проникала во все слои населения, от крестьянских и до купеческих. Ответвлений и отпочкований потомков Строгановых насчитывалось около двухсот семей. Не все из них были удачливы. Одни, наиболее предприимчивые, занимались солью, лесом. Другие прасольничали, кустарничали, а третьи деревянной сохой пахали северную пермскую землю.

Судебные архивы, как утверждает Вениамин Викторович, хранят дело о разделе

строгановских богатств между истцами-наследниками графов Строгановых, число которых приближалось к двумстам. В этих двух сотнях претендентов значился и Вениамин Викторович Строганов.

Любовь Павловна Лучинина не претендовала на свою долю наследницы. Ей бы едва ли досталось больше, чем она владела. Но она готова была участвовать в разделе земель и что-то потерять, лишь бы судебным путем узаконить свое графское происхождение. Теперь же это меньше беспокоило ее. Стать княгиней несравнимо звучнее, и она делала все необходимое, чтобы ее муж, называвшийся князем только в своем кругу да мужиками в имениях, стал им утверждено и обнародованно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Течение жизни Льва Алексеевича Лучинина круто изменилось. Ему не так трудно было и не очень дорого стоило ускоренно набрать чины и подняться на высокую ступень в кандидаты генерал-губернатора.

Трижды побывав вице-губернатором, переходя из одной губернии в другую, он не выработал в себе необходимых губернаторских свойств. Был попустительски добр, а то и жалостлив. Чиновников он не держал в положенной строгости и тем самым порождал среди них нерадивость к службе, разрешал панибратство и прочее недозволенное.

Ходил по городу пешком. Позволял себе выслушивать жалобщиков на улице; выслушав, тут же писал на прошении свои вице-губернаторские повеления.

Простота простотой, но как можно не пропускать ни одного базара и уж конечно ярмарок и покупать там имеете со своим поваром рыбу, говядину, овощи, живую птицу, свежую дичь, да еще не требовать сдачи!

Верные уши слыхали, как мужики, знавшие своего покровителя в лицо, толковали с ним о земле и советовали в письмах к нему в таких словах: «Господин князь Лев Алексеевич, батюшка, вразуми ты нашему преславному царю, что не возможно...» И в этом роде случались мужицкие просьбы во всеуслышание.

В Петербурге терялись, читая тайные донесения. Не верилось, что написанное соответствует истине, а если оно соответствует, то выходит, что Лучинин дурак. И тут же, рядом с хулой, раздавалась и хвала.

Неустанно Лев Алексеевич разъезжал по уездам. Умножал школы, больницы, радел за искусства, разбирая дела невинно осужденных, благоустраивал улицы, пекся о трезвости. А самое лестное было то, что Лучинина любили и уважали.

В донесениях писалось, что его превосходительство мог сделать и невозможное для всякого другого. Он умел внушить, уговорить и самых прижимистых богатых людей, заставить их по своему желанию что-то построить, чему-то помочь, и не по мелочам, а тысячно.

Лучинин надеялся, что ревностное служение на ниве просвещения будет похвально замечено и он обрадует честолюбивую Любовь Павловну долгожданным утверждением его в наследственном титуле. Вместо этого просветителя вознаградили отставкой и всемилоостивейшим порицанием.

Описания превратностей жизни Льва Алексеевича составили три рукописные тетради Вениамина Строганова. Приводить их хотя бы в извлечениях значило бы уклониться от главного. Поэтому нам следует ограничиться несколькими словами! Лучинин не годился ни в губернаторы, ни в князья.

Река его жизни после нелепых извилин обрела прежнее течение, а княжеский герб, высеченный из белого мрамора, остался на его доме. Не портить же, не придумывать новую облицовку фасаде ради герба. Дом знатный, наследственный и в некотором роде исторический. Зачем в угоду кому-то затмевать прошлое? А самое главное состояло в том, что теперь ему было не до гербов, не до титулов.

Служения по губерниям, поездки в малые города, встречи с простым Людом убеждали Лучинина, что России нужен новый Петр Великий, а не такой плюгавенький, как этот царек или его тяжелозадый отец. Это не цари, а исполняющие обязанность троноблюстителей. И если он, сын князя Алексея, в самом деле дурак, то «мы, Николай Второй...» не может назваться и дураком. Дурак — это человек, сошедший с ума. А для того, чтобы кому-то с него сойти, он должен у него быть.

Вернувшись в самого себя, сын князя Алексея Лучинина, как иногда подписывался он, занялся именьями, пришедшими в упадок, и прикамскими лесами жены. Их нужно было когда-то четко размежевать, не по писанным признакам — от речки такой-то до горы без названия, — а совершенно точно. С приложением карты местности и указанием на ней границ лесов госпожи Лучининой, урожденной Строгановой.

Столько лет собирались произвести размежевание с соседними лесами и не собрались. Теперь же это необходимо, потому что лес назван приданным дочери. Передать же его «в словесных абрисах по ландшафтным приметам» выглядело бы только словесным приданным. Нужны планы, а до этого застолбление, и межи, и все положенное, как в его поместьях. И не будь бы этого проклятого вице-губернаторства, он сам бы побывал с межевými чиновниками на Каме и попутно увидел бы, так ли хороши эти места, как расписывает их несравненнейшая Любовь.

— А вообще-то говоря, — делился с женой Лев Алексеевич, — твой лес, Любочка, отнял у нас бездну дней.

— Чем же, Левочка?

— Ну как же чем... Приезжают покупщики, выторговывают, советуют, руководствуются благими намерениями, а рубят неизвестно где и незнаемо сколько... А потом еще должают, просят удлинить сроки платежей. Это же все время, утомление слуха, вынуждение обедать с ними да еще благодарить за пошлейшие подношения на манер восковой Венеры с оскорбляющими зрение натуральными подробностями...

— Так ты откажи им всем, имея дело только с тем деликатнейшим купцом, который... Как его?.. Ну, тот, что своей внешностью отдаленно напоминает Ивана Сергеевича Тургенева...

Любовь, как ты можешь прибегать к таким сравнениям! Это же страшнейшее олицетворение ползучего ханжества, прасола в личине просвещенного барина. Он утомителен до головокружения своей предупредительнейшей вежливостью... На такого бы прохвоста да нашего Платошу, а лучше — Родиона Максимовича. Они бы уравнивали его через Штильмейстера до взыскания и того, что он не украл, но мог и хотел украсть.

Не допуская, что этот «как его» может быть нечистоплотен, Любовь Павловна также хотела избавиться от лесных миллионов.

— Как было бы хорошо уговорить Тонни переложить наши камские тяготы на его плечи без межевых хлопот.

— Я припугну его, Любочка, если он и на этот раз не согласится взять приданое Лии... Припугну тем, что ты отдашь безвозмездно свои леса пермским мужикам.

Пусть сводят их, пусть распахивают новые земли и рубят себе большие избы...

— Как же это можно, Лев? У меня же внук!

— Да, конечно, Любовь, — сказал легко соглашающийся Лев Алексеевич. — Но когда еще понадобятся внуку все эти леса, имения? Да понадобятся ли? Лучше бы продать все не нужное нам и отягощающее нас. Продать и уехать в свой домик, связанный с именем Теккеря, обличителя держащихся за кажущиеся блага жизни. Уехать бы и прожить в Лондоне до следующего царя. А если и ему вместе с царизмом свернут голову, то так ли уж это плохо, Любочка?

Любовь Павловна погрозила мужу вязальным крючком и отложила законченный ею полосатый детский колпачок.

— Ты наслушался ереси, Лев.

— Ах, Любочка, — отмахнулся Лучинин, — христианство тоже было когда-то ересью по отношению к римскому язычеству. Есть очень порядочные и благожелательные люди среди социалистов. И если в самом деле Россия будет такой, как мне описывал ее не какой-то фабричный социаль-демократ, а дворянин, то можно вернуться из Лондона и получить полезную должность школьного инспектора... или хранителя музея. Тогда можно будет презентовать республиканскому правительству отцовский дом с условием сохранения герба и устройства в нем общедоступного музея изящных произведений. Наш дом уже почти музей. А в Лондоне я бы на вырученные деньги от имений докупил редкости Индии и некоторых других колониальных стран... Может быть, посчастливилось бы достать что-то из древнеегипетского.

— Мумию, что ли? Ее только не хватало нам...

— Ну зачем ты просмешичаешь, Любочка! Мумия при твоих суевериях будет оживать, ходить по комнатам и мешать твоему сну...

Помолчав, пораздумав, Лев Алексеевич снова заговорил о тяготах своих наследственных богатств:

— Хорошо бы, Любочка, продав воронежские, вместе с ними расстаться и с орловскими латифундиями, а часть вырученных денег положить в Кассу Овчарова.

— Зачем же, Левочка?

— Очень заманчивый эксперимент... Отличная больница с бесплатной аптекой. Нравственно разумное отделение женского фабричного труда от мужского, не всегда пристойного поведения в цехах. А этот «терем-теремок» меня положительно трогает до слез...

— Какой терем-теремок, Левочка?

— Детское дневное убежище в Шальве. Матери на фабрике, а дети в теремке. Тепло. Свет. Вкусные завтраки. Сытный обед. Игры и гувернантки для каждого тридцати мальчиков и тридцати девочек детей шальвинских рабочих. Разве тебе не рассказывал об этом Платоша?

— Что-то припоминаю, но я пропустила мимо ушей. Да и что мне до этого, Левочка, когда пора уже думать о гувернантке для внука.

— Да, несомненно, пора. Платоша хочет, чтобы ею был гувернер. Инженер. Похожий на мистера Макфильда.

— Инженер? В эти годы Вадимика? Может быть, еще пригласить магистра Юджина Фолстера, чтобы окончательно забить железом детскую головку. В нее и без того достаточно перейдет наследственного металла. Свинца от Луки Фомича, мозгового чугуна от Калерии Зоиловны и стальной твердости от одержимого отца Вадимика.

Не противореча жене, Лев Алексеевич не мог и не возразить ей хотя бы косвенно: — Ты права, мой ангел, но даже Клавдий, состоя из олова без других облагораживающих его примесей, понял, что металл — главный материал нашего времени... Хотя, Любочка, я не перевожу в разряд отживших материалов и дерево.

Упомянув слово «дерево», Лев Алексеевич принялся восхищаться, как это он делал много раз, «составными» домами Платона Акинфина.

— Это же чудо, Любовь! За три дня вырастает дом! За два-три месяца возникают нарядные, живописные деревянные городки, новые улицы с электрическим освещением и водоразборными будками через каждые сто сажен. Вот бы построить такую же фабрику «составных» домов в твоих лесах, Любочка! Зимой строй, а летом сплавай в барках, изготовленных там же на Камских берегах... Для этого не надо никаких руд, никаких плавильных печей...

— Как тебя легко увлечь, Лева! Ты Манилов, Левочка.

— Ты права. Я в чем-то сходен с ним. Но в данном случае во мне говорит трезвый расчет. Ведь я обучен считать до ста. Флегонт Потоскуев, что ведет в Шальве точный счет всему, сказал мне, что каждое наше бревно, сплавленное в Самару, приплывает двумя бревнами, а в Астрахань — тремя и более. Если же бревна превратить в сборные дома, то каждое бревно, став частью дома, уже в Перми удорожится в более чем двадцать раз. В Елабуге оно возрастет приблизительно в двадцать пять раз, а в низовьях Волги свыше тридцати пяти и сорока раз. Это же потрясающая прогрессия превращения бревна в деньги...

Любовь Павловна, утомленная разговором с мужем, раздраженно спросила:

— Что тебе до этой прогрессии, Лев? Зачем она тебе?

— Как зачем? Ты только представь, сколько доподлинных будд, сколько античных сокровищ можно купить на эти деньги!

— О господи... пресвятая мадонна!

— И мадонн, при этом редчайших, можно приобретать, не спрашивая об их цене. Ведь не все же поняли, что такое мадонны кисти художников средних веков. А когда поймут, эти картины так возвысятся в цене, что ни у кого не останется средств, чтобы владеть одной, всего только одной из них...

Любовь Павловна, не выдержав, уходя, попросила дочь:

— Лия, сегодня у князя Лучинина необыкновенное извержение мыслей и слов. Будь терпеливой слушательницей, иначе твой отец начнет объяснять камердинеру, как превращается бревно в золотую сороку.

Лия заменила мать.

— Я люблю тебя слушать, папа, и никогда не устаю от твоих мечтаний. Люблю мечтать и я...

— Да я, моя пери, кажется, на сегодня вымечтал все, и мне уже нечего сказать, кроме Платошиных дел... А вдруг да, радость моя, в самом деле можно будет взаимно уравновесить сословия... Только почему их ни с того ни сего стали называть классами?... И вообще появилась какая-то непривычная, ну, что ли, училищная, как бы сказать, лексика... Классы, программы, основополагающие учения... И все такое...

— Наверное, папочка, старые истины выглядят в иной транскрипции новыми.

— Допускаю, моя умница. Называют же скрытое присвоение чужих вещей клептоманией, хотя и то, и другое точнее определяется словом «воровство». Я допускаю, прелесть моя, что фабричное сословие, которое теперь называют рабочим классом, можно умиротворить, дав ему необходимое по его весьма умеренным

запросам. Стол. Одежда. Жилище и обеспеченные праздники. Платоша этого достиг. И у него нет того, что приносит огорчения многим другим владельцам фабрик.

— Достиг ли Тонни этого? И можно ли достичь?.. Не прав ли его Лука Фомич, говоря, что пряниками можно «заморить голодок», но нельзя насытить?

— Лука Фомич, моя звездочка, мыслит ограниченными категориями. Про мужика также говорили, что он ненасытен. А как выяснилось, его можно приручить землей. Мужу не нужно ее больше, чем он может вспахать. Я допускаю, что с фабричными труднее. Труднее и легче, ласточка моя. Мужик не понимает слов. На него можно воздействовать только двумя крайними способами — либо кнутом, либо сытым животом. Фабричного же и на голодное брюхо можно убедить. Он чувствительнее, последовательнее и способен к логическому мышлению. Но почему он стал рабочим классом и почему твердят, что за ним будущее? И почему, моя умница, я, не соглашаясь с этим, не могу опровергнуть этой гипотезы, которую уже громче и громче начинают называть наукой о развитии общества?..

Оборвем на этом диалог, в котором разговаривает один, а второй лишь помогает ему излить свои мысли, сомнения и просто слова, за которыми ничего не стоит. Сделав так, мы вернемся в Шалую-Шальву и посмотрим, что произошло за эти годы и что творится там теперь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кинематограф, обладая многими исключительными, присущими ему свойствами, обладает и тем, что он может в считанные минуты показать то, что перо может описать лишь в общих чертах.

И если бы на экране показать панораму Шало-Шальвинских заводов, то были бы наглядно видны разительные перемены, преобразившие общую картину и составляющее ее. Объектив киноаппарата это сделал бы очень хорошо, но и у пера есть некоторые преимущества. Оно позволяет довообразить, дорисовать не дописанное им и представить названное в том виде, какому наиболее соответствует в представлении читающего желаемое им. Читающий почти всегда соавторствует с пишущим и всегда досказывает, дорисовывает, а иногда и домысливает то, чего недостает. Недостает по небрежности ли автора, по невозможности ли заниматься всеми деталями или по необходимости что-то сказать завуалированно.

Словом, не будем требовать у пера больше его возможностей и условимся довоображать недостающее, а иногда всего лишь названное.

Ну зачем, в самом деле, описывать арку при въезде в город, коли достаточно сказать, что она появилась и представляет собою громадную подкову, сложенную из гранита, а до этого задуманную художником Сверчковым, который видел в ней символику процветания и оригинальность решения, а кроме этого видел и пятьсот рублей наградных.

Не следует также затруднять перо ради нового здания почты. Есть другие, наиболее привлекательные строения. А почта как почта: два этажа, в верхнем — телеграф, денежные переводы и сортировка писем. В нижнем — собственно почта и большое посылочное отделение. Оно, как и сама почта, стало большим, потому что многие изделия фирмой отправлялись посылками, ценными наложенными платежами. Зачем отдавать перекупщику-оптовику то, что может продать сама фирма, имея дело непосредственно с покупателем? Например, мелкое дорогое художественное литье, те

же редкостные замки, различные наборы — столовые, хозяйственные, инструментальные, — мало ли предметов, дающих скорый оборот и значительно большую прибыль!

Нет, почту мы пройдем. Мы лучше посмотрим, как выглядят корпуса фабрики «Женский труд», получившей прозвище «Вдовый улей».

Фабрика сгруппировала около себя на опушке леса все близкое женщинам и необходимое им. Это, во-первых, то, о чем говорил и чем восхищался Лев Алексеевич Лучинин, — «терем-теремок». Расписанный веселыми красками под руководством художника Сверчкова, с множеством декоративных башенок, венчаемых петушками, он смотрелся сказочным, привлекательным, детским. Тут же, почти рядом с ним, примыкая к фабрике, красовался другой теремок, названный «Колыбель». Это дом О двумя отделениями: одно — для грудных младенцев, другое — для детей до двух, двух с половиною лет.

Кормящие матери имели возможность бывать у своих детей столько раз, сколько им это было необходимо. При сдельной работе работница становится хозяйкой своего времени. Овчаров предусмотрел все и даже хлебную лавку. Хлебы обычно в шальвинских домах пеклись в своих печах. Теперь это не (всем стало выгодно. Больше того — тут же появился «трапезный цех». Так почему-то называли заводскую столовую. Может быть, это монастырское приставное слово возвышало неслыханное для Шальву заведение?

Здесь женщины обедали, предъявляя свой заводский номер. В получку Касса делала всегда точный вычет, позволявший убедиться, что домашний обед стоит не дешевле.

Кроме булочной открыли «общий магазин». В нем было можно купить все необходимое из съестного и мелочей повседневной необходимости.

В эти нововведения не вёрил и сам Александр Филимонович Овчаров, увидев Плоды своих собственных затей, восторгаясь ими, продолжал сомневаться в существующем.

Кинематограф очень бы хорошо показал это в цветном фильме. И особенно обратил бы он внимание на дом с надписью «Новые моды». Французская портниха и русские швей-девушки. И опять же два, как и в больнице, как и в магазинах, отделения. Одно «номерное», только для работающих в фирме, другое — для всех. В швейной мастерской «Новые моды» могли сшить самое замысловатое, кто его пожелает заказать, но... плати. Отделение для всех мастерской «Новые моды» с лихвой покрывало удешевленную плату для «номерных» заказчиц.

Касса входила во вкус равновесия взаимностей, замахивалась на совсем далекое, невероятное, чем-то неудобное, неприличествующее, а внедрившись, прижившись, оно становилось обычным, нормальным, жизненно необходимым, без которого уже невозможно было представить существование.

Обо всем этом или о части из этого еще будет рассказано. Впереди так много страниц, лиц, встреч, а сейчас мы можем заняться оставленными нами в предыдущих главах.

Опережая всех других, мастер замочных дел Кузьма Завалишин первым просится на перо. Он уже сидит на его кончике и жаждет вписаться в наши строки. У него для этого есть основания.

Завалишин, как мы знаем, предстал пред нами обиженным и несчастным мастером. И все жалели его, а потом радовались вместе с ним успехам, пришедшим к

нему. Теперь же и старые дружки-приятели называли Кузьму куражливый индюком, ожадневшим зазнаем болвановичем.

А он глух и нем, сыт и пьян. В голове сквозняк, а в глазах своя фабрика.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никто в Шалой-Шальве не мог представить, что Кузьма Завалишин, став уважаемым Кузьмой Кондратьевичем, главным мастером нового самостоятельного замочного завода фирмы, примерный семьянин, отец двух хороших детей, заживший в большом «составном» доме, получающий хорошие проценты с замков-болтов, скопивший достаточно для того, чтобы внуки воспользовались накоплениями деда, возьмет и ломает все.

Во имя чего и для кого? Где здравый смысл, где логика? Неужели она подчинилась взбалмошной женщине, сбежавшей из монастыря, цинично пировавшей на пепелище дома и сгоревшего в нем мужа? Пусть плохого, отвратительного, но все же зачем ей, Зинаиде Сидоровне Гранилиной, слывшей страдальницей, понадобилась такая унижающая ее попойка на пепелище?

Что нужно было ей? Деньги? Она уже напратала их в чулки, а потом из них переотправила через тетку в банк. Она будет обладательницей и замурованных Гранилиным в фундамент дома золотых тысяч. Только она знает, где они. Зачем ей понадобилось совращать сорокалетнего Завалишина? Неужели она может поверить сумасбродной мечте о своем заводе, который сумеет противостоять заводу фирмы Акинфиных?

Пусть так думала она. Пусть! Но как Завалишин, знающий силу Платона, возможности фирмы, ее репутацию на рынке, понявший механику сбыта, как он мог поверить мечте стать миллионером?

Жил бы и жил Завалишин теми нормами и по тем законам, как и другие подобные ему.

Жила бы и жила блудливая Зинаида Гранилина, приблизив к себе тихого младшего приказчика Сеню, которого она совратила в первый год своего замужества. Сеня был бы покорен ей. Он так мало хотел. Быть сытым, одетым и помогать матери и своей младшей сестре. Зинаида могла ввести его в дом. Женить на себе. И была бы та жизнь, которую она никогда не найдет и ей никто ее не создаст.

Все началось с того, что Завалишин пришел к Платону и заявил:

— Желательно, Лукич, покумекать с тобой насчет того, что ты с Родькой Скуратовым обзамочил меня так, что по первости я этого и не уразумел.

— Извольте, Кузьма Кондратьевич, я буду рад выслушать вас, но для этого вам прежде необходимо выйти за дверь, снять там ваш картуз, застегнуть требующее этого, спросить дежурного техника, когда я могу быть к вашим услугам, или спросить об этом меня по телефону и до прихода ко мне постараться освободиться от стойких запахов перегара, войдя же, сказать «здравствуйте» и, дождавшись, когда я вас любезнейше усажу в кресло, начать «кумекать об обзамочивании».

— Х-хо! Видал миндал! С каких днѣв ты заегопревосходительствовался, зашульжинел?..

— С детства. Так было всегда, еы просто забыли, Кузьма Кондратьевич, о взаимности уважения. Идите же и всегда закрывайте за собою дверь, если она до этого была закрыта...

Кузьма оробел, ушел и появился на другой день. Появился в светлой нарядной тройке, в брюках «на улицу», с намазанными репейным маслом волосами, при золотых часах и при трости с позолоченным набалдашником, какие штамповали теперь по предложению гравера Уланова. Войдя, он сказал:

— Гутенбайте, Лукич.

Платон не мог не улыбнуться и ответил:

— Айдуюдуйте, Кузьма Кондратьевич. Пожалуйста, садитесь. Мне известно, зачем вы пришли.

— Откуль?

— Об этом знают и шальвинские шавки. Одна из них подробно налаяла о ваших намерениях. Поэтому рекомендую по старой дружбе: прежде чем сделать глупость, еще раз подумайте.

— Глупость, ты говоришь?

— Не «ты», а «вы» говорите, — поправил Платон. — Собирающемуся стать фабрикантом необходимо научиться хотя бы немного умению разговаривать с себе равными.

— Пушай за меня мои новые замки разговаривают. Они и по-загранишному, как ты знаешь, могут баять. А моя воля твердая. Это что же? Пять копеек с замка? Неужто это стоящая цена?

— Нет, Кузьма Кондратьевич, не стоящая. Замок усовершенствован кнопками. Ему придана беззвучность при наборе дисков. Без нее он бы не мог заслужить такое повсеместное признание и у нас, и за границей. Так что вашего в замке остается только его внешность в виде болта.

— А номерные шайбы чьи?

— Диски с номерами и буквами начали применяться до вашего появления на свет во многих странах. Поэтому за ваше изобретение удобной формы замка в виде болта отчисление по копейке с болта будет более чем высоким...

Завалишин вскочил и замахал руками:

— Я Кузьма, да не Кузьма Гранилин... Отбираю все свои замки. Я буду производить их сам. Я сам за три года миллионщиком стану!

— Производите, Кузьма Кондратьевич. Я буду рад видеть вас миллионером.

— А вам не дам производить...

— Это ваше право, Кузьма Кондратьевич. Мы же воспользуемся своими нотариально закрепленными правами. Гуд бай, Кузьма Кондратьевич. «Гуд бай», говорят англичане не при встрече, а при расставании. Запомните это. Мы с вами расстаемся. Все остальное завершите с Овчаровым. Гуд бай! — повторил Платон. — Меня ждут женщины на новой фабрике. У них сегодня в обеденный час празднуются именины первой в Шальве женщины-работницы, положившей начало их фабрике, Марфы Ивановны Логиновой. Могли бы поздравить и вы ее с днем ангела и что-то подарить...

— За что?

— Хотя бы за то, что она помогла избавиться Зинаиде Сидоровне от монашества и ее деспота мужа Кузьмы. Какое совпадение... Кузьмы Тарасовича Гранилина... Прощайте... Если вы когда-то будете нуждаться в куске хлеба и работе, я прикажу принять вас на должность слесаря...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кузьма Завалишин получил положенное по нотариальным договорам и проценты за свои замки. Все расчеты теперь велись через Кассу. По договору Кузьма должен был освободить и передать Кассе свой двухэтажный четырехкомнатный «составной» дом, какие продавались е обязательной рассрочкой на десять — двенадцать лет.

Десятник-обмерщик и оценщик установил степень износа дома. Установил добросовестно и так же добросовестно оценил возведенные Завалишиным надворные постройки и выплату за них. И когда это было сделано, к Овчарову прибежала жена Кузьмы, милостивая русоволосая, умеренно полная женщина, выглядевшая лет под тридцать. Она заголосила:

— Куда ж мы теперь?.. Он кинул меня с двумя ребятами, а сам сбёг к Зинке Гранилиной... Ёсть ли крест на тебе, Ляксандр Филимонович?

— Ёсть, Ольга Федоровна, и тяжелей крест — распутывать плутни неблагодарных мужевей и заботиться о вдовах и сиротах при живых отцах... Страховые деньги ему не выдадут. Будут выдавать тебе как «пензион», а ты, когда придешь в себя, поступишь на «Женский труд».

— Да кем же, когда я никем не рабливала...

— Все не рабливали, потом больше мужиков стали зарабатывать. Вступишь в Кассу, получишь в рассрочку новый дом. Поменьше. Куда тебе такая махина о двух этажах...

— Это так, Ляксандр Филимонович. Только то прими во внимание: куды мой Кузька денется, когда его Зинка до ниточки оберет и коленком под стульное место на мороз?.. У нее же постоянный молодой приказчик ёсть. На кой ей Кузьма в свои-то сорок два. Для замков только и нужен... А когда он ей раззамочит все замки, она свой бесключный замок напрочно, наглухо замкнет для него.

Ольга Федоровна Завалишина поднаторела в едкой ругани. Ее очень подробно записал Вениамин Викторович Строганов в особой клеенчатой общей тетради, озаглавленной «Шальвинская женская брань». Она также представляет филологический интерес, но не в наших главах.

Приведенные сцены уже поросли двумя покровами весенних трав. Теперь Кузьма Кондратьевич заводчик, значащийся на вывеске:

ПАРОВАЯ ФАБРИКА
ПАТЕНТОВАННЫХ ЗАМКОВ
ЗИНАИДЫ ГРАНИЛИНОЙ
И КУЗЬМЫ ЗАВАЛИШИНА

Построил Кузьма на старом фундаменте новый дом лучше прежнего. Подновил старые мастерские, назвал их цехами. Раздобыл станки. Учредил свою Кассу взаимного кредита. Объявил свое равновесие. Раздобыл в Екатеринбурге гравера и мастера штампов. Там же попросил нарисовать фабричный знак: коромысло и два ведра, а на ведрах по букве — «Г» и «З». Знай наших. Мужик сер, да волка съел. Жди «трубы», зазнай, своим замкам, такого, как у Кузьмы Кондратьевича, никто не придумает. И «пакент запакетован» нотариусом с печатью на чертеже. Сами теперь с усами.

У Завалишина появился новый замок — «хитрый болт». Он с виду был очень прост, проще того, что изготовлялся в Шальве многими тысячами ШТУК. Это тот же

болт, но вместо запорной головки обычная шестигранная гайка. В каждой грани гайки ввернуты по шесть винтов с плоскими головками. Секрет заключался в том, что владелец замка должен повернуть головки шесть из тридцати шести винтов в нужные стороны и на указанное число полуоборотов в приложении к замку, запечатанном в конверте под сургучной печатью. И каждый замок открывался по-разному. «И опосля того, как вы все это сделаете, согласно сего наставления свинтите запорную гайку по ходу солнышка, и секретный замок откроется», — так сообщалось покупателю в руководстве. И замок пошел. Кто не падок на новинку, если при этом она стоит дешево.

— Готовь, Зинаида свет Сидоровна, мошну! Огребай бабки! Покупай самоходную карету на резиновых дутиках.

Появился первый автомобиль в Шало-Шальвинской округе. Разговор-у-у-у... Вот тебе и Зинка Гранилина, схимница, пропадающая вдова! Не наглядятся люди на самоходную диковину. Говорят, что и сорок верст в час для этого лакового рысака не ах какая курьерскость. Любой поезд обставит, коли б дорога. А дорог нет. Поэтому приходится на нем ездить с парой коней позади да тремя рабочими в коробке. Чуть засел моторный экипаж — кони вытащат, и дальше гони версту или две, до новой спотычки.

Первым делом Гранилина сгоняла в Шальву. По всем шальвинским улицам только пыль столбом. Лошади дыбом, а иные вовсе из оглобель выскакивают. Собаки под колеса норовят. Двух придавили. Кучер лих и молод. Питерский механик. Сто рублей в месяц. И есть за что. Одни брови его этого стоят, под бровями два карих чертеночка, которым нет цены. И тем хороша моторная карета, что при ней кожаная широкая постель. Укачает. Или что... Мало ли чего случается в пути... Скажем, устала, можно и вздремнуть или переночевать на вольном воздухе. Удобный экипаж!

Раз восемь Гранилина проехала подле ворот акинфинского дворца.

Приехав в Шальву, Зинаида Сидоровна также хотела дать понять, как надо ее понимать. И то, что оставила на улице двух мертвых собак, одна из которых до того, как отдать собачьему богу свою душу, истошно визжала и судорожно извивалась, это еще стерпеть можно. Собаки ничьи, господни. За них некому будет заявлять уряднику.

На последний прокат она вздумала с громкой пикалкой проехать мимо бывшего дома Кузьмы, а в это время выбежал маленький Архипчик, сынок Ольги Федоровны Завалишиной, и мальчик едва не попал под колесо. Спасли тормоза и резкий, крутой поворот. Не случись этого, тогда бы самосуд. Тут же, на улице...

Все же без наказания дело не обошлось. Стекла в самоходной карете повыбили. Не все. Только три. И голову кирпичом проломил. Ей. Мотористу фуражку сбили. Тоже кирпичом. После этого кирпича он сказал:

— За тыщу рублей больше сюда я тебя не повезу, — и какие-то слова добавил еще. Видать, питерские, но тоже подходящие.

Так пересказывалось в молве о первом появлении автомобиля в Шалой-Шальве

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы оставили у разбитого корыта Антипа Сократовича Потакова. У него за это время также произошли семейные изменения.

Он, потеряв завод, смытый водой, потерял и жену, смытую иной, более сильной волной. Мадам Потакова, получив небольшое, но значительное наследство после

смерти бездетной купчихи-тетки, не захотела расстаться с ним ради восстановления завода, в прибыльность которого она не верила.

— Ни один завод, мешающий Акинфину, не принесет пользы, если он не войдет в равновесие фирмы Акинфиных и не будет подвластен ей.

Потаков назвал жену ослицей с куриными мозгами, а она давно ждала повода для разрыва. Ждал его и гувернер. И, дождавшись его, они принялись ждать возможности воспользоваться этим поводом практически.

В один из дней Антип Сократович отправился к Молохову умолять дать деньги под векселя. По возвращении он нашел записку, написанную женой:

«Теперь у тебя не осталось никаких мозгов. Твоя голова отныне пуста, как пуст твой дом».

Антип Сократович остался в обществе шаров из слоновой кости. В отчаянии он принялся играть на бильярде, чтобы не сойти с того, что неверной женой не предполагалось в его голове. Играя с самим собой разными киями, он каждый раз загадывал на чет и нечет. Если выигрываемые партии кем-то из двух, которыми был он сам, будут составлять четное число очков, то провидение покарает его жену. И несмотря на то, что бильярдная ворожба не обнадеживала Антипа Сократовича, скоротечная чахотка оборвала жизнь Потаковой.

Наследство Потаковой перешло ее сыну. А сын вместе с наследством перешел к отцу. Потаков снова стал состоятельным человеком. И даже дважды.

Дальнейшее произошло так же быстро и фатально.

Неожиданно талант игры на бильярде обнаружила Кэт Шульжина. Она, вернувшись из Москвы, где освободилась от своей маленькой дочери Алечки при покровительстве полюбившей крошку старой девы, сестры Алисы Шульжиной, поселилась у отца. После десяти уроков, преподанных Антипом Сократовичем, она шар за шаром отправляла в лузу, и как-то нечаянно в одной из них оказался обучавший ее высокому классу игры.

— Следует ли, Кэтти, — так ему казалось звучнее называть свой огнедействующий белокурый вулкан, — следует ли нам дожидаться конца траура?

Поднаторевшая в игре, Кэт, освоившая и сложнейший из ударов, в бильярдном просторечии именуемый «от двух бортов среднюю», именно прибегла к нему.

— Анти, — сказала она ему, — если я эту «однашку» загоню в середку, тогда не надо дожидаться конца траура... Загадали, Анти?

— Да! Пусть ответят нам шары!

— Пусть!

Кэт долго мелила кий, еще дольше целилась. Затем сильный удар ее полных и крепких рук, и шар не попал по назначению. Зато, отскочив от противоположного борта, он точно попал в среднюю лузу по ее сторону.

Потаков побледнел и перекрестился.

— Это, Кэтти, знамение божие.

Он вынул из лузы шар и поцеловал его в черную цифру «I».

— Больше не будем испытывать судьбу и терпение всевышнего.

Бильярд мог бы продолжить эту главу, но зачем нам неудобные подробности, без которых глава сама по себе завершилась логически и стилистически.

Остается лишь дополнить ее маленьким постскриптомом.

Шульжины переехали к дочери и составили одну семью. Теперь для Феофаца Григорьевича были основания вкладывать свои деньги в семейный завод. Деньги никуда не денутся. Начавший лишаться рассудка неизбежно потеряет его, и завод будет дочерин.

Молохову, изнемогающему под бременем металла, нужно было найти ему применение. Не гасить же печи, не закрывать же рудники. И он вошел в пай по воскрешению завода Потаковых — Шульжиных.

Теперь этот завод начал выпускать первые изделия, а Потаков занялся первыми лечениями переутомленной столькими потрясениями головы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В своих тетрадях Вениамин Викторович чрезмерно скрупулезно рассказывал о заводчиках, об их сторонах жизни, о технике заводов, нововведениях в Шалой-Шальве, о быте рабочих, о потрясении основ старых распорядков, сохраняющихся на Урале не в пример южной промышленности Российской империи. Строганов очень мало, вскользь, касался революционной деятельности тайных кружков, революционных организаций и подполья. Возможно, эта скрытая деятельность была неизвестна ему, но допустимо и другое, о чем он пишет в тоненькой тетрадке «Вне поля зрения» так:

«В самой Шалой-Шальве, в заводах Акинфиных, видимо, не было почвы и условий для возникновения и роста противоборствующих сил. Платон Акинфин и все осуществлявшие его замыслы исключали недовольство нарастающим улучшением благополучий тех, кто работал и служил в фирме Акинфиных. На других же окрестных, ближних и дальних, время от времени давали себя знать уцелевшие после подавления вооруженных вспышек, бунтов и захвата власти в некоторых заводах. Они искусно скрывались, как и маленькая социал-демократическая организация в Шальве. Ее вожаком был Савелий Рождественский, преемник изумительного старика мастера по тонкому и точному литью по прозвищу Молчун».

Платон Акинфин высвободил из-под ареста Рождественского, доказав при помощи Штильмейстера непричастность к революционерам нужнейшего мастера, своего сверстника, учившегося вместе с ним в домашней школе, созданной в свое время Лукой Фомичом Акинфиным.

В Шальве также носились слухи, что и знаменитый гравер, отсидевший за фальшивые пяточки в пермской тюрьме, набрался там революционных идей и потом вошел в контакт с Рождественским. Слышал об этом и Платон Акинфин, не придавая слухам никакого значения и даже, кажется, сочувствуя этому тайному кружку, борвавшемуся за свержение ненавистного монархического строя, мешавшего установлению «взаимного сословного и национального равновесия в России».

Строганов, может быть, знал больше, чем написал, боясь, что его тетради могут стать достоянием опасных глаз. По другим, более точным сведениям, в Шальве была нелегальная социал-демократическая группа большевистского направления и ею действительно руководил Савелий Рождественский, прозванный «Саваоф Рождество». В Шальве, как и во многих заводах Урала, давали прозвища, укорачивающие фамилии, а также кратко определяющие тех, кому они давались.

Рождественский и его группа не возникли сами собой. Ее создал видный организатор нелегальных организаций, большевик по партийной кличке «Адриан». Он

приехал в Шальву с новым, безупречно изготовленным паспортом на фамилию Молоканова Якова Самсоновича. Он назначил встречу Рождественскому на станции, куда Савелий частенько наведывался к брату, служившему там телеграфистом и выполняющему обязанности связного. Кого с кем — он не интересовался. Его дело было принять, молчать и передать Савелию полученное.

Идя короткой зимней дорогой, Адриан и Савелий могли разговаривать, не опасаясь стать опознанными. Полиция теперь работала тоньше и хитрее. Но что ей могло прийти в голову, если бы кто-то из ее «маскерадчиков» встретил неизвестного человека в пенсне и с хорошей двустволочкой за плечами? В эти места, богатые боровой дичью, наезжали частенько любители до нее из разных мест. И что же в том, что и отсидевший свое Савка Рождественский идет с этим интеллигентом с чеховским пенсне на его барском носу с горбинкой? Ведь на плече Савки висит тоже такая же двуствольная «бельгиечка». Кому может прийти в голову, что эти ружья были опознавательными знаками для того и другого, а их номера — подтверждением этого секретного опознавания.

Полиция тонка, а подпольщики еще тоньше. Все обоснованно. Встретились охотник с охотником, разговорились и пошли искать «счастливое боровое перо» по безлюдной, топкой летом, дровяной зимней дороге, где теперь не счесть оперившейся лакомой снеди.

Все обстоятельно, и все на виду, и никакой конспирации в этом заподозрить нельзя и самому дотошному сыскнику. Пока Адриан и Рождественский шли болотистым редколесьем, разговор не переступал пределов красот природы, богатств уральской земли, необходимости проложить ветку, соединяющую Шальву с большой железнодорожной магистралью.

— Начинают уже, — сообщил Савелий Рождественский. — Платон Лукич скупил пустопородные отвалы и доменный шлак у Молохова. Он чуть левее. Покажу.

Темный человек. Рад-радешенек получить лишний рубль за бросовый рудный пустяк, не понимая того, что продал отличней балласт для насыпей и выручил за это смерть.

— То есть?

— Ну как же, господин Молоканов, — продолжал таиться Рождественский. — Железнодорожная ветка откроет путь дешевому и хорошему тагильскому и гороблагодатскому чугуну и закроет дорогу молоховской аховой чугуни.

— А разве этот самый Молохов не будет пользоваться веткой? — спросил Адриан.

— Вернее, что нет. А если и будет, то по какой цене? Не вскочит ли ему железная дорога вдвое дороже гужевой? Акинфин на десять лет вперед видит. Ветка-то ведь будет его. Такая же собственная, как круговая шальвинская узкоколейка. Увидите, какова наша Шальва стала теперь...

Рождественский умолк, услышав голоса. Это были геодезисты-изыскатели. Их вел самым коротким путем Микитов. Тот самый «Зовут-зовутка», который подсказал Платону первую узкоколейку, и теперь, став любимцем хозяина, Микитов, подучившись, подначитавшись, назначен доверенным лицом по дорожному строительству.

До этого работавший землекопом на железной дороге, Микитов, от природы глазастый и ушастый человек, познал азы прокладки дорог.

— Вот, — указывал он изыскателям, — не виляйте от озера, оно заливное,

мелкое. Мы его спустим в речку через трубу и прокоп. Ставьте вешки прямо в воду. Всякое вилянье, — пояснял он, — скажется дорогой потерей на объездах.

Махнув Рождественскому еловой веткой и попутно отмахнувшись ей от комаров, Микитов крикнул:

— Здорово живем... Ни пуха ни пера! — и занялся своим делом.

Дорога пошла сосняком. Голоногие высокие сосны позволяли далеко видеть меж их стволов. Шли уже не по зимнику, а по засечкам, заменившим изыскателям вешки нового укороченного пути будущей ветки.

— Теперь можно говорить о чем угодно, товарищ Адриан.

И разговор начался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Что же вы думаете дальше? — спросил Молоканов.

— А что думать? Думай не думай, товарищ Адриан, а они свое дело делают...

— Нужно разоблачать.

— Кого?

— И Овчарова, и молодого Акинфина.

— А как?

— Неужели вам не ясно, что Акинфин своей «заботой» о рабочих прикрывает усиление эксплуатации и наживы?

— Я так же думаю, а доказать этого не могу.

— Ну как же не можешь? Разве они, давая крохи, умиляя ими доверчивых людей, не выжимают из них под прикрытием своей «доброты» огромные прибыли? Акинфин вынужден притворяться добрячком.

— Может быть. Но не Овчаров. Он гроша ломаного не получает, кроме маленького жалованья. У него это все от этого, ну, что ли, как говорят, от святости души.

— Допустим, — Адриан поправил сползающее пенсне, — допустим, что это правда. Такие бывают и есть... Но на кого работает их святость? На капитализм. В данном случае — на Акинфина.

— Не спорю. Это так и есть. Но у них козыри, а у нас что? У них — дела, у нас — слова. Скажете, что больница на капитализм работает! Работает в конечном счете, но ведь там лечат рабочих. И хорошо лечат. Тронь больницу — тебя самого в нее упекут в покалеченном виде. Доктора на дом ездят — тоже «блезир», но они ездят и лечат. Лечат, вылечивают. У меня перелом руки был. Два месяца — и как новенькая рука.

— А сколько безвозвратно переломанных рук и ног!

— Тысячи, но не на наших заводах. На наших заводах и сто агитаторов их не переселят. А нас семеро. И, того гляди, будет шестеро.

— А куда же девается седьмой?

— Куда? В акинфинское «равновесие» уйдет. В гармонию единства взаимностей. Теперь он ее по-новому как-то называет...

— Как бы он ни называл свою гармонию, она лжива, буржуазна, антинародна. Это самооборонительная капиталистическая сладкая теория приукрашенного порабощения...

— Я думаю так же, товарищ Адриан, в других словах, но так же... Я думаю, а он делает — дома в рассрочку строит.

— Не дома, а приманочные кандалы, которые добровольно надевают ослепленные труженики. Это тонкие, но крепкие цепи, привязывающие рабочего к заводу. И это нужно неторопливо, ненавязчиво разъяснять...

— Пробовал — и сам в рассрочку дом купил.

— Купили? Зачем?

— В перестроенной старой бане жить стало холодно. У меня двое детей, товарищ Адриан. Сколько могу, проживу, хоть год, да мой. Все же в тепле. И собираться будет где. То на именины, то просто так, в карты поиграть... Мало ли что придумать можно...

— Вы правы, я не осуждаю вас.

— А как мне осудить других? Сказать — кандалы. Цепь! Могут и не поверить! Да и не поверят. Вдвое больший акинфинский «составной» дом стоит — вдвое дешевле самодельного! И в рассрочку... Десять — пятнадцать процентов в месяц из заработка. Я, хорошо зарабатывающий, плачу семь-восемь рублей в месяц.

— Но вы привязаны этим на многие годы к его заводам.

— Я-то, скажем нет... А другие не боятся этого. Хотят даже такой привязки. Такого, извините за слово, «равновесия взаимностей». Держатся за работу и рвутся к нему. Касса дает пенсию. Оплачивает гулевые дни по болезни. Дешевый печеный хлеб... Рассроченная корова... Даровой покос... Удешевленный билет в цирк по заводскому номеру всей семье... Дармовая плата за шитье. И при швейной мастерской «Новые моды» опять же номерной магазин одежды, обужи и всякой женской снасти. Так в Шальве называют это все. А главное — большой сделный рубль. Открой ворота пришлым рабочим, давно бы на соседних заводах пусто было. А он не берет. Нравственная причина для Платона Акинфина первый нравственный закон.

— Да бог с вами, товарищ Рождественский, какие же могут быть у них нравственные законы?

— А у Акинфина, выходит, они есть. Неуволенного не берет, будь он черта съевшим в своем деле.

— Не увлекайтесь, друг мой... Давайте присядем. У меня сердце и легкие. Вот тут. — Адриан уселся на пень и пригласил Савелия на другой. — Хитрая это все, сахарная и паточная, обманная, показная нравственность.

— Разве я спорю? Только, товарищ Адриан, мы не должны закрывать глаза, он — сила! Сахарная, или паточная, или какая-то еще, но — сила. И мы это должны не просто принять во внимание, а понять. Глубоко понять. Он далеко, товарищ Адриан, заглядывает. Не простой это капиталист, товарищ Адриан, а идейно-политический капиталист. Думаете, он революции боится? Нет!

— А откуда вы знаете?

— Я-то знаю. И знаю не заочно, как, скажем, вы, а лично. И, можно сказать, запросто. Мы же вместе росли. Он ничего не таит. Может, делает вид, а вида-то этого не видно.

— И что же он говорит? О чем?

— Ну, например, он говорит, что революционеров преследовать не только бессмысленно, а и вредно. «Это их, говорит, ожесточает и вызывает к ним сочувствие других. Пусть себе живут и открыто говорят обо всем. Мне лично, — говорит Акинфин, — они не вредят, а помогают. Дают как бы хорошие советы».

— Каким образом?

— Самым простым. Листовка как-то появилась. Не иначе, что екатеринбургская.

О бесправии женщин. Он сам тогда мне показывал ее. И читал. И хвалил.

— Хвалил?!

— Хвалил и говорил, как несправедливо в самом деле лишают женщину и тех немногих прав, которые предоставляются мужчине. «Женщина, — говорит он, — у нас раба. И даже в высших сословиях раба. Особенно она раба в низших кругах. Раба мужа, детей, и даже в оплате тех работ, которые ей разрешены обстоятельствами, тоже получает по-рабьи вдвое и втрое меньше мужчины». Это все он, а не я, товарищ Адриан. «Проходная завода закрыта Для нее. Она заперта накрепко дурацким предрассудком, бытующим в рабочей среде. У нас не принято замужней женщине становиться к станку. А она могла бы...» — «А дети с кем?» — спросил я тогда его. «А дети, — отвечает он, — могут день проводить с какой-то из матёрей...» — «Где?» — спрашиваю я. А он: «Разве трудно, говорит, построить большой дом, где дети будут в те часы, когда мать на работе?»

— Это те же сахарные слова. Это заигрывание.

— Я так и подумал, товарищ Адриан. Так бы и теперь думал, если бы он не построил «терем-теремок».

— Какой «терем-теремок»?

— Ребячий. И плата грош с полушкой. Вот вам и прокламация о бесправии женщин! Это только лишь один вывод, который он сделал.

— Рассказывайте, рассказывайте...

— Есть и второй. Он спросил меня: отпустил ли бы я свою жену при таком «тереме-теремке» в цех?

— И что же вы?

— Ответил так, как есть. «Пустил бы, говорю, да оскорбительного мужичьего озорства боюсь, начиная с матерщины...» А он мне: «И я бы на твоём месте, боялся этого... — И тут же спросил: — А что, если бы кто-то, скажем, я, задумал открыть женский завод легких работ?»

— Интересно! И что же вы?

— Опять тогда я то, что думал, то и сказал: «В таком случае, говорю, желающих работать за половину цены нашлось бы хоть отбавляй». А он мне: «Этого-то я и боюсь. Поэтому на женский завод нужно будет принимать черед нашу Кассу, через Александра Филимоновича. В первую очередь вдов. В первую! — говорит. И палец так же, как я, поднял. — Во вторую — не вышедших замуж..., — Два пальца поднял. — То есть, значит, старых дев. Й, в-третьих, тех, кто хочет, кто должен разойтись со своим мужем и не может, боится бедности, нищеты, Вот три первых категории женщин, которые должны были приниматься в первую очередь... А что касается оплаты, — сказал он, — почему же работающая сдельно женщина за такую же деталь должна получать меньше мужчины? Почему?» Словом, сходил всеми четырьмя тузами — и все козырные.

— И он, вы полагаете, построит такой завод для женщин?

— Построит? Да разве я вам не докладывал? Завод «Женский труд» давно дымит! И не дымит! Он же без труб, а на электричестве.

Адриан поднялся с пня. Протер пенсне и сказал:

— Это страшный человек!

— Мефистофель рядом с ним, товарищ Адриан, опера оперой. Вам бы лично с ним встретиться и поговорить, тогда понятнее было, как нам дальше свою работу вести.

— Для меня это невозможно.

— Почему?

— Нужна причина и убедительная причина для встречи.

— Причин я вам, товарищ Адриан, не сходя с места, дюжину придумаю. От газеты приехали — первая. Мало ли газет... Хотите попробовать себя агентом по продаже хоть тех же замков... Хотите продать новый способ золочения деталей... У меня он есть. Поймете и, как свой, продадите... Он на всякого человека падок. Лишь бы польза от этого человека была. Школу можете предложить создать ему или в учителя напроситься. Он спит и видит новую школу в духе того же «гармонического примирения непримиримостей». Это тоже те же штаны, только покрой другой.

— А в самом деле, почему бы и не попробовать... — сказал Адриан и задумался.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Золотая подкова, подаренная Родионом Скуратовым Платону после его возвращения из Лондона, пролежав несколько лет на письменном столе, неожиданно выстрелила золотым фейерверком.

Первый ее триумф был, когда она превратилась в гранитную символическую арку при въезде в город.

Вторая, не менее триумфальная метаморфоза была превращением ее в гору золотых рублей. Началось это превращение с визита в Шальву губернатора, пожелавшего посмотреть плоды сказочного равновесия и заодно повидаться с Лучининым. Они гостили в то лето у Акинфиных.

Разглядывая подкову на письменном столе, губернатор, любуясь ею, сказал:

— Хорошо, если бы их было четыре. Я бы подковал свою выездную лошадь золотыми подковами, и пермские богачи посходили бы с ума от зависти.

Платон подумал тогда, что губернатор хочет получить золотые подковы не для коня, а для себя. Для подковывания своего расточительства. Губернатор разгадал подозрения Акинфина.

— Милейший Платон Лукич, напрасно вашу голову посетили недостойные подозрения. Золотые подношения я принимаю только от золотопромышленников. С вас же надо получать стальные подарки...

— Бог мой! Ваше превосходительство, — перебил губернатора Платон, — вы подарили мне золотую идею, за которую и сто подков из чистого золота будут мизерным гонораром изобретателю. И вам, ваше превосходительство, будут презентованы первые десять скатов стальных позолоченных подков. Вы подкуете коней всей губернаторской конюшни, а я не успею выполнять заказы от пермских и других завистливых богачей.

С этого и началась новая статья шальных доходов.

Подковы давно уже перешли с наковальни на пресс. Их штамповали в горячем виде, в три приема, десяти размеров. И для битюгов. И для рабочих коней. Для рысаков. Для мелких лошадок. Кому что...

На четвертой странице газеты «Шалая-Шальва» подробно описывались и назывались по номерам подковы. Составитель рекламы доказательно утверждал, как невыгодно кузнецам изготавливать самим подковы и как разумно пользоваться готовыми, красивыми, долго не изнашиваемыми подковами высокой прочности фирмы «Акинфин и сыновья».

Убедительное, доказательное и выгодное просветляет и темные души тысяч кузнецов-одиночек, подковывающих миллионы лошадей империи. И самый заскорузлый и жадный из них понимал, что своя подкова обходится дорого. Не дешевле обходилась и покупная подкова, которую так же делали в больших кузницах, теми же простыми способами, что и в малых. И делали случайных размеров, а тут в прейскуранте фирмы Акинфиных на каждом листке мерные подковы были представлены в их точную величину, каждая под своим номером.

Чудо! Смотри, читай и понимай, если не дурак. Прямой расчет. Прямая выгода! А плата за ковку коня та же. Даже можно брать дороже, так как подковы игрушки игрушками.

Подковы Акинфиных, дав тысячи и тысячи рублей, переходили в новую, золотую фазу. Платон и неразлучный с ним Скуратов призвали граверов и мастеров, изготавливающих штампы, решили посоветоваться, как можно добиться наибольшего блеска подковы без дополнительной обработки ее.

Такой способ нашелся. Мастера вскоре стали пробовать так называемый «зеркальный обжим» видимых, внешних сторон подковы. И это им удалось. После незначительной дошлифовки на станке подкова сверкала. Такую подкову легко было позолотить.

Первые скаты рекламных комплектов отправлены посылками вместе с подробным руководством и пятой подковой, «примерочной».

Золотые подковы руководство запрещало нагревать, что вызвало бы их потемнение. Пятая же, такая же, как первые четыре, прикладываясь к копыту лошади в раскаленном виде, выжигала в нем точное место для прикрепления на гвозди золотых подков.

Ура! Дело в шляпе. Мастерам новые награды, а фирме... Кто знает, сколько фирма получит золота за позолоченные подковы? Об этом знал только Флегонт Борисович Потоскуев, ставший теперь модником, хлебосольным хозяином, представительным господином, едущим в своей карете и достраивающим свой дом в верховьях Шалой с видом на реку и с маленькой гаванью для быстроходного мотобота.

В тот час, когда на основе больших чисел статистической теории вероятностей Потоскуев строил предположения прибылей, которые пойдут на строительство железнодорожной ветки и под которые можно смело брать деньги под векселя, Платону Лукичу доложил дежурный техник:

— К вам журналист из Санкт-Петербурга.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В конторку, служившую кабинетом Платона, вошел черноволосый, с маленькой бородкой, хорошо и скромно одетый господин в пенсне.

Он отрекомендовался свободным журналистом столичной печати и назвался Яковом Самсоновичем Молокановым.

— Извините, пожалуйста, Платон Лукич, — сказал вошедший. — Я проездом. Притом инкогнито. Не поймите дурно. Мне хочется оградить себя в моих кругах от возможного обвинения меня в активном либерализме, переходящем в недозволенное...

— Пожалуйста, пожалуйста. Как вам угодно и кем вам угодно, тем я и посчитаю

вас. Я всегда и всем рад служить, чем могу.

Платон оживленно поздоровался, предложил стул. Он в самом деле был рад новому человеку, тем более что хорошие перспективы золотых подков вызвали отличное настроение. И что немаловажно — отрекомендовавшийся журналистом, может быть, в самом деле журналист. А всякая новая публикация — новая слава фирмы и новая популярность идеи социального равновесия.

— Заранее благодарю вас. Я намереваюсь выступить еще не знаю где и в каком журнале, может быть, в немецком... Я владею этим языком. Но не владею умением взять быка за рога...

— Это трудно, тем более если он безрогий! — Платон весело расхохотался. — Оказывается, и я пытаюсь острить... Вы проще, а не по-профессорски. Не Оксфорд же, а Шальва.

— Как вы умеете располагать к себе...

— Меня этому обучали с детства и завершили курс умения располагать к себе в Англии.

— Вы там учились, Платон Лукич?

— И учился, и учусь. Есть чему... Так, пожалуйста, пожалуйста! Я перебил вас...

— Это была очень хорошая и приятная перебивка, Я хочу, я смею надеяться написать о социально-экономических и технических преобразованиях на Шало-Шальвинских заводах. Спрашиваю прямо — это возможно?

— А почему же нет? Разве что-то от кого-то скрывается? Все и всё на виду, кроме разве меня.

— Вас? Вы, как я слышал и как я вижу, такой открытый человек.

— Я тоже слышал об этом, Яков Самсонович, и некоторое время и считал себя таким. Но вскоре убедился, что я иногда сам не понимаю себя и не всегда знаю, каков я. Так что мне трудно поверить, что люди знают меня лучше меня. А себя не знаю не потому, что не хочу этого, а не могу. И как возможно, когда я в беспрестанном поиске?

— Чего, Платон Лукич?

— Да черт его знает чего... Лучшего. Нового. А оно всегда находится с ищущим в состоянии конфликта. Внутри себя. Я, кажется, очень плохо выражаю свои мысли?

— Прекрасно, Платон Лукич.

— Со мной не нужно быть вежливым. Вежливость для меня всегда выглядит обидным этикетом. Спрашивайте, и, пожалуйста, прямее.

— Ваши преобразования не существуют и не могут существовать вне идей и, в частности, лаконичнейше сформулированной теории «гармонического примирения непримиримостей».

— Да, я ее называл так. Потом решил уточнить. Заменяю «гармоническим единством взаимностей». То есть гармонией взаимопольности людей. Тоже неточно. Нашел более точное выражение: «единство полярностей». Хотелось назвать «двуединство противоположностей». Но это где-то было... А потом «двуединство» какое-то библейское, старомодное слово.

— Разве в названии дело, Платон Лукич?

— Разумеется, нет, Яков Самсонович. Но я инженер, поэтому всегда хочу точных формулировок. Кратчайших. А их трудно найти. Помогите — я буду благодарен.

— Может быть, и помогу. Скажите, Платон Лукич, эта ваша теория монополярна?

— Какая, к черту, монополярна! В нашей стране ее нет и на водку. В тридцати

верстах отсюда работает преотличный винокуренный завод на колесах. И, доложу вам, поставляют такую водку, что от казенной не отличит и сама казна. Всё — и печать, и этикетка. Зарабатывают огромные деньги. Разумеется, по их масштабам. По масштабам этих мазуриков. Я не запечатываю свое «вино» без постоянной этикетки. Пожалуйста, «пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие проливаемая». — Акинфин снова громко захохотал.

— Вы как священник, Платон Лукич.

— Я и есть в какой-то своей части поп. Новейшего завета. Он еще не наступил. Нужна еще одна встряска, после которой непримиримые стороны поймут, что им необходимо искать и переходить к взаимному гармоническому единству непримиримостей. Видите, как плохо, когда нет точной формулы. Но вы, надеюсь, понимаете меня...

— Всецело! Но мне нужно понять: как достичь этой гармонии? Вам не приходило в голову, что лучший способ примирения непримиримостей — это уничтожение того, что порождает эту непримиримость?

Платон Лукич насторожился. А вдруг перед ним тщательно притворившийся провокатор? И он решил попридержать язык и продолжить разговор нейтральнее и неуязвимее. Губернатор уже дважды предупреждал его об этом.

— Видите ли, Яков Самсонович, есть незыблемые законы. Уничтожая одно, мы уничтожаем другое. Все существует в противоположности взаимностей. От насекомых до высших животных и величайшего из них — человека. Люди взаимно нужны друг другу, и особенно в труде. Так было всегда. И особенно стало так, когда дочеловек стал человеком. Точнее — сознательной машиной.

— Машиной? Человек? Это очень смелое и оригинальное суждение, Платон Лукич. Человек породил машину и заставил работать ее на себя.

— Да, да, породил, но по своему образу и подобию. Как бог. Я вижу, разговор у нас затягивается... Прошу вас сюда. Здесь уютнее и тише. У нас может состояться интересный спор. А всякий спор всегда взаимно обогащает или разоружает. В этом тоже своя гармония.

Платон Лукич вызвал звонком дежурного техника и попросил его накрыть в кухмистерской полный завтрак на две персоны.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Обменявшись десятком «фраз для фраз», они перешли в облагороженное наследие Шульжина, где будто сказочная скатерть-самобранка, разостлавшись на столе, расставила на себе и мясное, и рыбное, и овощное, не позабыв умеренно налить в графин необходимое для делового завтрака.

Они прежде немножечко закусили, а потом продолжили диалог.

Две рюмки коньяку, выпитые Платоном, оживили его язык, и он почувствовал себя магистром Юджином Фолстером, читающим лекцию.

— Вы, конечно, знаете, Яков Самсонович... Допейте рюмочку... О классическом триединстве машины...

— Знаю, но не слышал, Платон Лукич, этого термина — триединство.

— Он в данном случае не столько евангеличен, сколько техничен. Так вот... Извините, если я повторю известное вам. Триединство машины делится на три единые, неделимые, условно говоря, составные части. Первая из них сила. Пар.

Мускулы. Электричество. Вторая часть, передающая эту силу, — назовите ее передаточным механизмом, трансмиссией, это не имеет значения... И, наконец, третья — исполнительный, исполняющий или производящий нужную работу механизм. Токарный... Фрезерный... Мукомольный, — я имею в виду жернова. Такое триединство и есть машина. Вы согласны с этим?

— Очень интересно!

— Когда я об этом узнал, то был вне себя. Теперь уточним. Триединство человека как машины наиболее гармонично. Мускулы человека разве не есть его сила? То есть первый компонент машины. Рука человека разве не передаточный механизм его силы? Это второй компонент. И, наконец, палка, которой человек производил первые работы. Копал или ударял ею на охоте зверя... Больше этого — человек был машиной, будучи дочеловеком. У него было все, кроме палки. Но были ногти, зубы, пальцы рук. Разве это не исполнительный, пусть инстинктивно-исполнительный, компонент? И теперь, как говорится в учебниках по окончании изложения теоремы, следует сказать: что и требовалось доказать...

— Вы поражаете меня, Платон Лукич, своими знаниями. Однако в науке о машине кто-то, — осторожно заметил Молоканов, — кажется, Маркс, машину определяет иначе.

— Наверное. И очень хорошо. Я далек от полемики с ним. Он думает так, я — по-другому. Надеюсь, это мое право и право каждого.

— Несомненно. Но если велосипед уже изобретен...

— Я понял вас... Но изобретенный велосипед может стать, допустим такое слово, велоси-манус-педом. То есть движимым не только ногами, но и руками. А может быть, еще и шеей... Нет ничего открытого, что нельзя дооткрыть. Совершеннее и лучше. Я дурно знаю учение Маркса. Я вообще дилетант в по-затехнических науках, если таковые есть. Но все же кое-что читал в оригинале и в переводе на английский. И я благодарен Марксу за то, что он помог мне многое понять в противовес ему.

— Что же именно, Платон Лукич? Я тоже знакомился и знакомлюсь с Марксом. И мне хочется вооруженнее понять его...

— Не знаю, — сказал Платон, — хотите ли вы вооружиться сами или разоружить меня, мне все равно. Подтверждением этому «все равно» может служить и то, что я не спросил вас, кто вы, «како вы веруете». Для меня это безразлично не потому, что ставлю себя выше других, а потому, что мне на самом деле все равно. И если бы вы, допустим, пришли по поручению наблюдающих государственных властей за умами или для того, чтобы развенчать меня в социал-демократической печати, для меня это также не имеет никакого значения. Бояться кого-то — это прежде всего значит бояться самого себя. Вернемся к Марксу. Больше всего он уделяет внимание так называемому капитализму.

— «Так называемому», Платон Лукич?

— Вы не ослышались, и я повторяю: так на-зы-ва-емо-му. Нет никакого капитализма. Это придуманный, условный термин, как и феодализм.

— А что же есть, Платон Лукич?

— Есть гармоническое, повторяю — гармоническое, последовательное развитие производства, этого позвоночного столба, который, подобно стволу дерева, держит на себе все и определяет без всяких делений остальное. Производство с первых ступеней всегда находилось в состоянии противоречий и непримиримостей двух начал — начала организующего и организуемого. Начала управляющего и управляемого.

Начала ведущего и ведомого.

Так началось производство тысячелетия, многие тысячелетия тому назад, так оно продолжалось и продолжится.

Подпольщику очень хотелось возразить Акинфину. Трудно было сдержаться, но он должен был сдержаться. Чего ради ему спорить или задавать наводящие вопросы, коли и без этого личность Акинфина, его сокровенные идеи раскрывались им самим, подсказывая Адриану средства и способы нелегкой борьбы с преуспевающим противником. Платон же, боясь потерять нить, низал на нее новые доводы.

— На первой ступени, — продолжал Акинфин, — появился организующий, управляющий, ведущий... Берите любое из этих слов. Это был самый умелый пастух. Самый умелый охотник. Самый умелый первобытный земледelec... И он, этот организатор, управляющий, ведущий, прошел путь от пещерного человека до Форда и Эдисона. Он прошел тем же по своей природе организатором труда через древний Вавилон. Через Египет. Через периоды возрождения и падения, через все века, когда властвовали фараоны, ханы, цезари, рыцари, через всю историю, какие бы ни были периоды, и кто бы ее ни делил, и как бы ни называли историки... Прошел до наших дней. До современного промышленного Лондона, Петербурга, Орехово-Зуева и Шальвы. До Шальвы. Да! До меня!

Платон налил в бокал холодный черный кофе и выпил его залпом. Выпив, утер губы рукой, расстегнул свой неизменный синий китель-куртку и разгоряченно продолжил, как тогда, в цирке, в самой первой нашей главе первого цикла:

— Капиталист... Предприниматель... Пороботитель... Вампир или кто-то еще... Как вы его ни называйте, он был и останется организующим производство, первым началом, ведущим и управляющим, вторым производящим началом. Вот таким я и чувствую себя.

— Я так и понимаю, — вежливо заметил Молоканов.

— И если уж внедрили такой термин, как капитализм, то ведь и он может быть не одинаков.

— Разумеется, Платон Лукич. Он может быть умеренным, хищным, а может быть и ласково-притворным?

— Притворным? Как кто? — спросил Акинфин.

— Ну, мало ли в столицах либеральных меценатов...

— Я не о меценатах, — возразил Акинфин, — а о капитализме, Почему бы ему не быть, скажем, рабочим капитализмом или кооперативным, межсословным, всенародным? Мало ли какие благородные видоизменения можно произвести с капитализмом, если люди хотят искоренить вражду и рознь.

— Несомненно, несомненно, — вынужден был согласиться Молоканов, — может быть, выищется еще какая-то чарующая разновидность капитализма, и такие уже есть.

Платон волнуясь еще более, расхаживая по зальцу, утверждал:

— На протяжении всей истории все взрывы, волнения, перевороты и революции были обязаны нарушению гармонии взаимностей этих двух начал, не существующих порознь. В Шальве нет пока этой гармонии, и, может быть, ее еще долго не будет, но есть реальное, не теоретическое предсуществование ее сверкающего начала. И вы сами можете убедиться, и все скажут, как много это значит, как хорошо отозвалось... Не началось, но наметилось. Пусть очень слабо, но все же проступают черты равновесия непримиримостей. И это стало замечено, хотя мною для этого не сделано никаких особых пропагандистских шагов... И это будет понято всеми. Два начала —

организуемое и организуемое — либо гармонируют, либо взаимно уничтожают друг друга. И когда они гармонируют, начинается процветание главной движущей силы — производства, а следовательно, общества в самом широком понимании этого слова. Общество и по крайней мере государство тоже машина в своем триединстве — правящей силы, передающей силы и исполняющей ее. Выражаясь символически, успешное «производство гвоздей» построило нашу больницу, нашу знаменитую Кассу, в которой так много сочеталось. Вам полезно встретиться с ее главой и вдохновителем, с господином Овчаровым... «Производство гвоздей» дает рабочим пенсии, пособия по болезни, поможет и уже помогает воспитанию детей. «Производство гвоздей» решает повышение заработка рабочего, создание дешевых ресторанов, цеховых столовых, а следовательно, решит степень примирения непримиримого. Извините, Яков Самсонович, если вас в самом деле так зовут, за мое многословие. Но вы коснулись самого сокровенного. Моего «како веруеши». Я, кажется, сказал все, исключая моей оценки нашего государственного устройства. Вот вам наш гвоздь с отштампованной на его шляпке эмблемой нашей фирмы и одновременно моей идеей, которую я изложил вам, как умел, как мог. А вот вам еще второй памятный сувенир. Я его также дарю всем моим гостям и посетителям. На нем также эмблема, но более крупно и красиво отштампованная. Попробуйте открыть этот замок без ключа. Это так же трудно, как понять меня... Понять не только вам, но и мне самому...

Далее было явно неудобно задавать новые вопросы. Личность Акинфина определилась, а вместе с этим стало очевидным, что Рождественский нуждается в большой и постоянной помощи. И эта помощь будет...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Шалая-Шальва числилась волостным населенным пунктом, называли же ее за последние годы городом. Так хотелось населению, так необходимо было и в рекламных целях фирме. Называть ее селом или поселком выглядело унижительным и несправедливым. Большое население. Появились пригороды, несколько мощеных улиц, новые кирпичные дома, подновлен стараниями отца Никодима собор, расширены старые меблированные комнаты, купленные Кассой, они теперь названы «Гостиница для всех». Для всех она и была. Очень дешевые номера соседствовали с очень дорогими, о двух и о трех комнатах. При гостинице хорошая кухня. В ней так же все двойное: «для простых» и «для денежных». Для первых при гостинице был трактир, для вторых — ресторан. В трактире подавали на стол половые, в ресторане — официанты. Двойные и цены. Рука Александра Филипповича сказывалась и здесь.

Адриан, приехавший под фамилией Молоканова, занял средний по стоимости номер. С ним уже побеседовала представительница полиции, исполнявшая обязанности горничной и при надобности готовая ко всем другим услугам, — например, снести на почту телеграмму или что-то купить по мелочам. Так она и сказала новенькому с черной бородкой:

— Если что-то снадобится, господин Молоканов, так пожалуйста, можете располагать, я нынче и ночью тут буду, и лишняя копейка меня не обескуражит.

Сквозь смазливое личико назвавшейся Дусей проглядывали знакомые черты тех сотен агентов, каких довелось видеть профессиональному революционеру. Они разнились одедами, профессиями, манерами разговора, и всем им были присущи

любезная услужливость, взволнованная искренность и необыкновенная наивность. И Дуся торопливо роняла все это вместе взятое.

— Вы так внимательны ко мне, Дуся, что я готов отблагодарить вас, если вы скажете мне, как возможно и в какое время встретиться с господином Овчаровым. Говорят, он строг, и нелюдим, и скрытен... А я, Дуся, пишу для газет, и мне хочется знать больше...

— Так и узнаете, господин Молоканов. Александр Филимонович только кажется застегнутым на все пуговицы, душа его нараспашку, до последней петельки. А касаясь как и где его встретить, так он же в своей Кассе, как черень в метле, день и ночь. Одиночный человек.

— Не женат?

— Не женат, а полы мыть ходят к нему разные... Надежные, благонравные молодайки. И платит отменно, если полная прибирка в его дому, с перетряской половиков, постелей, обтиркой от пыли мебели и книжек.

— У него много книг, Дуся?.. Вот вам рубль за интересный рассказ.

— Мерси-с... Я тогда еще на полтинник дорасскажу. Меня ведь и держат здесь для рассказов, а не для горничества...

— И кому же, Дуся, вы рассказываете?

— Кто больше даст, тому и говорю. Одеваться-то надо. Я хоть и номерная, а даром в «Новых модах» тоже мне не шьют. А когда ты не обшитая, так и расстегивать, снимать с себя нечего.

— Я не понял вас, Дуся...

— Туги, значит, вы на ухо, господин Яков Самсонович, так ведь вас, кажется, кличут...

— Так! — ответил Молоканов, окончательно не сомневаясь, кто такая Дуся. — Вы тоже моете пол у Овчарова?

— Велят!

— Кто же вам может велеть? Вы, надеюсь, самостоятельная и свободная девушка...

— Все мы у себя дома свободные, а стоит выйти на улицу — и ты, как мушка, в тенетах. Они везде! Вы ведь тоже не без них, господин Молоканов...

— Наверно, Дуся. У всех есть обязанности, необходимости зарабатывать...

— На Овчарове не заработаете, он сам обдерет. За то, что я горничая здесь, он с меня добавочный процент в Кассу скащивает, не как со всех, а втрое.

— За что, Дуся?

— «У тебя, говорит, чаевой доход есть...» Допустим, что есть. Так я не в убыток Кассе этот доход дохожу, а своими горящими изумрудинками, — Дуся сверкнула зеленью глаз, — своей беломраморной молодостью.

— Кто вас довел до этого, несчастная жертва бедности? Неужели все тот же Овчаров?

— Нет, господин Молоканов. Зря не буду клепать на него... Я сама довелась. Люблю показываться! С меня художник Сверчков картину в семь кистей пишет. Платон Лукич для меня мраморного высекателя нанял... И я буду и после того, как одрябну, четырехаршинной стоять на гранитной глыбине в нашем шальвинском гулево саду в Игрище.

Дуся неожиданно повернулась и направилась к двери. Остановившись у дверей, деловито сообщила:

— Насчет Овчарова... Снимите с крючка трубочку и скажете в нее: «Центральная, присоедините Овчарова...» Его по всем телефонам сыщут. Царь же всего богоугодного царства и всех его топких, омутливых волостей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Наутро Молоканов пришел обогатиться новыми сведениями о шало-шальвинском острове «равновесия взаимностей». Он должен не через третьи руки, а непосредственно сам узнать и понять механику популярности идей Акинфина в тысячах душ. И ему теперь борьба с умным и сильным врагом казалась трудной, неравной, но не безнадежной, как утверждал Савелий Рождественский. Овчаров неизбежно многое приоткроет. А если он, как и Акинфин, хвастлив, то им будет дорисована картина подслащенного порабощения.

Вот и дом Кассы. Он чем-то похож на сейф и тюрьму. Меж рам окон литые фигурные решетки. У входа полосатая полицейская будка.

Деньги же... Денежные документы.

Молоканова встретила девушка, чем-то напоминающая гостиничную Дусю. Она провела Молоканова в большой кабинет Овчарова, совсем не похожий на маленькую конторку Платона Акинфина. И это, пожалуй, понятно. Платону Акинфину не нужно, чтобы стены помогали ему и украшали его. Овчарову это необходимо.

— Уважаемый Александр Филимонович, мне Платон Лукич рекомендовал для полноты картины преуспевающих Шало-Шальвинских заводов познакомиться с вами. Имею честь... Молоканов, свободный журналист.

— Очень приятно. Я знаю. Мне говорил о вас Платон Лукич. Вы, наверно, как все, начнете с нашей знаменитой больницы?

— Нет, я не как все, Александр Филимонович, начну с вас. Я хотел сказать с Кассы, но ведь Касса — это вы.

— Когда-то был ею я, а теперь ею стали многие.

— Кто состоит в ней, Александр Филимонович?

— Те, кто являются ее душой.

— Как бы мог я кратко определить для других вашу Кассу?

Овчаров махнул рукой:

— Это нелегко сделать. Она влила в себя очень много. И заботу о материальном обеспечении, и посредничество между заводом, и защиту прав работающих на заводе. Она и маленький банк, где хранятся вклады состоящих в ней. Она отчасти и профессиональный союз...

— Какого направления, Александр Филимонович?

— Направление общее: улучшать жизнь.

— Улучшение жизни очень широкое понятие, Александр Филимонович.

— Так мы и не хотим, чтобы оно было узким, но делать можем по возможностям и стараемся, чтобы этих возможностей было больше. Появилась возможность — строим дом для малолетних заводских ребят. Советую посмотреть. Думаем, что появится возможность позаботиться о безмужних матерях.

— Дать им работу?

— Не только, но и репутацию. Без нее они на совсем другой подкладке. Ну вот взять одну тут... Вы не знаете ее. По имени Кэт. Ее поделом прозвали унижительным словом «Кэтка». Тоже была безмужней матерью. А на золотой подкладке она вышла

в фабрикантши. Мало ли оступившихся в пору ранней жаркой весны... Так что же, за это переходить им без лета, без осени в вековечную стужу зимы?

— Разумеется, разумеется, Александр Филимонович, необходимо какое-то равновесие в этом вопросе, — сказал Молоканов, испытующе посмотрев в глубоко сидящие, острые глаза Овчарова.

— Тоже, конечно, надо соблюдать равновесие с умом. Вот, скажем, взять Марфу Логинову. Вывели ее в начальницы штамповочного отделения фабрики «Женский труд», а она, обзаведшись своим долговым домом, свой ночной доходный женский труд образовала из безмужних, бездетных, безжениховых, засидевшихся в девичестве и теряющих его семь раз на дню. Я не виню за это Марфу Ивановну, но зачем же такой доход помимо Кассы и без отчисления в нее? Всему есть своя цена и свой порядок...

— Несомненно, несомненно, Александр Филимонович...

— Да уж куда несомненнее, господин Молоканов! Не ровен час подпят, разденут, оберут какого-нибудь из благородного сословия человека, — на кого, спрашивается, падет тень? На фирму. А для чего это нужно нам? Все должно быть в своей строке, в своей линеечке. Не мы жизнь конструируем, а сама она конструируется. Всякому деянию свое воздаяние. Весы!

— Везде ли они, глубокоуважаемый Александр Филимонович, точны?

— Точного ничего нет, господин журналист. Аршин и тот врет. Сколько аршинов, столько и мер. Хоть на бумажную тонину, да врет всякий аршин.

Мимо дома Кассы прошел Савелий Рождественский. Сегодня воскресенье. Он в праздничной паре. Касса работает полдня и в праздники. Они удобнее для членов Кассы. Кому получить, кому внести деньги. Зашел сюда и Савелий. Он беспокоился за Адриана. Смеловато действует. Хотел в тот же день уехать, а задержался на ночь в опасной «Гостинице для всех». Неподалеку в лесу лошадь в упряжке. И если что, то трое самых верных начеку. Они смелы и вооружены. А опасения напрасны. Овчаров охотно беседует с приятным, доброжелательным гостем. Гость правильно говорит:

— Бумажная тонина пустяк, а вот когда в аршине сажени на две происходит обмер, тогда хуже. Вы не задумывались на этом, Александр Филимонович?

— Я над всем задумываюсь, господин Молоканов, да не все подсудно моим весам. Где могу, там урываю. И Марфино ночное заведение думаю в свою кассовую строчку ввести. Коли на это развлечение находится постоянный спрос, так почему бы Кассе не открыть загородный ресторан под названием «Веселый лужок»?

— Так, так... — сказал было осуждающе Молоканов, но, спохватившись, поправился: — В самом деле, почему бы... зачем прибыли отдавать конкурентам?

— Уразумеваете, стало быть? Два входа и две обслуги — номерная и всеобщая. Такой же и женский пристольный штат. Тоже двойной.

— А удобно ли так?

— Кому неудобно, пусть не ходит. А членам Кассы будет удобно в смысле дешево. А дешево можно кормить и все прочее за счет чего-то...

— За счет безномерных посетителей?

— Да.

— А если они не будут приходить?

— Будут. Про больницу тоже говорили, что в дорогие палаты не будут ложиться. Ложатся! Да еще приплачивают в знак благодарности. Так же будет и в «Веселом лужке» для денежных людей. Кушанья выдумают, каких нет и какие, к слову сказать,

не нужны. Кому-то, кто заелся, подадут разные тру-ля-ля, и не поймешь, под каким перефуфырным соусом. Жалко, что ли? Пусть они платят за это перефуфырство и кормят тех, кому еда нужна как еда. Все можно, если с умом, уравновесить.

— А как оценена будет эта некоторая несправедливость? Не осудят ли вас?

— За что осудят? Мы же не осуждаем заводчика, когда он и половины рабочему не платит против других. Пользуется тем, что деться некуда.

— Напрасно не осуждаете...

— А кому от нашего осуждения польза? Ушам — и только. А вот не на словах, а на деле уравновесить иных жирных сазанов совсем другое дело. Когда вас потчует пристольная молодайка из простых, это одно дело, одна цена, а когда выписная «гризель», вся как ликерная рюмочка, это уже другое обоняние. В Питере такие «гризели» с голосами, с тонехоньким горлышком из кулька в рогожку перебиваются, так, что диву даешься. У нас бы такой пятьсот кругленьких можно дать... Шесть тысяч в год! Два инженерских жалованья! А она нам десять раз по столько в Кассу положит.

Молоканов слушал и вздыхал. Боясь, что разговорившийся Овчаров прервет свои откровения, спросил, что пришло в голову:

— А как же вести учет, бухгалтерию?

— Простее простого. Купил талон с номером стола и с именем пристольницы — и ублажайся. Как в больнице. Купил талон — и лечись себе на доброе здоровье... Э-э, да что там... Слова — дым, уши слепы, а глаза — полный баланс. Провезу я вас в наше зеленое Игрище. Нынче два праздника в один день. Теперь там вся Шальва ликует...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Саженьный смешанный лес десятин в двадцать, огороженный тыном, приветливо зеленел на увале. Огибавшая его речка Шалька, приток Шальвы, образовала как бы второе ограждение полуострова. Воротами служило бревенчатое, окрашенное золотистой охрой, с башней строение под русскую старину. Над башней развевался трехцветный флаг. Сегодня царский день. Чье-то тезоименитство. То ли царицы-матери, то ли царицы-жены. Здесь под башней живут сторож, он же комендант Игрища, садовник и конюх «прокатных» маленьких, смиренных сибирских лошадок и также «прокатных» двух оленей и двугорбого верблюда.

— Детей прокатывают, — пояснил Овчаров Молоканову. — С номерных ребят две копейки за три круга, с чужих — по пятаку. Вам тоже за вход, господин Молоканов, пришлось бы платить пятак, если бы вы не были гостем. А мне — одну копейку. Я же нумерованный человек, — Овчаров показал свой нарядный заводский номер.

— Ровно сотый?

— Да. Такая цифра выпала, выдавали не по чинам, а по долголетию работы в фирме. В ней я давно. С тринадцати лет... Надо бы нам, господин Молоканов, прежде в цирк завернуть. Там с утра сыграли тридцать партий в лото, а теперь идут петушинные бои. Гривенник вход и опять же игра. На петухов ставят. Азартные и по четвертному билету ставят. А нам хоть по сотне. Чем больше, тем лучше. Десятый рубль Кассе.

— Нигде не упускаете, Александр Филимонович.

— Нигде! Вот, извольте ли видеть, это вертушка. Выписал было дополнительную рулетку. Не пошло дело. Недоверие. Пришлось переконструировать на русский лад.

Овчаров провел гостя под большой круглый навес, похожий на цирковой приплюснутый купол. Под навесом большой вогнутый отполированный круг. В кругу мелкие лунки с тремя металлическими столбиками по их окружности.

— Пли! — слышится голос «конового», или руководителя игры.

После «пли» раздается хлопок, и из жерла деревянной, расписанной цветками и ягодками пушки вылетает красное, с детский кулачок величиной, круглое блестящее ядро. Оно стремительно мчится по краю круга, окаймленному бортами, и, теряя скорость, скатывается к центру, натываясь на металлические столбики лунок, иногда падая в них и снова выскакивая, вызывая крики, возгласы обступивших круг игроков.

— Честная, благородная игра, — поясняет Овчаров. — ? Как и лото, никакого мошенничества. В чей номер закатился шарик, тот и забирает кон. Просто и хорошо. Вот бы всем страховым кассам и профессиональным союзам завести такие вертушки, можно было бы и не бастовать, не выканючивать у фабрикантов деньги, а брать их с кона каждым десятым рублем. Не хотите ли поставить, господин Молоканов?

— Спасибо, господин Овчаров, я не член профессионального союза...

— И не вступайте в него, господин журналист. Одна говорня. Надо обштопывать их молчком да тишком... Гляньте, сколько их, нумерованных, выиграть тщатся, а выигрываю я... то есть Касса. Сегодня они нашей Кассе провертушат не одну и не две рабочие пенсии... Дайте я вам, как гостю, для угощения куплю три лунки на счастье.

Сказав, Овчаров попросил три рублевых билета: третий, девятый и двадцать седьмой..

Послышался громкий голос.

— Кон закрыт. Талоны проданы. Прошу внимания, господа, — объявил коновой, и после его «пли» снова из пушки вылетел, как угорелый, шарик, и снова в него вперились горящие азартом глаза, и снова: «Ах ты!», «Зачем же туда?», «Проскочил, подлец, мимо!», «Ура! Гони деньги, закатился в девятую».

— Поздравляю, господин милостивый государь, — протянул Овчаров руку. — Этих денег вам до Питера не прогулять.

Выигрыш оказался большим. Талонов с девятым номером было куплено только три. Кассирша подсчитала по сорока семи рублей и тридцати одной копейке на талон. Овчаров получил деньги. Молоканов категорически отказался их взять. А тот настаивал:

— Не бросать же мне их в Шальку.

— Хорошо, — согласился он, — бросьте их в другую речку, только прежде удержите из них ваши три рубля, а остальные отдайте гостиничной горничной Дусе.

— Вот тебе и на, господин журналист... Заполонила, видать...

— Нет еще, — послышался игривый голосок, — сегодня заполоню.

Это была Дуся. Она не захотела дослушивать овчаровские слова, незаметно мигнула Молоканову и сказала, громко смеясь:

— Полиция карманника Адриашку ищет, а он тут, — и еще раз глазами и кивком головы показала в глубину леса и, смеясь, крикнула: — Савка Рождество Христово вчера дюжину рябчиков настрелял, нынче опять на зимняк с двумя ружьями подался... Видно, из обоих будет пулять, — сказала Дуся и приказательно снова кивнула Молоканову.

Овчаров тем временем взял из выигранных денег свои три рубля и остальные

подал Дусе.

— Кассе — кассово, Дуньке — Дунькино...

— Спасибо, Александр Филимонович, с этих-то, поди, не вычтешь... Иди-ка, я тебе что-то шепну на ушко.

Она отвела его и снова подала знак Молоканову. Он понял все. Ему легко было затеряться в толпе. В воротах под башней его встретил гравер Уланов.

— Не останавливайтесь, — шепнул он, — идите вдоль речки на перешеек, там Савелий... Я догоню.

Через пятнадцать — двадцать минут Адриан и Рождественский были в лесу, примыкающем к Игрищу. А спустя пять — десять минут Дуся упрекала пристава:

— Что же вы так долгуше не шли? Он тут никуда не денется. Может, по надобностям пошел... Никуда не денется. Овчаров его тоже ищет...

Скрывшимся в лесу возвращаться тем же путем на ту же станцию было невозможно. Там наверняка полиция и ее агенты. Пойти на другую, одну из ближних станций тоже рискованно. Эти уловки уже изучены и проверены. Оставалось единственное — ночью пробраться в поселок потаковского завода. Там три надежных дома и кладбище с привидениями. Туда и днем полиция опасается ходить.

Адриан сказал, что у него есть более надежное место, где его укроют, а затем отправят.

— Вы же, товарищ Савелий, возвращайтесь в Шальву. А до этого я еще раз прошу запомнить: всякий, будь он мужчиной или женщиной, кто назовет вас Саваофом, а затем скажет, какой номер вашего ружья, и попросит папироску, будет нашим связным. Запомните: прежде имя Саваоф, затем номер ружья и просьба дать папироску.

— Запомнил, товарищ Адриан.

— Теперь о вашем удачливом капиталисте-аферисте, поверившем в незыблемость своего «гармонического порабощения». Борьба с Акинфиным должна вестись не только вне его, но и в нем самом.

— А как это возможно, товарищ Адриан?

— Нужно найти неотразимые способы поколебать его надежды на устойчивость приручения ублажаемых и ограбляемых им «людей-машин». Необходимо терпеливо, эластично и доказательно настаивать на неизбежности краха заманчивого, но недолговечного одурманивания. И когда он, мнительный и трусливый «смельчак», дрогнет или хотя бы подвергнет сомнению власть завораживающих идей, тогда неизбежно начнется неостановимый распад его талантливо, но беспочвенно выдуманного, неосуществимого примирения классов-врагов, классов-антагонистов.

— Задача нелегкая, товарищ Адриан...

— Но возможная. Об этом полнее и обстоятельнее расскажет наш связной. А теперь о горничной Дусе. Она мне кажется надежной «посредницей» между вами и полицией. Все же не доверяйте ей больше, чем следует.

— Я так и делаю, хотя она нами сто раз проверена и перепроверена.

— И тем не менее таких «двойников» принимать в организацию категорически нельзя. Теперь руку! Я в эту сторону, вы — в ту...

ЦИКЛ СЕДЬМОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все сбылось, как замышлялось Акинфиным. Титулованный идиотизм, купеческая чванливость восторжествовали и в этом ничтожно малом самовозвеличивании через копыта лошадей, украшаемых золотыми подковами. Прибыли опережали не только здравый смысл, но и фантазию. Сумасшедший спрос на подковы перешел в бешенство.

Железнодорожная ветка на большую магистраль была окуплена прибылями от подков. Работы велись и зимой. Весной осядут насыпи. После осадки потребуется небольшая нивелировка пути.

Зимой, санным путем, дешевле доставить рельсы и распределить их вдоль пути. В эту пору деревенские лошади бездействуют, и крестьяне нанимаются с большой охотой.

Микитов «Зовутка» из своих, понимающих мужиков. Платит без ужима с версты, с воза в двадцать пять пудов. А если у мужика гужи гужие и коняга справная, он может класть на сани тридцать и тридцать пять пудов, а то и сорок с гачком. У кого битюг, получай доплату. За сеном тоже не надо гонять к себе в деревню. Оно загодя накошено и сметано в стога вдоль прокладки дороги. И овса — завались. И все это не по зимней цене, а по летней дешевка.

Как не работать у такого подрядчика! И опять же дешевый постоянный двор в Шальве. Не гоняй домой в деревню ночевать, не нанимай дорогой ночлег в чужой избе. И ко всему жестяные заводские полуномера с весами. Они точнехоньки, как и расчет по пятницами. И по этим номерам скидочный харч. Обед пятак. Каши вдоволь. Хлеба бери сколько хочешь, только в карман не клади. А если положишь, считай, что твои гужи от фирмы будут отрезаны навсегда. И это по-божески праведно. Уж коли на номерах выбиты весы, так надо соответствовать им всем и во всем. И опять же, к слову сказать, доступ мужику-возчику в дешевые заводские лавки.

Шить даже можно. А лучше покупать сшитую одежду и обузу на заводский шальвинский манер...

Не зря, видно, столько мастеровых празднуют по весне пятого апреля — Платонов день. И никто никого не неволит, сами одаряют его, кто чем. Кто затейной безделицей, кто дельным сотворением своих рук. Маленьким, но всамделишным станочком на его стол. Или крохотулечной самокопной лопатой, которая, став большой в шальвинском изготовлении, перекопает на слом то, что сгнило и что только пальцем ткнуть, как рухнет и пойдет в борозду вместо навоза для удобрения русской земли.

Этого и боятся великоцарственные могильные черви. Сколько раз народ слал в Государственную думу Платона Акинфина. Выкликали и его правую, и его левую руку — Родиона Скуратова и сердобольного хранителя рабочей казны Овчарова, а им в губернии тайным топором обрубали постромки. Тяп!.. И с полдороги в думу вертайся в свою Шальву, домой.

Такие разговоры слышал и записывал Вениамин Викторович Строганов, часто наведывавшийся на беговых шведских лыжах в мрачное Молохово логово. Он не просто жил в этих местах, а вживался в них. Его роднила с ними не одна любовь к Агнии, к ее подрастающему Платонику, влюбленному в своего «дя Ве». Так малыш выговаривал два слова — «дядя Веня». Теперь он его называет Дявеком.

Старик Молохов не хочет замечать этого. Пусть ездит Строганов. Не околевать

же Агнии в роковом заточении. «Пущай душу отводит с безжадным человеком».

Василий Молохов находил, что за такого можно и замуж выдать Агнию. Домен ему не нужно. Выделить им состояние на питерское прожитье, а остальное будет завещано ненаглядному внуку. А Строганов и малого намека не обронил на замужество. Может быть, себе на уме, а может быть, гордый человек, не желает быть примаком в богатой фамилии, домны, что были завидными свахами, стали поперец пути счастью с Агнией.

Не тот и не таков пошел народ. Взять того же Платона Акинфина. Жить бы да радоваться счастливцу, подковавшему за дурные деньги дурные головы. Так нет. Мало этого. Свои паровозы надо ему изготовлять, клепать пароходы, выбить из седла иноземные станки и посадить в седло свои. С маркой весов. А разве хватит на это золотых подков, скуп их хотя бы и миллион двести тысяч скатов. Царь первый богач в русском царстве, а хватит ли и у него капиталов на переверт такой державищи, как матушка Русь? Да и для какой такой нужды делать дорогим станком то, что руками привычнее? Зачем паровая лопата на руднике, коли испытанные сотнями лет заступ, лом, кирка, не требуя трат, дают доход?

Нет спору — пар сильнее рук. При дровах в котле тише сгорает рудобой и дольше живет. Ну, да что об этом говорить! Все под богом ходят, есть он или нет. Вседержительница жизнь знает, сколько кому отпустит лет, месяцев, недель и дней до часу, до минуты.

Василию Митрофановичу Молохову не минуло еще и шестидесяти, а он поговаривал о смерти. Понимая более, чем когда-либо, ее неминуемость, он слегка подобрел. Теперь он уже хотел пойти на сговор с Акинфиным, да попала вожжа не под то ухо молодому хозяину заводов. Молохов объявил, что он давно уже снял опалу с Клавдия. Клавдий теперь не страшен ему, при хорошем строгановском заслоне. И Агния открыто попирает этот «Гризелькин золотой кошелек». Она только не желала, чтобы этот карамельный шансонет увидел ее Платоника. Не хотел этого и Вениамин Викторович. Он мог бы двумя-тремя словами развязать все узлы, оборвать все нити сетей, скорее выдуманых, нежели существующих. Но его не манила столица.

Что там он будет делать? Его и Агнию давно зовут Лучинины, отдавая им благоустроенный флигель при княжеском доме. Лучшего не придумаешь, но чем он будет жить? Чем, а не на что? На что — он найдет.

Не разумнее ли, не полезнее ли для всех и для него позволить корням глубже войти в уральскую заводскую почву? Воскресная газета началась как рекламное издание, как баловство, безобидно смешашее читающую публику, а стала теперь и четырехстраничной площадкой, на которой можно выступать, публикуя уральские предания, легенды, самобытные побывальщины со слов «златошвейных» старух, словесных чеканщиков, унаследовавших от полупоупендарного «Бабая-Краснобая» жаркую удаль речевого литья.

Вениамин Викторович уже опубликовал в акинфинской хромолитотипографии стостраничную книжицу под озорным названием «Тары-бары-растобары на завалинке». Книгу на корню купили книготорговцы обеих столиц. Строганову пришлось еще допечатывать на бумаге верже пяток тысяч в холщовом переплете и полтысчонки в сафьяновом. Эти дарственные и сюрпризные книги рассылал он сам по почте, от имени фиктивного издателя, каким за небольшую мзду назвалась всеядная Касса.

Хорошую и притом честную сумму положил Строганов в той же Кассе на свой

долговременный счет, с повышенным процентом, как «номерной». Он значился служащим фирмы, как «беловой редактор» всех фирменных наставлений, руководств и реклам. Это давало сто рублей в месяц, и никакого сидения в конторе.

Спрашивается: зачем искать худа от добра? Но это еще малозначительный, привязной мотив. Были еще два. На Урале у Строганова исчезла нехорошая предвестница чахотки — частая сухая кашливость. Но и это пусть веская, но не решающая гиря на чаше весов его внутреннего равновесия.

Строганов вовлекся в омут акинфинских преобразований. Они были заманчивы все более и более с каждым новым наглядным признаком победы осуществляющейся идеи примирения непримиримостей. В полный успех он не верил, но во всем, даже в вертушке на Игрище, есть «а вдруг?». Выиграл же он там за один день сорок с чем-то рублей. Выигрыш в любопытном эксперименте социального равновесия, как его называет Лев Алексеевич Лучинин, куда более вероятен. И если даже этот эксперимент иллюзорно слепящ, то и в этом случае полезно участвовать в нем и записывать о виденном.

А вдруг?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимний вечер синь и тих. Рояль давно безмолвен. Камин отгорел, и только дедовский свет свечей оживляет пустующий будуар Цецилии. Она у другого камина греется другим, столичным огнем. Сейчас в Петербурге поют итальянцы. Вадимик, наверное, уже спит в своей взрослой кровати.

Кем вырастет он? Кем?

В нем есть что-то похожее на Клавдия. Та же рафинированная бледность лица, тонкие, девичьи пальцы и овал... Нет, нет! Нельзя клеветать на родного сына. Вадим никогда и ничем не повторит этого жалкого ублюдка! Никогда!.. Хотя...

Хотя как можно поручиться за будущее мальчика, растущего в холе и неге оранжерейного детства? Кто знает, каким его воспитает Цецилия? Не вырастет ли он квелым и неумелым дворянчиком? И снова...

И снова приходит на ум Клавдий. Он тоже был обережен от всего, что могли сделать за него другие. Его чуть ли не до пятнадцати лет обували, одевали и даже умывали няньки.

Молоховы тоже не чают души в маленьком тезке Платона. У них тоже несчитанные богатства и тьма возможностей. Но таким ли растет их мальчик? Он самостоятелен, пытлив, инициативен. Ему разрешено мастерить самоделки. Он сооружает из глины маленькие печи. У него набор детских инструментов. Его не оберегают от молотка, ножниц, щипцов... Сын Клавдия, не унаследовав ни одной его черты, предательски похож на Платона. В нем дедовская, акинфинская кровь.

В голову приходит ужасная мысль: может быть, Агния была «судьбой» Платона?

Нет? Тысячи раз нет! К черту эти черные мысли! Надо пригласить Строганова. Он уже вернулся из Молоховки и коротает время за сочинительством.

Платон подошел к большому концертному роялю, открыл его тяжелую, зеркально отполированную крышку, чтобы игра заставила прийти Вениамина. Его всегда приглашает рояль. Он говорит ему, что Платон не занят, отдаваясь музыке, и нельзя помешать придумывать свои «взаимности» и мечтать о великих свершениях.

Платон играл плохо. Но в его игре была то вдохновенная экспрессия, то

одухотворенная мечтательность.

Открыта крышка клавиатуры. Зажжены канделябры на рояле. Музыка Чайковского требует праздничного, большого света. Она сама такова.

Придвинут стул. Найдена нужная высота винта. Взмах рук и...

И зазвучали первые божественные аккорды «Первого концерта». Есть ли что прекраснее этого гимна Свету... Любви... Бескрайности мира. Величию человека... Очаровываясь музыкой, зная первую треть концерта наизусть, Платон подумал, что хорошо было бы купить большой судостроительный завод.

«Первым концертом» заполнен весь дворец! Слышен он и в дальнем материнском крыле. Калерия Зоиловна знает, что к сыну нельзя приходить, когда он, как молитве, отдан игре на этой немецкой новокупленной музыке. Да и вообще к сыну нельзя приходить, не позвонивши по телефону. Теперь телефонов в доме не перечесть.

Строганов же знает, что к Тонни нужно приходить, когда он играет. Он любит, когда его слушают. Вениамин Викторович вошел в мягких, «бесшумных» валяных туфлях, опущенных мехом, и сел в дальнем уголке нарядной гостиной.

Дождавшись, когда Тонни дошел до конца первой трети концерта и остановился, Строганов спросил:

— О чем мечтали?

— Хорошо бы, Веничек, купить большой судостроительный завод и паровозный. Я бы выручил миллиард рублей...

— А зачем вам, Тонни, миллиард?

— Я бы скупил все заводы Прикамья.

— Почему именно Прикамья?

— Там дешевые рабочие руки. И хорошие универсальные мастера.

— А потом?

— А потом я бы провел короткую, прямую дорогу через хребет.

— Зачем?

— На западном склоне нет своих руд, зато есть Кама. Самая дешевая дорога... Не круглый год, зато можно производить огромные перевозки. И очень дешево. Если из Астрахани, из такой дали, в Пермь доставляют арбузы и еще получают большие барыши, значит, можно доставлять все остальное, не удорожая его перевозкой.

— А что остальное?

— Машины, Веничек, машины. Большие машины! С них начинается все — и сами машины. В мире властвует тот, кто производит самые дешевые, самые прочные, самые скорые машины и станки.

На лице Строганова засияла добрая улыбка.

— Зачем это вам, Тонни?

— Чтобы преобразовать мир.

Строганов снова улыбнулся и задал косвенный, наводящий вопрос:

— Как много людей, стремящихся преобразовать мир...

Платон легко вовлекался в спор:

— Савка Рождественский его не преобразует. Не преобразует и господин Молоканов, назвавшийся журналистом, чтобы побывать в моей душе. Он очень образован и убежден в своих воззрениях. Но что может сделать такой, как он? Колебать речами воздух? Мне жаль его. Мне жаль одаренных людей, за которыми не идут. Которые могут собрать два-три десятка единомышленников и угаснуть, как это произошло в минувшую революцию.

— Революционеры не находят, что их дело угасло.

— Венечка, милый, неужели Савка Рождественский, очаровательный парень, каким я его знал всегда, может что-то породить, что-то воскресить? Таких, как он, нужно беречь, вразумляя их, как нужно и как можно бороться за лучшее. А лучшее — это его драгоценнейшее литье. Его умение производить хорошо, скоро и много.

— Всех нельзя вразумить, Тонни. Вы увлечены своими заводами и не знаете, что делается на других после того, как рабочих вразумили порками, тюрьмами...

— Этими способами нужно вразумлять не революционеров, а тех, кто их породил. Я никогда не устану повторять, что революции порождают не революционеры, а те, кто вынуждает тружеников становиться революционерами. Революция пятого года обязана таким, как Потаков, Молохов. Их много. И они были всегда. И в Риме, и до Рима. Они бывали, они неизбежно могли быть в первобытных общинах. Старейшины или кто-то там, кого я не представляю, свергались, а то и убивались тотчас, как они нарушали равновесие организующих труд и организуемых в труде. Не понимайте это примитивное примитивно. Но как только не хватало самого основного — пищи — и членам рода приходилось испытывать страшнейшую из бед — голод, происходила очень примитивная революция, которую можно посчитать за драку, состоящую в насильственном отнимании куска мяса от тех, у кого он был куском большего размера. Не потребуется особого напряжения воображения, чтобы представить, как это было и как могли голодные съесть вместе с отобраным наибольшим куском и того, кто его захватил.

Вениамин Викторович, видя, что Платон воспламенился на этот раз с одной спички, решил подбросить в огонь дрова и в прямом смысле. Камин угас, но под золой еще были горячи тлевшие угли.

— Дорогой Тонни, я с удовольствием постараюсь развеять мои раздумия. Вечер долог, и мы скоротаем его при огне.

— Да-да, Венечек... Дрова тут, за дверью, в ящике.

— Я знаю, знаю и принесу...

— Нет уж, позвольте, я это сделаю сам. Вы, как и все обладатели чистых рук, не умеете ставить дрова так, чтобы они дружно горели и не падали. Этому искусству учил меня, — рассказывал Платон, устанавливая в камине принесенные Строгановым дрова, — древний горновой нашей доменки Маркелыч. Вот видите, как это делается... Кажется, просто, а на самом же деле так же хитро, как с первого удара топора расколоть сучковатое полено...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Красиво и ровно наклонно установленные сухие поленья начали дымиться молочно-голубоватыми клубами, затем, нагревшись, вспыхнули мигом, как электрическая люстра в большом, зале.

«Вспыхнул» и Платон, по-ребячьи крикнув «ура», и захолопал ладошами.

Строганов и на этот раз подумал, что в Платоне все еще живет мальчишка.

— Теперь, — сказал Платон, — погасим свечи и продолжим о революциях. Рабство было самой длительной из всех исторических и доисторических систем трудовых взаимоотношений. И при всем страшном звучании слова «рабство» читавший более или менее достоверные книги о нем без труда может убедиться, что и в те времена достигалось некоторое равновесие взаимностей рабов и владеющих ими.

Для этого так же не нужно совершать экспедицию в прошлое, а достаточно сесть в тележку и побывать на заводе Василия Митрофановича Молохова, где рабство представлено в наихудшем его различии. Крепостные рабы до реформы шестьдесят первого года находились в лучших условиях по сравнению с молоховскими рабочими, закрепощенными нуждой и голодом.

— Им трудно и теперь, Тонни. Я это наблюдал сам.

— Им трудно и теперь, Венечка. Я в детстве видел их каторжный труд... Василия Митрофановича, милый друг, взбунтовавшиеся едва не утопили в пруду. Он чудом отсиделся в подвале небезызвестного вам замка, построенного так же небезызвестным вам сумасшедшим апологетом средневекового рыцарства. Замок невозможно было взять приступом. Голодая, Молохов прожил в нем более недели, пока не прискакала карательная кавалерийская сотня, перепоровшая несчастных и усмирившая вооруженный бунт.

— У меня записано об этом, Тонни... Капиталистические гримасы случаются страшнее средневековых.

Платон кивком согласился с Вениамином Викторовичем и тут же поправил его:

— Капитализм, сотый раз повторяю я, новое, выдуманное слово. Но если принять его как образ жизни общества, то для меня не составит труда доказать, что это извечная и единственно возможная система трудовых взаимностей, а не что-то новое... Например, первобытный каменный молоток был первым представителем капитала. Он был ценностью, позволяющей произвести новые ценности. Например, позволить человеку сделать из камня второй такой же молоток. Это уже ценность, дающая стопроцентную новую ценность. Прирученное животное тем более было капиталом — оно производило новые ценности, размножаясь, рождая себе подобных. Если животное еще и работало, то есть создавало или помогало создавать ценности, то кто может не назвать вола, слона, лошадь типичным представителем активного капитала? И если мы, — увлеченно говорил Платон, — проследив всю историю, все периоды, как бы их ни называли различные историки и ни делили по ханам, богдыханам, королям, царям, попам или по государственному устройству, то мы увидим, что все это было историей развития капитализма, от ручной мельницы до самоработающего ткацкого станка. Все это было историей трудовых взаимностей организующего труд и организуемого в труде. Таким и остается капитализм, если вам, Венечка, угодно называть вечное и древнее этим словом и теперь.

— Дело, конечно, не в названии, а в существе, — согласился скорее для приличия Строганов, особенно не вникая в говоримое Платоном не без любования собой. Его речь лилась легко и, кажется, стройно.

— Оттого, что у крепостника мололи муку при помощи ветра, а теперь в Самаре мелют ее братья Малюшкины при помощи пара и, может быть, электричества, отношения мелющих и владеющих мелющими машинами в своей основе остаются в том же единстве взаимностей. И оттого, как Малюшкины или Молоховюшкины воспользуются ими, таков и будет результат. Революционный взрыв или эволюционное тихое или скорое процветание производства. Захотят ли хозяева поделиться своими прибылями с теми, от благополучия и поощрения которых зависит нарастание прибылей, или попридержат эти прибыли у себя и тем самым замедлят их рост. Арифметика общедоступна, легко понимаема, но не всегда принимаема. Всякому предприятию нужна болеющая за него душа, а не бездушные в мундире.

Слушать Платона, строящего длинные фразы, затрудняющего их далекими для

Строганова выражениями, было утомительно, и все же он слушал не без интереса. Хотелось знать, чего больше в рассуждениях Платона — поисков истины или позирования, которое нескрываяемо проступало в нем. Поэтому Строганов спросил:

— Однако же, Тонни, не все управляют заводами одетые в синюю куртку и обутые в сапоги. Заводы управляются и господами в мундирах.

Платон тут же ответил:

— Судя по казенным заводам, которые я не беспристрастно и не поверхностно наблюдал, главы заводов чаще всего не являются их душами, а только главами, которые легко отсекаются и заменяются другими. Что движет ими? Ничто. Только привилегированная оплата и завидное положение. Не будь этого, не было бы и их. Я не представляю такого управляющего, который бы терзался за свой завод, не имея за это ничего взаимного. Может быть, таким мог быть кто-то подобный Родиону Максимовичу Скуратову. Но много ли их таких? Второго я не встречал и, надеюсь, не сумею встретить. Он не при заводах, а в них. Это не просто его поприще, но и смысл его жизни. Таких не бывает. И если есть, то я не могу себе представить их. Ему совершенно чуждо желание разбогатеть. В нем нет вкуса к личной собственности.

— А личная собственность, Тонни... Увы! — подбросил Строганов еще поленец и в камин, и в разговор. — Что вы скажете о ней, Тонни? Или она вам так же чужда, как и Родиону Максимовичу? Мне она не чужда. Грешен!

— Собственность — страшное слово. Собственность губит, испепеляет, укорачивает жизнь, приносит страдания. Я не привожу примеров. Они в театре, и в литературе, и вокруг нас. Василий Митрофанович Молохов медленно самоубивает себя заботами о том, что будет с принадлежащим ему.

— Собственность не чужда и таким добрякам с широкой душой, каким был изобретатель замков Кузьма Завалишин. Она сжигает его, если уже не сожгла. Собственность — страшнейшая из губительных страстей! Не так ли, Тонни?

— Это бесспорно, милый пролаза в мою душу! И если уж вы, Венечка, захотели заглянуть в ее оконце, то пусть поможет приоткрыть его маленький флакончик рижского бальзама с чаем. Моя дульцинея еще не спит, позвоним ей, попросим ее прикатить не отягощающее желудок и способствующее сну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Столик-коляска бесшумно вкатился вместе с такой же бесшумной горничной, шелестящей накрахмаленными юбками, и такой же молчаливой и такой изящной, как маленький глиняный флакончик рижского бальзама. Она, не открывая рта, спросила глазами, не нужно ли что-то еще, и, дождавшись знака, означающего «спасибо», грациозно прошелестела за тихо закрывшейся дверью.

Платон сам разлил из чайников с фамильными вензелями чай, затемнил его бальзамом и начал:

— Теперь о собственности. Вы правы. Собственность сильнейшая из страстей. Но она же сильнейшая из сил, движущих прогресс. Потеряв ее, не потеряем ли мы все, что делает нас сильнее, пытливей, совершеннее? На этот вопрос у меня нет определенного ответа. Я верю свершившемуся и всегда подвергаю сомнению имеющее быть свершенным. Имеющее быть свершенным более чем вероятно. И даже замок. Простой, дешевый, тридцатикопеечный замок не убеждал меня в своем успехе, пока я не увидел его. Я не полностью верил в золотые подковы, предложенные

губернатором. Я знал, что нужна хорошая подкова, чтобы копыта лошади не скользили, чтобы они твердо упирались в грунт. И ошибся. Нашлись тысячи людей, которым понадобились дорогие подковы, отличающиеся от таких же только гальваническим покрытием. Я верил в гвозди с насечкой «елочки». Они сопротивляемое держатся в дереве. Их в три раза труднее вытащить, чем гладкие гвозди, без насечки. Они не пошли. Их не приняли. Может быть, это консервативность привычки, но они не пошли. Сейчас, Веник, я дойду до сути, только допью этот стакан латышской мудрости и налью ее в другой, погуще. И вы так же сделайте. Бальзам помогает и языку, и ушам...

Здесь можно бы вписать маленький рекламный панегирик прославленному напитку, но ему едва ли полезна дополнительная известность. Бальзам действует и согревающе. Поэтому Платон снял легкий, атласный жакет на гагачьем пуху и, как истинный джентльмен, попросил извинения у Строганова, а тот, запросто сняв пиджак и жилетку, принялся расстегивать ворот сорочки, сшитой и отглаженной Агнией Молоховой.

— Теперь будем копать и вширь и вглубь, — продолжил Платон. — Разве я предполагал, что «составные» дома станут открытием? Их может делать всякий. В старую Москву доставляли не дома, а сборные деревянные церкви. А дома стали предметом ажиотажа. И, став им, я полагал, что конкуренты сумеют обойти мой патент и начнут делать свои. Для этого нужно так не много. Точный распиливающий и фугующий выпиленный брус, выверенный стан. И кто-то уже начал делать такие дома, но вскоре потерпел крах. Им недоставало малюсенькой подробности, которая называется общеизвестным словом — точность. Точность до доли градуса прямизны бревна-бруса. Лекальная совпадаемость угловых соединений. Точность длины и точность сечений всех изготавливаемых брусьев. Какие чувства заставили меня добиваться этой точности? Собственность!

Он умолк на считанные минуты, проверяя себя и отвечая себе:

— Собственность не в том качестве, в каком она представляется большинству. Не в боязни оказаться банкротом. И, оказавшись им, потерять средства к жизни. Их нетрудно добыть всякому имеющему голову и руки. Боязнь стать банкротом иного рода. Банкротом, потерявшим условия, атмосферу и, конечно, средства для созидания. Талантливый созидатель Родион Максимович не нашел такой атмосферы. Ему не дали возможности созидания на казенных заводах, потому что там он «при», а не «над». В этом смысле частная собственность — могущественнейшая из богинь. Да-да! Могущественнейшая из богинь, и я ей молюсь. Не по ее ли милости Шало-Шальвинские заводы стали предметом изучения знатоков промышленности?

Как вскоре оказалось, рижский бальзам воздействует на человека не только теплотворно, но и возвышающе его. Платон, начав с повторения сказанного им, развил свои заветные мечтания страстно и театрально, будто перед ним не Строганов, а тысячи слушателей:

— Дайте мне деньги и власть — я через три года закрою все магазины компании «Зингер», выкачивающие своими швейными машинами тонны русского золота. Дайте мне деньги и свободное право покупать сырье — я дам дешевые автомобили не для разъезда столпов Государственной думы, а для доставки грузов. Я с горечью смотрю на бездельничающие реки. А ведь они могут оевещать, сваривать металл, двигать станки. Собственность в руках созидателя сокрушит все препятствия и троны.

Платон допил стакан чаю с бальзамом маленькими глотками, стремясь этим не

возбудить, а освежить себя, и принялся говорить ровнее и тише:

— Я могу делать только мелкие вещи. У нас нет металла. У нас очень много металла и нет его. И в тиши зимних ночей я мечтаю о самых маленьких машинах.

О часах. Я разобрал и собрал дюжины швейцарских хваленых часов. Я разглядывал их шестерни под микроскопом. Жалкое зрелище. Самородный божественный мастер штампов Иван Уланов за два года женскими руками может начать выпуск изумительных часов. Дайте ему настоящую сталь — он будет штамповать часы, как штампуются замки. На швейцарские часы молятся. Кто? Образованные, но предельно невежественные люди, поклоняющиеся фирмам, начертанным латинскими литерами. И может быть...

Тут почему-то Платон остановился, оглянулся на дверь, затем подошел к ней, открыл ее и, кажется, проверяя, нет ли кого за ней, вернулся и сказал:

— Однако хватит, милый Венечек. Завтра утром будут утверждаться патентованнейшие из патентованнейших замки с цифровыми дисками для сейфов. Они много положат в сейф нашей фирмы...

— Спокойной ночи, Тонни!

— Спокойной ночи! Сегодня я сразу же усну и не буду думать ни о каких часах, ни о каком миллиарде...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Захлестываемое многосюжетностью, наше повествование уделило шало-шальвинской больнице очень мало страниц. Она же заслуживает большего. Там шла своя и очень интересная жизнь. Молодые врачи, имеющие право называться опытными, были предоставлены самим себе. Над ними не было ни земского, ни всякого другого надзора, чаще мешающего и реже помогающего ищущим, экспериментирующим, утверждающим себя врачам. Они не были бескорыстны, осев на время в далекой Шальве. Но не были и бездеятельны, получая значительные суммы.

Овчаров знал, за что платил, а они, зная, что получают много, боялись, что еще больше можно потерять, избаловавшись. Потерять самое главное — совершенствование своей профессии. Для больницы выписывались специальные журналы. Стали обязательными поездки в столицу дважды в году за счет Кассы — для пополнения знаний и ознакомления с новым в медицине.

Овчаров понимал, как важно, как необходимо, чтобы его врачи были вне конкуренции, как литье Рождественского, как мастерство Уланова. Для него доктора были «товарными мастерами», дающими нарастающие прибыли.

Больница славилась своим хирургическим залом. Он был миниатюрой столичного. Хирургия всегда оказывалась наиболее заметным и впечатляющим лечением. Здесь, в Шальве, осваивались новые и по тому времени редкие виды операций. Один из них был тем, который привел в больницу осмеявшего ее, Василия Митрофановича Молохова.

Ему предстояла трудная, редкая по тем временам операция по поводу предстательной железы. Молохов тянул, надеялся на излечение травами, облегчался отставным полковым фельдшером. Доверялся двум шарлатанкам — Лукерье Болотной вещерице и страшной старухе Миронихе.

Но, учуя нутром, что «верные коренья» Миронихи могут стать его верным

концом, не прикоснулся к ее снадобьям. Не верил он также и главному хирургу хваленной шальвинской больницы. Подозревал, что им ради большой деньги придумывается операция... Когда же земский доктор, приехавший из Нижнего Тагила, сказал, что лекарств от этой опухоли нет, что успешные операции делают только в Питере да в Шальве, где найдены верные хирургические способы в один прием исцелить больного, если у него хорошее сердце, а оно, по заверению тагильского доктора, у Молохова работало, как сормовский паровик. Молохов склонялся к операции и тем, что в Шальве ее перенесли десятка два стариков и среди них назывались знакомые люди из простых и господ.

Куда уж ехать дальше, если в Шальву привозили откуда-то превесьма именитое лицо, которое лежало в большой отдельной палате, при охранении офицеров жандармского корпуса, и доктор получил за излечение серебряную медаль, а Овчаров — почетный кафтан.

Оставалось послать Агнию к Платону. Платон тут же призвал, при Агнии, Овчарова и сказал, что делом чести фирмы является излечение Василия Митрофановича.

Председатель Кассы назначил за операцию такую сумму, что и Платон, привыкший считать по-крупному, вышел из себя и сказал:

— Не рехнулись ли вы, Александр Филимонович? Все ли дома у вас в голове?

Когда же они остались одни, Овчаров ответил:

— Таких не жалеют. Как он поступал с нами? Вспомните, Платон Лукич, как он запер нам сначала железо, а потом медь. Теперь, когда его самого заперло...

— Александр Филимонович, не вмешивайтесь в дела фирмы, они не касаются Кассы.

Овчаров впервые показал зубы:

— Кассы, Платон Лукич, касается все, что касается рабочих. Молохов их ущемлял. Касса ущемит его... Дорого — пусть гонит в Питер.

— Есть же нравственные основы медицины...

— Отцу Никодиму скажите об этом, Платон Лукич, он поймет. Больницу содержит Касса. Чужих больных через край. И со своими едва управляемся. Ложатся в больницу и с тем, с чем раньше от наковальни не отходили. Шибче стали рожать. Дома не хотят больше баней пользоваться. Придется пристраивать крыло к женскому отделению. Хирург требует не самоучку, а настоящую хирургическую сестру, после того как самоучка зашила брюхо не так и что-то оставила там. Пришлось больного класть и распарывать шов. Хорошо, что он был свой, номерной, а не коммерческий... Больница вот у меня где сидит. На загривке и в печени...

Овчаров умел утомить своими доводами. Платон попросил Строганова повлиять на него. Вениамин Викторович принялся внушать Овчарову высокое и благородное, а он:

— Вы, господин сочинитель, не сочиняйте мне душещипательный дым в глаза. Я рабочая кость, а вы неписанный зять этого ворона. Посему вы не нейтральное, а очень даже тральное лицо. И если уж говорить трально, по всем статьям, то чем вам и фирме будет хуже, если его предстательная железа представит злодея в мир, где нет ни смраду, ни доменной копоти, а одни белые или там черные ангелы, смотря по весам, на коих херувимы выверят земные деяния раба божия Василия?..

Строганову хотелось ударить по лицу Овчарова толстой тетрадью, с которой не расставался Вениамин Викторович. Но такое нельзя позволить себе. Он же

парламентар. И кроме этого, возводя самооборону, Овчаров сказал:

— Откажусь вот сегодня же от Кассы. Скажу, что не вмоготу. Скажу, что фирма препятствует процветанию рабочего лечения... Тогда Шальва узнает, какие бывают волнения и бунты, когда нарушается священное равновесие...

Увещевать было бесполезно. Овчаров, как бойцовый цирковой петух, не защищался, а наускаивал. Пугал. И тут же, прикидываясь наседкой, защищающей своих цыпляточек, с елейной наглостью «квохтал»:

— Миллион, что ли, я ему назначил, хотя и мог запросить половину его? Жизнь-то ведь дороже. Ее и за все печи не купить. И прошу-то я какие-то там сто тыщенок. По его деньгам это тьфу! Зато новая, дорогая хирургическая сестра. Зашивка патентованными нитками в целлулоидовой таре и гарантия в случае летальности вернуть деньги полностью его наследникам. Это ли не благородственность, это ли не радение Кассы за здоровье и благополучие попиравших ее...

Родион Максимович тоже не помог, хотя он и сказал очень решительно:

— Ты, Александр Филимонович, окончательно ставишь нас под удар. Молохов ответит нам худшей препоной. Он не даст пройти нашей ветке на станцию по его земле. А это почти две с лишним версты обходной насыпи, рельсов и шпал.

— Даст, Максимыч, даст. У него камни в обеих почках. В одной три маленьких, в другой один, довольно большой. Об этом ему пока не сказывали, а когда надо будет, я извещу его, через какую землю его дорожка идет и на какую станцию может привести...

Последним разговаривал с Овчаровым Флегонт Борисович Потоскуев.

Хорошо, Александр Филимонович, пусть будет не по-вашему, не по-нашему. Вношу сегодня же, если вы согласны, пятьдесят тысяч за операцию. Только об этом не должен знать Молохов. Выпишите ему бесплатный талон.

— Пусть будет так, Флегонт Борисович. Остальное доберу не мытьем, так катаньем. Я не о себе думаю, я изболелся за рабочий народ... Думаете, легко моему сердцу дорогих «грязелек» для «Веселого лужка» выписывать и осквернять заводские номера, которые придется им выдать и числить по спискам фабрики «Женский труд»?

Пространно перечислял свои заслуги Овчаров, утомив еще одного слушателя, переводящего на счет Кассы пятьдесят тысяч рублей.

Оставим пока поднадоевшего и нам радетеля «казны не для себя» и зададимся другим вопросом: почему с такой ненавистью все окружающие относятся к Молохову? Почему? Разве он хуже и коварнее других уральских заводчиков, создающих свое благополучие на дешевых рабочих руках, на безысходной участи тружеников, привязанных домом, коровой и другой живностью к своему огороду, который так же привязывает вынужденного мелкого собственника к земле, на которой он родился и вырос и в которой лежат его предки, такие же горемычные, рано загнанные заводской кабалой под могильные плиты?

Все знали, что ни один заводчик не нажил своих капиталов без ограбления рабочих и обмана. О Молоховых говорили хуже, и даже, скажем, очень плохо. Об этом рассказывает запись Вениамина Строганова со слов Флора Лавровича Кучерова. Он грамотный, бывалый человек. Служит при Кассе покупщиком породистого скота для продажи его рабочим в рассрочку. Запись местами пришлось сократить, затем найти связки для вычеркнутых кусков из рассказанного Кучеровым.

Вот как она выглядит в окончательном виде.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Видишь ли, Вениамин Викторович, всяк свой род помнить хочет и другим не дать забыть. Хоть бы я. Мы, Кучеровы, потому и Кучеровы, что искони в кучерах жили. Гордиться нечем, и стыдиться тоже негоже. Кому что! А есть такие, что прятают свое племя, свой род. Значит, таким нежелательно свою стародавность на люди выносить.

А от людей разве можно что спрятать? Они все знают, все помнят и всему свой счет ведут. Был один верный старик, которого мой тятенька своим ухом слыхивал.

Откуда Молоховы взялись? Разнобойно об этом сказывают. Одни говорят, что с Дона сбежали, другие — с Яика. Откелева они ни сбеги, все равно на Урале прибеглые. Три брата их было. Звались они будто бы Молоковыми, а стали для утая Молоховы. Все трое стрелки. Тоже можно поверить. И на Дону, и на Яике у казаков первое дело стрельба.

Зверовать начали. Всякого зверя брали. Осели. Семьями зажили. Спервоначала так себе, а потом прытко забогатели. Стали пушнину и золотишко перекупать. Пушнину — открыто, а золото — скрыто. Скрыто и зеленое зелье гнали. Дружбу с коренными охотничьими ватажниками свели. Из диких людей они были. Пням поклонялись, а русским царям — никак. В лесах таились. Их-то и начали приваживать к себе братья Молоховы. Те шкурки, которым цены нет, несут, а они им что ни попади. А больше всего убийственное питье. Насмерть спаивали.

Широко дело пошло. Фартило незнамо как, а самый большой фарт ближе сыскался. Совсем рядом. И этот фарт худородным серебром прозвали. А прозвали так его потому, что он по виду на серебро смахивал, а блеску в нем не было. Ко всему худо ковался, туго плавился. Не то что медь. А скупщики находились. Мало платили, но брали. И Молоховы тоже стали брать. Про запас.

А вскорости одна бумажная душа шепнула тайно Молоховым, что это худородное серебро зовется платиной и цена ему дороже золота.

Что тут началось! Шептун был скрыто одарен. А Молоховы принялись скупать это «серебро», где только можно, будто бы для отправки на литье колоколов. Для лучшего их звона.

Бумажная, чиновная душа опять предупредила о бумаге, в которой объявлялась на платину цена. Новый подкуп: только попридержи бумагу.

Теперь Молоховым некогда было ямы рыть. В медвежьи берлоги припрятавали драгоценную наживу... Когда же бумагу стало невозможным далее таить, Молоховы и тут не оплошали. Волосы начали рвать на себе и до того ловко горевали о том, что продали для колоколов все скупленное ими серебро.

Легко обман сошел с рук, да трудный был дележ зарытого богатства. Старший брат Никифор потребовал половину, а остальным двум братьям хотел отдать по четверти платинового богатства.

Люто начали спорить братья, да тихо прикончили свой спор. Ножом!

Прирезали они старшего брата Никифора и сожгли убиенного. Всех на ноги подняли. Чего только не напридумывали, а потом все на одном сошлись. На волках.

Никифор смолоду любил лесовать. Далекко захаживал. В самую таежную глушину. По неделе охотничал. Дорогого зверя приносил. И теперь не от нужды, а для души охотничал. Уважал ночевать в лесу. Ну вот и доночевался.

И где теперь его кости искать, когда на мерзлую землю снег лег? Весна разве что покажет, если не все волки порастащили. Может, хоть что-то найдется, чтобы земле предать.

Так и стиб без отпевания, без могильного камня старший брат Молохо1В. Безутешно рыдали младшие братья при всем честном народе. А без народа побаиваться друг друга начали. И не зря побаивались.

Когда грех совершил один человек, он один и мается с ним до смертного часа. А потом с собой уносит. Когда же двое в одном грехе живут, то каждому думается, что, ежели какой-то из двух языков сболтнет по пьяному доверию или жене не то слово обронит, тогда обоим верная каторга.

Так вот они боялись друг дружки года с три. А на четвертый год невоготу стало в боязни жить. А как боязнь избыть?

Разъехаться разве что? А куда? Как ни велик мир, а в нем не затеряешься. Везде сыщут. Да и каково в чужой державе жить?

Разъезд возможен только один. Только один. Так они и порешили. Не вместе так порешили, а порознь. Средний брат желал на этом свете остаться, а младшего на тот переселить. Младший того же хотел для среднего.

А как?

Ни тому, ни другому нелегко второй грех брать на себя. Рука не подыметя. А если и подыметя, дрогнуть может. Брат ведь. Вдвоем-то одного легче было. А тут один одного. Страшно.

Опять думать стали. Порознь. Все перебрали. Ничего не нашлось, что бы не с глазу на глаз — и концы в воду. А потом одному из них, младшему, Митрофану, совсем негаданно корень жизни, что женьшенем зовется, смерть подсказал. Средний брат Евсей пользовал его. Сильно ободрял он его. У китайцев корень брал. По сотне плачивал. А на эту зиму большой корень купил. Купил и на сохранность в надежное место спрятал. Про это место только младший, Митрофан, знал. Другой раз для себя малость отламывал. Для пробы. И больше для баловства.

И вдруг, Вениамин Викторович, средний брат Евсей, никогда не знавший хвори, скончался одночасно. Причину смерти сразу же установили, а где причинщика искать, который продал Евсею ядовитый корень, никому не ведомо. Никто этого женьшенщика не видел, не слышал.

Младший брат, горюя об Евсее, сорок дней молился и постился, а потом сам занемог. Братья стали по ночам его душить. И сказывают, что Митрофан умер от удушья, а платину все же успел частью продать, часть перепрятать и завещать единственному сыну Василию. Об этом знала Митрофанова жена, и будто бы она перед кончиной на исповеди призналась попу в прегрешениях трех братьев. И надо думать, что через попа стало ведомо, откуда Василий Митрофанович оказался богат. А как он стал еще богаче, если вам желательно об этом, Вениамин Викторович, записать, то поведаю про это после небольшого передыха.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Некий, такой-сякой, безвестный молодой барон Котторжан за какие-то такие заслуги был жалован царицей рудными землями в наших местах и заемными деньгами из царской казны, для постройки медных и доменных печей.

Получив земли, леса, речки, заемную казну, он должен был поставлять железо и

медь, для чего ему были дадены люди знающие и умелые. Они-то и занялись заводами, а сам Котторжан порешил строить себе такое каменное чудо, какого и не видывали. Сам указывал, сам показывал, как и что, а до этого место нашел, на озере. Небольшое и тогда было это озерцо. Посреди этого озерца был скалистый островок. Чуть больше полудесятины. Вот на нем-то и порешил барон свой дом-замок поднять.

Тьму-тьмушую народу нагнал. И чужеземцев раздобыл. Деньги не свои. Не хватит — еще попризаймет. Года с три, видно, громоздили ему невесть какую громадину. Церковь не церковь, мечеть не мечеть, на тюрьму тоже не похоже, а она, к слову говоря, тоже там была. Чужеземные мастера ему дело советуют, а он свою прихоть тешит. И рад-радешенек своей каменной уродине. Нутро-то ее, не говоря напраслину, на дворцовый лад было. И парчовые палаты, и расписные. Потолки сводчатые, полы где как. И каменно-мраморные, и узорчатые, из разного дерева. Дорогу от берега к воротам замка насыпал. А ворота не как у всех. Откидные, на цепях.

Заводы тоже приспели в свой срок. И хорошо дело пошло. Руды богатые, лес даровой, работный люд того даровее. Заточенных ему пригнали. Их только кормить надо было, а тюрьма готовая. Без хлопот для казны. Поселяй знай в нее, сколько нар влезет. А когда заточенным вовсе негде спать стало, над нарами другие нары, как бы полати, понастроили. А случилось и в очередь спали. Тех, что днем на работу гоняют — ночью спят, те, что ночью работают, спят днем. Приноровились круглые сутки кровь пить.

И жил бы так да жил барон, прозванный «Каторжаном», при заводах до старости, если б не ожаднел до бесчувствия. Прибытки лопатами греб, в чужеземные города переплавлял, а казне по заемной повинности и самой малости не исполнял. Отнекивался. Пождать, потерпеть просил. И терпели сколько-то. Ждали. А потом разом и терпение, и жданы кончились. Как ножом отрезались. На престол другая величественница села, а за старое царицыно баловство в ней злость разыграла. Про это в бумагах тоже не сказывалось. Знаемо только то — велено было барона конвойно в Питер пригнать, а заводам указано казенными быть.

Дёру дал барон, и ни слуху ни духу с той поры о нем не было. Осталось только прозвище его — Каторжан. Так и дом Каторжановым замком звался. А потом строго-настрога, под страхом поротым быть, велели забыть это прозвание. Барским домом замок приказано было звать. Так и зовут, а про себя старое клеймо помнят.

Недолго Каторжановы печи казенными подымили. Казенные управители тоже умели деньги считать, не обижая себя. Довели дело до полного конца. До такого конца, что и продать Каторжановы печи было некому. Не находилось таких. Долго не находилось. Совсем отчаялись было, да объявился человек, который искал, как лучше дать ход своим деньгам. И был им не кто иной, как наш Василий Митрофанович Молохов. Ему тогда лет двадцать с чем-то было. Хороший подсказчик к нему прибыл. Амосов Николай Поликарпович. Ученый и золотой человек. В одних годах с Василием был. И рвался этот Амосов к большому делу, а держали его при казенных заводах на малых делах. При печях. Вот он-то и задумал вернуть жизнь баронским печам.

Году не прошло, как одна за другой домны дышать начали. А потом за медь взялись. И опять фарт. Василий даже пальцем не шевельнул для того, чтобы чугун и медь золотой рекой потекли. Был купцом — заводчиком стал. С вывеской: «Заводы Василия Молохова».

И на чушках, на слитках его имя значится. Не скупился Молохов смолоду,

хорошо платил Амосову и доверял ему во всем. Это потом Молохов сатанеть начал, а тогда все к нему льнули. Скажем, не к нему, а к Амосову. Амосов был хоть и не из простых, а рабочий люд почитал. Самые отборные у него работали.

Самое дешевое у нас железо было демидовское, а молоховское стало еще дешевле. Заброшенные дома в Каторжановке расколачивать начали, новые дома стали рубить. По заводу и рабочее поселение переименовали — Молоховкой. И сам Молохов вздумал Каторжанский замок раззамочить. Там все как было, так и осталось. Только от пыли да от крыс надо было избавиться. И это Амосов сделал, а потом и сам замок малость очеловечил. Посшибал с него ненадобную башенную несусветицу и всякое такое, что дурак Каторжан для форсу приляпывал. Всего замка он перестроить не мог, тогда бы заново строить пришлось, а что-то мог — сделал.

Дом на дом походить начал, хоть и не весь, а начал. Осталась кое-какая смешнота. Ворота, скажем, цепные, Пики острями к небу по стенам торчат. И многая другая нездешность.

Ну, да что об этом говорю! Вы же сами все это видите, бывая у Агнии Васильевны. Мне о том нужно говорить, что вам незнакомо и что людям надо знать.

Ну вот... Пожил так сколько-то Василий Митрофанович, а потом вдруг переменялся. Другой жизнью зажил. Гостей не зовет. Пиров не пирует. На ночь цепные ворота подымает. Слуг держит самых верных и в малом числе. В самом же доме только трое живут. Старик лакей да две горничные из сирот. Остальных скольких-то там в пристроях держит.

Таким он после первого бунта стал. А первый бунт после ухода Амосова начался. Не поладил он с ним. Ему желательно было дальше дело двигать, хотелось новую сталь варить, которая всем сталям сталь, а Молохов не схотел. Зачем, дескать, она нам, когда без нее дело хорошим-хорошо идет?

На перекате своих лет Молохов вовсе дичать начал... И было от чего. Дядья, убиенные его отцом, являться к нему начали и стали требовать их сыновьям и внукам в должном паю платину раздать. Василий-то от матери знал, что это за паи.

Он, конечно, им наотрез и по башкам их медным тяжелым крестом лупит. А они же не телесные. Только видимость одна, а сами духи!

Мало этого — и отец, его Митрофан из-под своего стопудового памятника с кладбища приходил начал и требовать дать покой его душе и по-божески одарить его двоюродных братьев. Сынам старшего убиенного в лесу дяди — половину, сынам другого дяди, Евсея, отравленного женьшенем, — четвертую долю, а ему, Василию, оставить при себе тоже четверть всего, что есть.

Чувствуете, Вениамин Викторович, куда дело поехало?..

Теперь прикиньте, Вениамин Викторович, как он им домны отдаст при его скарденности... Нажитое им отец тоже требует разделить. На платиновое же богатство он свои богатства приумножил.

В монастыре стал пробовать от покойных дядьев и отца прятаться. Да им что. Хоть каменные стены, хоть озерная преграда. Духи же! А он книжек никаких не читал, про галлюцийность всякую не слыхивал, а к доктору все же кинулся. По этим болезням он был. Умопомраченных пользовал. Помог малость Василию Митрофановичу. Без огня начал спать. Доктор по душевным болезням отвлекательные занятия прописал.

И теперь он почти что в своем уме. Не в своем только одно. Втемяшилось ему в голову, что души дядьев, поселившись в других телах, отберут, унаследуют его печи, а

до этого укоротят ему жизнь. Поэтому, не гневьтесь на правду, Василий Митрофанович, не мешая вашей любви с Агнией Васильевной, никогда не даст благословения на ваше венчание. А про остальное вы все сами знаете, да и устал я, по правде говоря, ворошить эти шлаковые отвалы. Но я не мог не рассказать вам, коли вы тут хоть и пятое колесо, а в той же телеге...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Зная эту историю в пересказе Флора Лавровича Кучерова, нам понятно, почему перед операцией Молохов завещал все движимое и недвижимое, кроме пятиста тысяч на дожитие его жены Феоктисты Матвеевны, своему внуку Платону Молохову, которому передавал, как богом данному, свое отчество.

Отдельно, в особой бумаге, также нотариально заверенной, он говорил:

«Опекуном моего наследника Платона Васильевича Молохова прошу быть господина Строганова Вениамина Викторовича и прошу оного до принятия опекунства присягнуть перед богом и мирским законом не усыновлять моего внука Платона Васильевича Молохова, а по сему и не быть венчанным мужем дочери моей Агнии Васильевны Молоховой, кою я благословляю пребывать в благонравном гражданственном браке, в каком они с моего отцовского благословения и пребывают по сей день письменного выражения моей отцовской воли».

Не удивительно также, что Овчарову, навестившему его в больнице перед операцией, сказал:

— До чего ты, великий казначей, смахиваешь на моего покойного дядю Никифора, который нынче требовал у меня во сне отписать две мои домны Кассе, а одну — беспутному Клавке Акинфину.

А хирургу Молохов, так же сиясь улыбнуться, заметил:

— Ежели вы меня, доктор, зарежете, то я на том свете буду молиться за вас, ибо такое зарезанье не могли учинить вы, ангельской души человек, а кто-то другой, вселившийся в вашу плоть.

Сказанное сочли результатом подготовительных к операции лекарств.

Агния Васильевна не покидала больницы. Ей давали успокаивающее. Она, бледная, горемычная, исхудавшая, не могла скрыть слез.

После операции отца силы вовсе оставили Агнию. Пришлось положить в больницу и ее. Три недели она провела там и осталась в ней, когда Василий Митрофанович был на ногах и в полном здравии.

Ему бы радоваться и благодарить судьбу за счастливый исход, а в нем проснулось ожесточение. Он был убежден, что его не отправили на тот свет только из-за боязни быть уличенными, что струхнул и доктор. Зачем ему каторга? Ведь на следствии выяснится все. Тогда придется сказать, за сколько и кто спасителя жизнью заставил быть убийцей. Суду стало бы известно, в каких отношениях теперь находятся Акинфины и он. Как хотел Платон вовлечь его в акционерную кабалу, а он не захотел быть в ярме.

Теперь Василий Митрофанович, оживев, чувствуя себя независимым, изливал свою злобу и там, и на том, где не позволил бы себе и наипаскуднейший крохобор.

Приехав навестить выздоравливающую после нервного потрясения Агнию, он зашел в кабинет Овчарова и по-купчески, как в трактире, сказал:

— Сколько с меня? Попрошу счет!

— Не беспокойтесь, Василий Митрофанович, за вас избыточно уплатила фирма.

— А я не желаю, чтобы кто-то за меня платил, да еще избыточно. Я хочу по совести, из копыя в копье, до полушки.

— Вот и заплатите по совести Платону Лукичу.

— Зачем же ему? Больница-то ваша. Верните ему, а я уплачу свое тоже избыточно. Пиши, великий казначей, я скажу, что почем... Начну с помещения. С палаты. Ценю как за номер в дорогой гостинице. Семь гривен за сутки — это красная цена. Прибавляю до рубля. Перемножь потом на прожитые сутки и впиши в счет. Последние сутки были неполные. Утром выбыл. За няньку... Сколько же ей поденщина? Четыре гривны. Клади восемь гривен. Ночью вставала. И опять множь восемь гривен на сутки.

Овчаров, стиснув зубы, молчал и слушал, а Молохов, распоясавшись, издевался:

— Теперь еда. Кормили жидким отваром с тощей курицы. Не знаю, во что и оценить эту жижику с манной кашкой...

— Цените в пятак, Василий Митрофанович!

— Зачем обижать? Можно и восемь копеек... Пусть все двадцать. Теперь самая главная плата за вырезание нароста. Будем считать так. Ежели выписной инженер получает триста целковых в месяц, значит, на день ему приходится десять рублей. Скостим праздники. Пусть будет двенадцать рублей. Шестнадцать пускай для круглоты. Выходит два рубля в час, а резал и зашивал он меня сорок пять минут. Сколько же? Не полтора же рубля, если без чаевых, за операцию... Мало ведь, господин Овчаров, получается... Он же еще подготавливался. Усыплял. Просыплял... Пожалуй, полные полдня провозился. Выходит...

— Не подсчитывайте, сделайте милость! — прикрикнул Овчаров. — Я тоже считать умею, если понадобится.

— Не понадобится.

— Как знать, Василий Митрофанович, все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками. Почки и те, когда они исправны, так никто и не знает о них. А когда, к слову говоря, окажется в одной камень, а в другой три, когда человек на стену лезет, тогда все готов за вынутие этих камней отдать...

Молохов готов был сжечь глазами Овчарова.

— А что все-то?

Овчарову не хотелось говорить тех слов, которые он сказал:

— Смотря по достатку, смотря по недвижимости... С иного за большой камень можно и большую домну спросить, а за маленькие камни по малой медной печи за каждый! И отдаст!

— Понял! Теперь я окончательно уразумел! В тебе Никифорова душа.

— Какого Никифора?

— Тебе лучше не знать... А я... А я, будь во мне тысяча камней, ломаного шамотного кирпича не отдам за них. Окаменею, но ничего не отдам Никифору... Последний спрос — сколько денег за мою погибель отвалил Кассе Платон?

Овчаров, боясь за себя, поспешно вышел и хлопнул тяжелой дверью.

ЦИКЛ ВОСЬМОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Овчарову в этой главе придется повторить свое грубоватое выражение: «Все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками...» Сердца он не упомянул, оно не в его строке.

Сердце Луки Фомича Акинфина не беспокоило его, редко давая знать о себе. Всегда бодрый, он не отказывал себе в удовольствиях плотно поесть, умеренно выпить и при случае заглянуть под модную шляпку. Окружающие называли Луку Фомича молодящимся франтом на склоне лет.

Таким он выглядел вчера, на открытии Кассой загородного ресторана «Веселый лужок». Молодой и красивый отец Никодим отслужил молебен на открытие нового, благоприятствующего отдыху заведения, благословил его перед провозглашением басовитым диаконом «Многая лета».

Пристольные девушки из местных и приезжих- были на молебне в длинных платьях, про которые тот же отец Никодим изрек: «Из всех самых коротких платьев самое короткое то, что самое длинное».

Парадокс был оценен сидящими за главным столом вместе с отцом Никодимом, запивавшим новейшие рекламные блюда свежим березовым соком, разбавленным смирновской водкой. Десерт запивался им клюквенным морсом, в который можно было подмешивать любые вина.

У главного стола так же рекламно прислуживали выписанные и отобранные лично Александром Филимоновичем девушки, умеющие подать, предложить и прислужить по-столичному. Были среди них и такие, что в «Веселом лужке» составят счастливые партии, став любящими женами и примерными матерями.

Очень большое впечатление произвел ресторан на съехавшихся из ближних и дальних заводов. Особенно восторгался среди других Антип Сократович Потаков. Расчувствовавшийся, он произнес спич и неосмотрительно предложил бокал прехорошенькой девушке, подающей шампанское, за что получил от Кэт излишне звонкую пощечину. Потаков объяснял сидящим за столом:

— Вы видите, как шаловлива моя милая, резвая ревнивица Кэт.

Сказав так, он коснулся подбородка прехорошенькой девушки и получил вторую, еще более громкую пощечину.

Здесь же, за одним из крайних столов, притулился Кузьма Завалишин со своей Зинаидой Сидоровной. Он полинял, постарел. Она цвела, утопая в розовом кружевном платье. Они приехали на паре «таксебейных» обвинок. Мотор пришлось продать. Дорого стоил питерский моторист, да и Платон Лукич сжалился, дав за мотор его цену по счету фирмы. Теперь и Кузьме и ей приходилось дорожить деньгами. Новый завалишинский замок, лихо спрашиваемый в первые месяцы, не оправдал надежд. Винты «прикипали», с трудом отвинчивались, что-то заедало внутри. Неоткрывающийся замок приходилось распиливать.

Банкротство не предвиделось, но похожее на него чуялось.

Завалишин и Гранилина не пришли бы сюда, в «Веселый лужок», если бы не было объявлено угощение бесплатным.

Оставим мечтавших стать миллионерами, назовем тех, кто не был. Агния Молохова, Вениамин Строганов, Платон и Скуратов, а с ними и другие не нашли для себя возможным появиться в этом «Лужке». Достаточно и того, что глава фирмы со своей супругой развлекаются здесь, попивая десертные и игристые вина.

Они весело награждают певиц, бросая им золотые монеты, завернутые в

конфетные бумажки, не зная того, что это для них последний вечера последний ужин.

Вернувшись домой, Лука Фомич оживленно рассказывал Платону, что было там, как жадно считал Овчаров будущие прибыли.

Довольный отец, счастливый глава фирмы, радуясь запахам первой теплой весенней ночи, вскоре крепко уснул и не проснулся.

Утром завывные гудки заводов Акинфина проревели о смерти их главы.

Застучали телеграфные ключи. Получены ответные телеграммы. Приедут Лучинины. Цецилия умоляет Платона держаться и принять утрату как неизбежность неминуемого.

От Клавдия еще нет вестей на разыскную телеграмму, да и скоро ли она найдет его, отдавшегося во власть гастролей музыкально-вокальной эксцентрической труппы? А если и найдет сегодня, то никакие курьерские поезда не успеют примчать Клавдия к дню погребения отца.

Жалостливая и любящая мать Калерия Зоиловна была непосредственна и на этот раз:

— Оттого, что по мертвому отцу будет надирать свою душу и второй сын, новопреставленной душе краше не будет, а Клавочке с его хлипким здоровьем может стать совсем худо на похоронах.

Платон окончательно понял, а поняв, недоумевал, как могли прожить столько вместе два чужих человека, называясь мужем и женой.

Калерия Зоиловна, стараясь скрыть свое желание прочитать завещание мужа, не могла этого сделать. Она знала, что написано в завещании, составляемом при ее участии. Однако у нее закрались сомнения: не переделал ли он втайне от нее написанное и не обделил ли не любимого им Клавдика?

— Мама, — сказал ей Платон, — то, что ты ищешь в сейфе, вероятнее всего, лежит в ларце вместе с «Поминальным численником».

— Да, наверно, Платик, но это успеется... Но если тебе хочется знать волю отца, я открою ларец.

Калерия долго и нервно искала ключ от ларца. Отчаявшись его найти, она увидела его в замке. Еще торопливее, еще возбужденнее листала она «Поминальный численник», меж листов которого могло быть завещание, и, снова отчаявшись в поисках, так же неожиданно нашла его на дне ларца. В большом конверте. На конверте было написано: «Сыновьям моим Платону и Клавдию».

Конверт разорван. Завещание в ее руках. Она проверяет написанное и, сдерживая улыбку, произносит громко:

— Оно! То же самое... А я-то подумала, грешница...

И тут же, войдя в большой зал дворца, где на столе лежал Лука Фомич, она подошла к Платону, пожалала ему руку выше локтя и шепнула:

— Он вас обоих любил поровну. И поровну разделил все тебе и Клавдию...

— Мама, постыдилась бы ты отца... Он еще дома, — сказал Платон и перешел к изголовью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Цинизм, как бы утонченно ни обрамляли его, как бы ухищренно ни украшали, всегда проступит в любом одеянии, — говорила Цецилия своему отцу Льву Алексеевичу и мужу относительно вызывающе нарядного, сверкающего саркофага.

Такие про запас изготовлял Урван Лихарев, на случай преставления ко господу именитого купца, заводчика и всякого богатея, коему положено торжественное погребение.

— Так решила мама, и я, Лия, не вправе указывать ей. Для нее похороны торжественно-траурный ритуал... Мы все, — добавил Платон, — немножечко циники. Критиковать заслуживающий этого гроб также отчасти... Ты понимаешь меня...

А Лихарев был счастлив! Его творение удостоено такого признания.

Это также цинизм, сказала бы Цецилия. Вдохновенный цинизм художника, влюбленного в свое произведение, не задумывающегося о его назначении.

Цинизмом было громкое раскаяние у гроба Луки Фомича замочника Кузьмы Завалишина. Он просил душу Луки Фомича, пока еще она находится на земле, внушить Платону простить злосчастного Кузьку за измену фирме правды и равновесия, наказанного подколотной змеей Зинкой Гранилиной, выгнавшей его из дома и сказавшей, что теперь хозяйка только она и что нет ничего принадлежащего Кузьме, ибо все записано на нее.

— Кто бы мог подумать, господин новопреставленный Лука Фомич, что ею будет содеяна такая пакость!

— Перестань, Кузьма, — остановил его Платон, — неуместны здесь такие представления... Уведите его...

Вслед за уведенным упирающимся Завалишиным вышел и Платон.

— Можешь завтра же, балаганщик, возвращаться на старое место. Если тебе простит твоя жена... Я прощу.

Этого только и нужно было Кузьме Завалишину. Он утер сухое лицо и побежал к семье, в свой старый дом.

Цинично-торжественны были и самые похороны. Согнали двенадцать священников и двенадцать диаконов. Дорога до кладбища была усыпана свежей хвоей и первыми весенними цветами. Старый экипаж был превращен в катафалк, покрашенный белилами и украшенный белыми махровыми кистями. Как только хватило времени и выдумки у вдовы, причитающей по умершему и очень часто теряющей сознание.

Катафалк пустым везли шесть белых лошадей. На нем не был бы виден золотой саркофаг, который двенадцать нанятых, одетых в белое, несли на вытянутых руках, как и крышку.

На сто человек затевался поминальный обед. Штильмейстер составил, отпечатал, и разослал сто траурных поминальных приглашений с золотым обрезаем.

Желающие помянуть, кто бы они ни были, номерные или нет, на базарной площади могли подойти к длинным, сколоченным из теса столам, на которые подавалось тут же варимое и наливалось из бочек на телегах. Так же бывало на масленой неделе и в Пасху.

Цинизмом было и появление Молохова. Он просил в чем-то прощения у покойного и обещал снять часть запрета на чугунные чушки и медные слитки. Это теперь ему было крайне необходимо. И все понимали, зачем он, перекрестясь, целовал побелевшую, холодную руку покойного.

Вероятно, цинично и перо, кусковато и тенденциозно описывающее немного из этих широких купеческих похорон. Но не просить же жесткому перу его мягкую сестру — акварельную кисть, чтобы она снисходительнее нарисовала траурный карнавал и заставила его выглядеть скорбной церемонией, так как не было для этого

скорбной природы, кроме разве Платона. Но и он скорбел тоже, как и мать, только о потере привычного для него равновесия в семье. Об уходе человека, называвшегося отцом и мужем, за которым было последнее твердое, но не всегда решающее слово.

И близкая когда-то Акинфиным семья Скуратовых не могла жалеть Луку Фомича за обиды, причиненные им Родиону, не защитившему его от Шульжина.

Для населяющих Шалую-Шальву старый хозяин стал безразличен, а за последние годы двуличие Луки затмил его сын своей прямоотой и неслыханным улучшением жизни, заработков и труда на заводе. Шальвинцы знали, по прошлому, что всякая смерть хозяина приносила перемены — когда к лучшему, когда к худшему. Какие они будут теперь, если в самом деле молва не врет, что заводами будут владеть два хозяина? Не нотариус, а его переписчица проболталась о равных долях наследования заводов Платоном и Клавдием. И это, казалось бы, касающееся только двух братьев, коснулось всех.

Все знали, что за птица Клавдий и каков у него полет. Не оживет ли в нем дух того мота и прожигателя Акинфина, что ради возведения цирка заставил голодать шальвинцев?

Пока люди судили-рядили, старуха Мирониха, еще более возомнившая себя святой, тайной карающей рукой подневольного люда, раздумывала, каким из отобранных ею четырех «средствий» отправить Клавдия вслед за отцом, так погано и губельно для людей написавшим свое завещание.

Траурный номер строгановской газеты сдержанно сообщал о жизни, прожитой Лукой Фомичом. Вениамину Викторовичу дали прочесть «Поминальный численник», и он нашел необходимым умеренно воспользоваться им, стараясь не прибегать к восхвалению рода Акинфиных.

Более двух столетий столпы этого рода умножали его владения, и, судя по «численнику», не было ничего хулящего в этом умножении. Но из памяти Вениамина Викторовича не уходило рассказанное Флором Кучеровым о роде Молоховых. Поэтому Строганову трудно было допустить, что в богатствах Акинфиных не было примесей «худородного серебра» в какой-то из его разновидностей.

Не стоит об этом. Дадим земле принять прах, обереженный от нее могильной выкладкой из кирпича.

Хоронили Луку Фомича в длинный майский вечер, чтобы, не останавливая заводы, дать проводить его всем пожелавшим этого. Пришли многие из тех, для кого похороны зрелище. На зрелище прибежала и шальвинская детвора.

Были на похоронах и два мальчика. Один из них обязан был проводить на кладбище умершего потому, что он был его дед. Второй приехал с матерью из Молоховки. Он не знал, что лежащий в сказочном гробу, в каких хоронят спящих красавиц, мог быть его дедом. Мальчиков занимала не разлука с уходящим в рай, а их встреча друг с другом. Ведь они же ровесники, а их мамы тоже очень дружны.

— Нам, Платоник, пока нельзя играть, — предупредил его Вадимик, — а как только дедушка через подземелье уйдет на небо, тогда можно будет все.

Утесним строки о поминальном обеде, на котором заупокойные бокалы развязали и те языки, что умели держаться за зубами. Все же необходимо выделить главное, занимавшее всех. Всех занимало, как распорядится второй половиной наследства примчавшийся ветрогон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Клавдию на станцию была подана тройка траурных вороных. Спектакль еще не кончился. Он продолжился. Клавдий по приезде закатил первый скандал:

— Как посмели... По чьей злой воле зарыли моего отца, не дождавшись меня? Виновен ли я, что в Брюсселе наследный принц не выпустил меня?!

В стенаниях Клавдий не мог провести и два часа. Отпоенный Лукерьей Болотной вещерицей диким медом, сваренным с церковным вином, Клавдий уснул. Проснувшись, он опорожнил бутылку целительного снадобья и проспал до утра.

Утром он не пожелал поздороваться с Цецилией, за что ее отец, Лев Алексеевич, не заметил протянутой ему Клавдием руки.

Наступил девятый поминальный день после кончины Луки Фомича. По стародавнему обычаю Акинфины побывают на могиле. Зная об этом, выживающая из ума Мирониха во имя спасения покоя и благоденствия на заводах уйдет из жизни и уведет с собой ненавистного всем. «труждающимся и обремененным» Калеркиного выроodka Клавку Акинфина. По гаданиям, снам и шальвинским пересудам он принесет раздоры и расколы на заводах и покуситя на жизнь старшего брата Платона, ниспосланного фабричному люду его благодетелем.

Изработавшаяся, дряхлая, костлявая старуха, рано потерявшая мужа Мирониха, все эти долгие годы живя озлоблением, сосредоточила себя на мести Клавдию за свои муки, за людские страдания.

Ею, желчной, озверевшей в эти последние часы перед своим самопожертвованием, было подготовлено и прикинуто все необходимое для расчета с Клавдием. Так бы и было, — если бы волнения и напряжение перед расплатой не остановили ее мятежное сердце.

Кончина Миронихи прошла незамеченной. Кому была нужда до старухи, которая могла изменить направление дальнейших шальвинских событий? Как мог знать тот же Клавдий, что в этот девятый день, поминальный день, он мог бы и не прийти на могилу отца для выяснения с Платоном их дальнейших отношений, завещанных отцом?

Завещание выглядело письмом, обращенным к сыновьям, и наставлением им. Оно начиналось такими словами:

«Владейте и управляйте всем движимым и недвижимым сообща. Не для того и я, и дед ваш завязали нажитое в один тугой узел, чтобы вы разрубили его».

Не веря, видимо, в силу своих наставлений, не находя и в самом придуманном им слове «узел» соответствия разрозненно живущим и порознь работающим заводам, которые можно было легко разделить не только между двумя, но и семерыми наследниками. Поэтому для легко делимого была найдена искусственная неделимость.

В завещании каждый из заводов наследовался по частям, с подробным перечислением, что и кому, — например, о железоделательном заводе было сказано:

«...завещаю в оном доменную печь моему младшему сыну Клавдию, ему же и оба сортопрокатные станы. Станы же листопрокатные со всем прилежащим к ним, как и две сталеплавильные печи, дарю старшему сыну Платону. Ему же и рудодробильное и шихтовое обзаведение...»

Гвоздильный завод отдавался Клавдию, а волочильная фабрика, изготавливающая проволоку для гвоздей, завещалась Платону. Литейный цех так же скрупулезно перечислительно передавался во владение сыновьям по частям. Формовочный цех — одному, литейный — другому, печи же каждому по одной. Столярно-модельная

мастерская отдавалась старшему, а лесопильный завод младшему.

Завещание на семнадцать листах предусматривало и раздел по комнатам дворца и строений при нем. Лесные и земельные угодья, покосы и пасеки размежевывались с той же целью неделимого разделения.

Читавшие завещание поразились изощренности Луки Фомича в завязывании множества узлов, узелков и узлишек во имя одного, главного, заветного неразрубаемого узла, связующего воедино все существовавшие под единым наименованием: «Шало-Шальвинские заводы Акинфина и сыновей».

Нельзя было без обоюдного согласия братьев разделить и наличный капитал в деньгах, векселях и других бумагах.

Жить братья должны были только на прибыли, доля их так же, по обоюдному писаному согласию.

— О прибылях-то мы поговорим, Тонни, — предложил Клавдий Платону там же, на кладбище. — Владеем теперь заводами мы оба, а распоряжаешься прибылями ты. Они давно при тебе, а ты при них. Ты их душа, — польстил он брату, — а я... Но не будем переводить в слова, кто я... Какую бы долю прибылей хотел как «душа» и сколько бы нашел справедливым отдать мне?

— Справедливость, Клавдий, в данном случае обидела бы тебя, поэтому не будем приглашать ее в судьи. Лучше призовем двух других.

— Двух? Кого же?

— Твою совесть и мою.

— Это разумно. Мы же братья. А если мы братья, то твоя и моя совесть сестры... Пусть назовет мою долю старшая сестра.

— Начиная ты. Тебе и продолжать.

— Я затрудняюсь, Платон, назвать цифру моей доли.

— Тогда напиши ее... Хотя бы здесь. Тростью на песке.

— Изволь. — И он вывел на песке четверку. Посмотрел на брата. Пораздумал и приписал пятерку.

— Я понял, Клавдий. Тебя не трудно понимать. Твоя совесть подсказала тебе четыре доли из прибылей. Она была более снисходительна ко мне, чем ты, приписавший пятерку.

Клавдий еле заметно покраснел.

— Да, я ничего не хочу скрывать от тебя. Я хотел получать четыре с половиной доли, оставляя тебе пять с половиной. А потом...

— Что потом?

— Потом я подумал, что наш отец, разделив все поровну, оставил тебе больше. — Клавдий коснулся своего лба: — Я многое недополучил здесь по сравнению с тобой. И я хочу хотя бы чем-то вознаградить себя за недоданное.

Платон не мог и не должен был при этих обстоятельствах задеть самолюбие брата. Шел торг. Шел торг на большие суммы. Поэтому Платон заставил любезную и неуместную теперь усмешку превратиться в свою застенчивую улыбку.

— Не принижай себя, Клавик. Я всего лишь слесарь, а ты цезарь в своем кругу. Тебе отлично известно и самому, кто ты.

Падкий на похвалы Клавдий спросил:

— Так ли уж справедливо, Тонни, если ты будешь получать пятьдесят пять процентов, а я всего лишь сорок пять?

— Но их, Клавдий, нужно добыть. И не кому-то, а мне. И твои сорок пять, и

пятьдесят пять мои. Ты знаешь, когда я встаю и когда ложусь. Тебе известно, каких сил стоит мне одна гвоздильная фабрика... Она же твоя. И если бы ты нанял кого-то управлять ею, тогда бы тебе не трудно было понять, что это значит...

— Не убеждай, я знаю и сам, что это значит...

Клавдию надоело сидеть на кладбище, его утомлял разговор о заводах, и ему нужно было как можно скорее покончить с прибылями, поэтому было сказано:

— Хорошо, Платон, решим не по-твоему, не по-моему — пять пополам.

— Если ты так великодушен, то прибавь своему приказчику половину процента.

— Прибавляю, Платон, а ты за это купишь у меня мою половину нашего дворца.

Платон согласился. Согласился он, когда они спускались с кладбищенской горы, выплатить и за принадлежащую Клавдию половину цирка.

— Он мне так же нужен, как и твоя больница. И вообще, Платон, я продал бы тебе все принадлежащее мне, если бы ты мог купить.

Такой прямой разговор с Клавдием предопределил дальнейший ход событий и подтверждал вынашиваемое Платоном желание по-своему перевязать отцовский узел. И он поделился своим намерением с Цецилией.

— Разумник ты мой, я угадала твои мысли. Осточертевший нам прикамский лес поможет тебе освободиться от этого паяца и рассчитаться с ним. Но для этого прежде всего нужен настоящий лесничий. Лес воруют. Наживаются на нем предприимчивые жулики. Папа на это смотрит сквозь пальцы. А ты, Тонни, не должен далее пренебрегать нашим, понимаешь, нашим добром. Оно пригодится тебе и выручит тебя.

— Ты права, лесом нельзя пренебрегать, — признался Платон. — Я согласен, но при условии, что ты станешь моим акционером.

Цецилия, расхохотавшись, обняла Платона и сказала:

— Буду кем угодно, только избавь меня и папу от этого дремучего наследства. Я уже вызвала лесничего. Очень колоритная фигура. Увидев его, ты все поймешь и правильно рассудишь...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лесничий появился скорее, чем ожидали.

— Как вы так? — спросил его Родион Максимович. — Вам же на пароходе нужно было, потом через Пермь на поезде. Это же большой круг.

Лесничий ответил:

— Зачем надо по кругу на пароходе ездить? Лучше на коне, и билет не надо покупать.

— Вы на лошади? — удивился Скуратов. — В такую даль?

— Какая даль, Родион Максимович! Мы рядом живем. Четыре дня — и тут. Через большой камень только нелегко, а потом опять легко.

Лесничего звали Ильей Сысоевичем Парминым. Он так и назвал себя изумленному его видом Платону.

Пармин был очень странно одет. Широкий резиновый, с кожаным кармашком кушак. Кургузый пиджак. Брюки с напуском поверх голенищ. Выцветшая косоворотка. Говорил он с акцентом, какого Платон не знал.

Познакомились. Обменялись ни тому, ни другому не нужными словами.

— Вы русский, Илья Сысоевич?

— Русский. Все мы теперь русские, Платон Лукич.

— А родители ваши?

— Да тоже ж, пожалуй, русские, а там кто их знает.

— Вы давно служите лесничим?

— Как помню себя. Всегда.

— А где вы получили образование?

— У себя. Хорошо учили. Трудно было.

— Почему трудно? Не давались знания?

— Нет, давались. Били много.

— За что?.

— Не знаю. Без этого, сказывали, нельзя, учить.

— И сколько же лет вы, Илья Сысоевич, учились?

— Долго. Сначала две зимы. Потом хворал зиму. Потом опять зиму учился. И летом книжку читал.

— О чем? Какую книжку?

— Не помню. Толстая книжка. Вершка два.

— В чем же состоит ваша работа?

Пармин не понял вопроса. Платон переспросил:

— Что вы делаете? Какова у вас работа?

— Всякая работа. В лесу много работы. Зверя бью. Рыбу с женой ловим. Есть-то ведь надо. Дом большой. Топить надо. Много дров пилим. Зима долгая. А без тепла в доме как?

— А как вы смотрите за лесом? — Платон хотел сказать: «Как наблюдаете за лесом?», да побоялся, что его не поймут.

— Глазами смотрим, Платон Лукич.

— А как проверяете, когда рубят лес?

— Тоже глазами.

— Измеряете?

— Как же не измерять.

— Как измеряете?

— Тоже глазами. Глаза видят, какой плот. Сколько плотов. Меня не обманешь. Караулю, когда плоты идут. В книжку пишу.

Платон понял, что ничего он не сумеет выяснить, лесничий, никакой не лесничий и даже не лесник. Желая узнать хотя бы что-то еще, он спросил:

— Много рубят леса?

— Много. Беда как много.

— Убывает лес?

— Как не убывать, убывает.

— Заметно убывает?

— Другой раз заметно. Другой раз нет. Большой лес. Беда большой. Долго ехать по нему надо.

— Сколько долго?

— Куда как.

— А вы знаете, где начинается, где кончается лес, за который отвечаете вы?

— Как не знаю. Хорошо знаю. Начинается у Камы.

— Вы можете показать на бумаге?

Пармин подумал, посмотрел на предложенный лист.

— Нет, не могу. Большой лист надо. И все равно мало будет. Туда надо ехать, Платон Лукич. Там все видно.

— Вы можете показать?

— Как не могу. Я все могу. Парасковья Яковлевна тоже может.

— Кто это такая?

— Жена моя. Разве не знаете? Ее все знают. Вот она какая. — Он поднял над головой руку и привстал, на носки. — На медведя ходит. Она главная у меня.

— Это хорошо, что у вас такая отличная жена.

— Как не хорошо. Беда как хорошо. Мне легко при ней. И ей легко. Я не тяжелый. На руках меня носит.

— На руках? Куда?

— Домой носит. Как я в праздник ногами пойду? Несет!

— Водку пьете?

— Нет! Водка карман ест. Кумышку гоним! А-ай, какую гоним! К нам, Платон Лукич! Поднесу. После стакана сидишь за столом, после двух лежишь под столом.

Было напрасным продолжать разговор. Платона сердил не Пармин, а Лучинины. Как мог Лев Алексеевич положиться на этого тщедушного, полуграмотного человека!

Лес во всех случаях нуждался в хозяине.

Отправив Пармина в «Гостиницу для всех», наказав дежурному технику проводить его и велеть содержать на полном пансионе за счет фирмы, решил, как он делал всегда, посоветоваться с Родионом.

Скуратов давно знал, что нужно делать с лесом, и тут же сказал Платону:

— Во-первых, сразу же сейчас же нужно запретить всякие порубки и сплав леса.

— А во-вторых?

— Во-вторых, назначить настоящего, хотя бы что-то знающего лесничего.

— Но кто, Родик, согласится жить в такой глуши?

— Деньги. Они найдут лесничего. Штильмейстер сделает все. Если не сумеет он, помогут газеты. Найдется, Тонник, лесничий...

На этом и порешили.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лесничий нашелся. Он показался Платону таким, как он представлял лесничего. Крупный мужчина. С бородой. С добрыми глазами. Нетороплив. Малословен.

— Чердынцев Василий Иванович, — представился он. — Лучининские леса я знаю. Хорошей рекомендации о себе принести не могу. Я поссорился.

— На какой почве, Василий Иванович, если не секрет?

— На почве не вырубки, а истребления лесов.

— Это очень хорошая почва. Благородная почва.

Теперь оставалось решить, сколько платить, где жить и кого можно принанять в помощь.

К удивлению Чердынцева, Платон Лукич не по годам был опытен, сведущ и скор в решениях.

— Сколько вы получали, Василий Иванович, столько и будете получать, тем более что вы сами будете платить себе жалованье. Сами будете и строить свой дом. Сами будете и рассчитываться за все, что необходимо сделать. У нас не были предусмотрены расходы по лесу. Предусмотрите их вы сами.

— Как я могу без разрешения?

— Я вам его даю. Делайте все, что разумно, полезно. Делайте так, как бы поступали, если бы этот лес был вашим, а не Цецилии Львовны. И если вы будете поступать так, то мы окажемся взаимно полезны друг другу. Вы сами скажете, где вам недоплачено и за что. А если вы не окажетесь взаимно полезны... тогда перестанет существовать и сама взаимность наших отношений. Покрывайте лесом расходы и не забывайте записывать. Записывать так, чтобы можно было проверить записанное, если понадобится.

— Такого не бывало... Я всегда служил.

— А сейчас вы будете сотрудничать с нами. Акционерствовать.

— Я попробую, Платон Лукич. Не ручаюсь, что получится у меня.

— Получится. Непременно получится, как только вы преодолеете страх, которым начинен всякий исполняющий чужую волю. Когда же вы почувствуете себя сотрудничающим, когда вы избавитесь от самоподозрения самого себя в обмане, которого нет и не будет, все станет на место.

— Как вы можете быть уверенным в этом...

— Могу, хотя бы потому, что никто не захочет из-за какого-то каравана леса потерять все и себя. Вы это поймете. И чем скорее, тем лучше.

— Наверно, пойму скоро.

— А когда поймете, вы сами увидите, что быть хозяином и не знать границ своего хозяйства невозможно. А поняв, вы установите и проверите эти границы. До вершка. У вас появится возможность много получить, а у нас мало уплатить. Потому что вам эти планы и карты будут стоить во много раз меньше, чем если бы это делали люди, нанятые со стороны.

Не прошло и месяца после запрета на порубку лесов, как стало многое выясняться. Новый лесничий оказался не только человеком слова, но и дела. Он развил широкую деятельность. Нашел ходы и ключи к полиции. Отчитывался, кому и что он уплатил. Писал иносказательно, но понятно. Порубщиков штрафовали и арестовывали на день-другой и выпускали.

Вор вора не только видит издали, но еще дальше слышит, каковы у него дела.

В Шальву воры кинулись скопом. Каждому хотелось заполучить близкие к рекам лесные угодья и заключить контракты с указанием места и размеров порубок.

Сначала в Шалую-Шальву припожаловали приказчики, доверенные, агенты, а потом и сами лесопромышленники. Платон отказался разговаривать с ними. Да и не о чем. А Штильмейстер желал встречи. И на первой же из них, после предварительного разговора, который можно назвать разговором для узнавания друг друга, Георгий Генрихович вбил первый клин.

— Я с удовольствием бы продлил с вами отношения, но не могу, — ответил он первому, отрекомендовавшемуся Поповым.

— Почему?

— Вас уличают в надувательстве.

— Меня в надувательстве? Как можно? Кто наклеветал?

— Это вы узнаете на суде, если до него дойдет дело. А оно не может не дойти. Улики очень убедительны. Называют места, число десятин, количество плотов и чуть ли не число бревен, которые вы, говоря без смягчений, украли, — явно выдумывал Штильмейстер.

— Да как вы...

— Пожалуйста, не возвышайте голос. В вашем положении этого не следует делать... Разве я говорю, что вы вор? Это говорят те, кому вы, может быть, недоплатили или с кем-то что-то не поделили...

— Конечно, лес темный товар. И могло быть всякое... Не ситец. Аршином не вымеряешь. Да и на аршин тянут...

— Вот мне и хочется знать, сколько вы натянули... Я понимаю, что сразу на этот вопрос трудно ответить. Вы многое забыли. Не один же год вы натягивали... вспомните. Подумайте и верните принадлежащее не вам. Тюрьма, даже улучшенная, такая, как пермская, останется тюрьмой.

— ? За что же тюрьма... Георгий Генрихович?

— Вы опять, господин Попов, разговариваете со мной громко. Тише. В вашем положении я бы разговаривал ласковым шепотком. Вы говорите, за что тюрьма? Слушайте. Если десять свидетелей подтверждают, что вами украден лес со ста десятин, и называют каких, не думаете ли вы, что суд присяжных оправдает вас?

— Допустим. Уличили клеветники...

— Все десять клеветники?

— Допустим, нет. Заставят уплатить, и вся недолга.

— Уплатить за кражу, за нарушение священного закона собственности...

У Попова забегали глаза. Штильмейстер заметил это.

— Не будем терять время. Подумайте, вспомните и назовите сумму, которую вы наличными должны вернуть наследнице.

Штильмейстер встал. Подал руку. Попов не уходил. Штильмейстер открыл дверь. На очереди был второй.

С ним повторилось, но более уверенно, то же самое.

— Завтра жду. Я утомлен. У меня встреча с главой фирмы. Идите же, господин Тошakov. Я не могу заставлять ждать меня лошадей. Я с уважением отношусь к животным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наутро они пришли в той же очередности. Попов задиристо спросил:

— Сколько, господин Штильмейстер?

— Вам лучше об этом знать, сколько. Воровали вы, а не я.

— Десять!

— Десять? — удивился Штильмейстер. — Как вам не стыдно!

— Сколько же еще?

— Вон! — указал он на дверь. — Вы разговариваете со мной как барин с извозчиком. Сто!

— Сто? — попятился Попов. — За сто лет на сто тысяч рублей самый отпетый ворюга из ворюг в лесу не украдет.

— Может быть, и не украдет, зато отучится воровать. Избавление от тюрьмы всегда стоит дороже преступления. Я не могу долго держать посетителей.

— У меня нет наличных...

— Есть векселя. Пройдите в главную бухгалтерию, к господину Потоскуеву. Я ему сообщу по телефону, и он...

— В бухгалтерию, а не вам, Георгий Генрихович.

— Очень сожалею, господин Попов, что всякое лицо вы принимаете за зеркало...

Второй «налим», Тощак, сорвался с крючка. Вместо главной бухгалтерии он умчался на станцию. Это взбесило Георгия Генриховича, вошедшего во вкус «клиновыбивания». Он позвонил приставу. Перед отходом поезда станционный урядник подошел к Тощаку:

— Вы позабыли уплатить за комнату в гостинице.

Тот вынул десять рублей:

— Прошу прощения... Уплатите за меня, сделайте одолжение.

— Не могу-с.

— Но не опаздывать же мне...

Тощак повезли в пролетке. Дорогой урядник ему объявил:

— Не желая позорить вас при пассажирах на станции, я для отвода сказал про комнату. А недоплата у вас за другую меблировку, так что прошу вас к господину Штильмейстеру.

— Зачем же вы уличили себя побегом и дали повод мне на суде сказать об этом? — спросил Штильмейстер.

— У меня нет таких капиталов, как у Попова. Я в половине против него лес вырубал. Гляньте в контракты...

— Я и хотел половину. Разумеется, векселем. Кто же при себе возит такие суммы?

Штильмейстер в улучшенном виде повторил, как это нужно сделать.

Вечером из рук Георгия Генриховича Цецилия Львовна получила два векселя.

— Как это неожиданно и любезно... Но я считаю несправедливым получать деньги ни за что. Каждый пятый рубль будет вашим, господин Штильмейстер. Это все же какие-то случайные щепки прилетели из моего леса.

Войдя в эту игру, Штильмейстер не захотел останавливаться. Те, кто приезжали за восстановлением контрактов на порубку и сплав лучининского леса по Каме, уезжали из Шальвы, подписав вексель. Те же, кто не приезжал, приглашались деликатными письмами:

«Милостивый государь! Не желая прибегать к судебному посредничеству в отношении несоответствия выплаченного вами к вырубленному, покорнейше прошу прибыть для личных выяснений и уточнений разницы недоплаты».

Далее: «С совершенным почтением имею честь пребывать: за двоеточием следовала четкая подпись — Г. Штильмейстер».

Письма безошибочно били по цели, потому что они посылались ворам, каждый из которых знал, что он вор, и знал, что его могут уличить в краже. Новый лесничий Чердынцев называл их пофамильно. Не ответил только один, самый крупный вор, с которого следовало получить, по подсчетам Чердынцева, больше, чем со всех остальных. Это был тот, в облике которого супруга Льва Алексеевича Лучинина нашла оскорбительное сходство с Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Окрыленный перспективой новой охоты за крупным зверем, Георгий Генрихович помчался в его логово. У нас могла бы появиться еще глава о поединке уличаемого и уличающего, но она в новом разночтении повторит тот же сюжет схватки, в которой неизбежным победителем окажется Штильмейстер. Пусть он достигает этого, мы же должны посмотреть на то новое отражение Верхнекамских лесов в делах фирмы Акинфиных, которое возникло после операции Георгия Генриховича...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не вдаваясь в тонкости соображений Платона Лукича, отказывавшегося от лесного приданого жены, не будем разбирать, что руководило им. Повышенная ли щепетильность, боязнь ли забираться в дебри прикамской пармы и отвлечься от главных шальвинских дел, или что-то другое, известное только ему... Теперь же он твердо решил ковать золотые подковы из дерева.

«Составные» дома, получившие признание и спрос, почти не продавались на сторону, хотя и могли бы давать прибыли, по выражению почившего Луки Фомича, «сам-три» и даже «сам-четыре». То есть в четыре раза больше затраченного на них. Но первым препятствием этому были ограниченные сырьевые возможности. Бассейн рек Шалой и Шальвы не переизбыточен лесными богатствами. Здесь лес, пожираемый заводами, все далее и далее отступал от них. Приобретать древесину в чужих, далеких дачах и доставлять ее было дорого и хлопотно. Дорогим и хлопотным стала бы доставка домов купившим их. И если по тем же причинам Платон отказался от изготовления веялок и молотилок, то было бы нелепостью повторить в более громоздком виде отвергнутое. «Составной» дом и в его несобранном виде не веялка. Он требовал обоза в десять — пятнадцать телег или саней, а затем перегрузки в вагоны.

Подковам достаточно посылочного ящика, а домам нужны вагоны и вагоны... Поезда!

Изготавливаемые же «составные» дома в благодатном Прикамье устраняли все шальвинские трудности. Там неисчерпаемость леса, дешевая рабочая сила и даровая широкая дорога — Кама.

— Лия, — начал раскрывать свою затею Платон, — я могу поступать только так, как могу: твой зеленый капитал не должен обогащать ни поповых, ни тощакowych. Я решил стать единственным и постоянным покупателем твоего леса.

— Какая прелесть! Тьма удобств! Мне взамен многих придется подписать один-единственный контракт.

— Да, придется, мое очарование, и расторгнуть все остальное.

— Нет, это просто. Я не нахожу слов, мой бэби... Это удивительно забавная игра «в магазин». Ты меня возвращаешь в мое милое детство: я торговала, а гувернантка и мама покупали...

— Я рад, Лия, за свое умение развлечь тебя, но, к сожалению, после того, как подрастают дети, их игры усложняются юридическими добавлениями.

— Тонни! Пусть они усложняются. Я уже подготовлена тем, что мне рассказывал твой верный оруженосец. И я нахожу разумным превращать лес в дома, доски... во все то, во что он может превратиться и увеличивать мои перенакопления. Я подпишу все, милый мой, закрывши глаза.

— Лия, не всегда и не на все разумно закрывать глаза. Притворяющийся слепым, Клавдий не закрывает их. Он требует, чтобы на фирменной марке значилось и его имя. Разумно ли допустить, чтобы оно перешло с пошлых афиш кабаре на почтенную вывеску фирмы и стало в ряд с моим ничем не ошантаненным именем?

— Да, Тонни, на это нельзя закрывать глаза. Имя Клавдия одиозно. Оно может бросить на нашу фамилию дурную тень... Какую — трудно предположить, зная, что от него можно ждать только унижающее нас. Фирма должна быть названа нейтрально...

— Ты ясновидящая, Лия! Кажется, любовь ко мне и ненависть к шантеклеру в

павлиньей окраске приоткрывает тебе двери в мудрость и благоразумие... Если фирма не станет акционерным обществом, я останусь во власти замков, подков, крестиков и галантерейных новинок фабрики «Женский труд». Если бы двое самоубийц — Молохов и Потаков, да еще Мамаев, этот дальний проволоковолочитель, хотя бы фиктивно согласились «акционерствовать», тогда бы появились формальные основания... У Клавдия достаточно союзников из моих недругов. На земле Штильмейстер не единственный тевтонский гений сутяжничества... Такого же может найти и Клавдий и нарушить мои планы...

— Нет, Тонни, нет... У него сплюснута голова. В ней может уместиться только подлость, но не ум, необходимый и для нее. Подлость без ума — это самоуничтожение Кузьмы Завалишина. Это выстрел в себя метившего в тебя Зюзикова. Клавдий бессилен кажущейся ему силой. Делай так, как ты находишь лучшим для своей мятущейся души. Она также не безглаза и когда-то прозреет...

— Лия, ты поклялась не возвращаться к демидовским аналогиям. Я хочу превращать лес в благополучие, а потом укрепляться на берегах Средней Камы...

— Разве я помеха этому? Но не запрещай и мне, Тонни, думать и желать. Я думаю, что камские предприятия твое последнее заблуждение. Оно будет самым прибыльным. Там миллионы растут из земли. Приходи и срубай их топором. Или новыми пилами, какие ты придумал.

И если, Тонни, ты в самом деле скупишь прикамские заводы, то и в этом случае... Может быть, именно в этом случае ты поймешь, что огромную закостенелую страну, привыкшую к мраку, который стал нормальной средой жизни России, нельзя просветлить, если ты зажжешь на Каме десять, двадцать... сто громадных факелов. Вековая темнота проглотит их свет. И ты погасишь их на Каме и в себе... Не торопи меня. Мне осталось сказать еще несколько слов... Погасишь их в себе и не оглядываясь убежишь к другому огню.

— К какому, Цецилия? Уж не к тому ли, что пытаются высечь во мне некоторые люди?.. Цецилия! Я не из тех кремней, которые подвластны всякому огниву. Для их огня я безнадежно невоспламеним.

— Ты меня не понял, Тонни. Я не о тех огнях, которые способны только сжигать. У нас есть свой свет, в котором нам суждено было родиться и в котором мы угаснем. Не мы придумали миллионеров и нищету. Папа уже превратил два свои воронежские имения в то, что безопаснее хранится в сейфах надежных банков. Продашь и ты. И особенно это легко будет сделать, когда твоя фирма станет акционерной. Продал свои акции — и ты как птица...

— Ты, Цецилия, безжалостнее, чем я думал...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Улыбки Фортуны смягчили нелепые предсказания Цецилии, уехавшей в свой Петербург вместе с не огорчившимся разлукой с отцом Вадимиком. Его родной землей была и, видимо, останется столичная земля. Он был в дорожном девчоночьем платье. Странна и глупа мода наряжать девчонками мальчишек. Эта одежда для мальчиков и неудобна и негигиенична. Неужели из Вадимика в самом деле может вырасти Клавдий? А мог бы сын вырасти им — Платоном. Он так любознателен, так привержен к разумным игрушкам.

— Папа, — сказал он, прощаясь, — ты привезешь мне маленький настоящий

паровоз с паром и со свистком?..

Когда Вадимик сказал слово «паровоз», Платон облегченно вздохнул. Ему теперь не нужно приобретать свои ширококолейные паровозы. Казна покупает ветку, и вместе с ее продажей будут проданы казне тяжбы с Молоховым из-за его клочка земли и все заботы по расчистке линии зимой, по ее ремонту летом. Не нужно будет запрещать или разрешать перевозки примазывающимся к дороге, неизвестно откуда взявшимся клиентам. Всем вдруг надо стало что-то провозить, что-то увозить. Для таких нужно содержать ватагу весовщиков, кассиров, контролеров, а затем еще платить налоги, не сводя концы с концами.

Флегонт Потоскуев мудр, сказав, что фирма была права, создавая ветку, и десять раз права, продав ее, получив прибыль. Жаль одного — ветка могла бы помочь «акционированию», но теперь оно предрешено и без нее. Акционеры есть. Есть!

Иван Балакирев, разбогатев на веялках, возродив маленькие кустарные предприятия и снабжая их всем недостающим, сделанным из металла, вполне может купить акции. Штильмейстер отсудит у Гранилиной ее угасающее замочное заведение, и туда вассалом-акционером вполне можно посадить Кузьму Завалишина. Недалеко уедут на своих колокольчиках и бубенчиках и Потаков с Шульжиным. Этот ямщицкий товар не вывезет их на вершину золотой горы. Они вынуждены будут стать акционерами. Молохов уже приоткрыл фирме свои чугунные ворота. Первый поезд с грузом медных слитков покажет ему, как много поставщиков хотят ему подставить ножку. Теперь бы только не ошибиться в новом названии фирмы. Их два: «Весы» и «Равновесие».

Первое короче, но звучит как-то лавочно. Второе стало надоедливым, но выразительно. В самом деле, назвать акционерное общество «Равновесие» — внушает доверие и уважение.

Наверно, следует остановиться на «Равновесии». Оно в идее. С ним ему невозможно расстаться.

О чем же думать, о чем печалиться? Все хорошо. Все хорошо!

С Камы вернулся Родион. Он с Чердынцевым нашел места для лесопилок и двух заводов для «составных» домов. Там же несчетно много мастеров, умеющих строить баржи для сплава домовых комплектов. Пиловочные материалы пойдут белянами. Испытаннейшие суда.

Все хорошо!

Возведением корпусов заводов займутся инженер и трое техников. Будут строить из дерева. Не на сто же лет возводятся эти заводы. Жилье для рабочих произведут там же. Они уже знают, что, как и к чему. Конечно, нужно будет послать пусковиков из Шальвы. Они научат тамошних рабочих приладке, точности, вниманию и...

И будущей весной первые караваны «составных» домов двинутся вниз по Каме... Вниз по матушке Волге и вверх по ней — в Нижний, на Макарьевскую ярмарку...

Все хорошо!

Хорошо-то оно хорошо, но зачем опять появился новый рассуждающий человек? Он не похож и чем-то похож на того самого Якова Самсоновича Молоканова. Похож, может быть, своей противоположностью. Тот из революции, а этот из противостоящих ей.

Он весьма и превесьма аристократичен. Его зовут Хрсанфом Аггеевичем Гушиным. Полковником без обозначения рода оружия, к какому он принадлежит. А это, впрочем, и не надо было делать. Род оружия у него в глазах, языке, в умении

отвечать на вопросы и задавать их. Оно и в его необыкновенной осведомленности.

По внешности Гущина можно принять за льва столичных салонов. Высок. Черноволос. Картинные черты лица. В Лондоне он сошел бы за потомственного лорда, в Москве — за столбового дворянина. Заботлив о ногтях, бритые, манжетах, повязке галстука и тонком аромате, исходящем от него.

В «Гостинице для всех» он занял лучший номер. Учтив с прислугой, весел в общении с людьми. Сказал, что он бывал проездом в Шальве и любит ее. Мечтает поиграть в вертушку, увидеть бой петухов, а также побывать на окрестных заводах.

После первой, мимолетной встречи Платон пригласил Хрисанфа Аггеевича к обеду. За обедом шел только светский разговор. Он касался новых книг, театра, мод, литературных веяний, потери некоторых святых традиций. Говорили об отсталости заводов на Урале, о незыблемости империи, не ощущающей потерь от малых неудачных войн, о нелепости студенческих волнений, о «неомессианстве»... О нем особо и подробнее, чем о другом.

— Что вы, почтеннейший Хрисанф Аггеевич, подразумеваете под «неомессианством»?

— Оно, Платон Лукич, столико... Есть поэты. Талантливые стихотворцы. И петь бы им да петь, стяжая славу... Славу, положенную им. Положенное им в литературе, обществе и... И в том числе в народе. Народ стал чтивым и понимающим иной раз и в стихах... Чего же боле для таких пиитов?.. Так нет. Им мало. Они все громче — я да я. Сначала «я пророк», а следом «я мессия». Не глупо ли? Не стыдно ли такое самозванство, Платон Лукич?

— Я затрудняюсь вам ответить, Хрисанф Аггеевич. Разное «я» по-разному звучит. Александр Сергеевич Пушкин также часто употреблял это местоимение. Его также можно при желании обвинить, как вы сказали, в «самозванстве». — Платон вышел из-за стола и продекламировал: — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

— И воздвиг, Платон Лукич, воздвиг! Не называя себя мессией, он был им. Был! Мы бы сидели без него и до сих пор в смрадных останках «Золотой Орды». Он был мессией, как был им Петр Ильич Чайковский в мире звуков.

— Чайковский, а не Глинка? — спросил Платон.

— Глинка был его предтечей, Иваном Крестителем, не более. Как вы можете, Платон Лукич, молясь Чайковскому, считать его вторым...

— Вы не знакомы, Хрисанф Аггеевич, с моей женой?

— Заочно. А почему вдруг задали такой вопрос?

— Мне захотелось узнать, откуда вам известно то сокровенное во мне, которым я не делюсь ни с кем.

— Платон Лукич! Мир так широк, так многослышим... А вы, Платон Лукич, так известны и на таком большом слуху, что даже назывались государю...

— Поэтому, наверно, Хрисанф Аггеевич, я был дважды не пропущен в думу...

— И очень хорошо, Платон Лукич, что не оказались в обществе громких слов и пустоты речей.

— Однако, Хрисанф Аггеевич, обед уже закончен. Не прогуляться ли нам в моем автомобиле?

— Чацкий сказал бы вам на это: «Люблю кареты, да кучерских боюсь ушей».

Платон любезно поклонился.

— Вы ко всему и сочинитель. Великолепнейший экспромт. И я отвечу вам

экспромтом: «Не чту и я чужих ушей, прогнавши кучера взашей...» Я, Хрисанф Аггеевич, сам управляю моим экипажем...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Акинфин и Гуцин слишком засиделись в маленьком обеденном зале. Тому и другому хотелось как можно больше знать друг о друге. Поэтому понадобилась совершенно нейтральная почва. Такой оказался «мотор», который тогда почти еще не называли автомобилем. Даже в песнях можно было услышать: «На острова летит стрелой мотор вечернею порой».

Вечерней порой мотор Акинфина не летел, а ковылял по самой ровной, накатанной полевой дороге и, пройдя свое, остановился на невысоком, обрывистом берегу Шалой.

— Теперь вы можете развить ваше вступление о «мессиях», Хрисанф Аггеевич, и, перескочив через несколько подготовленных ступеней, можете заняться мной.

— Вы, кажется, Платон Лукич, заглядываете в меня?

— Хрисанф Аггеевич, глаза хозяина обязаны быть взаимно любезными.

— Тогда оставим любезности...

— Вы это, Хрисанф Аггеевич, могли бы сделать при первой нашей встрече.

— Помешал этикет...

— Отбросьте и его.

— Тогда скажите мне: вы верите, что вами будет достигнуто равновесие, которое вы объявили на вашем новом фирменном знаке нового акционерного общества?

— Зачем верить в то, что видят собственные глаза? Сделано еще не так много, но больше, чем предполагалось. Надеюсь, Хрисанф Аггеевич, вы не оставляли глаза в номере гостиницы, знакомясь с Шальвой, и ваш слух не изменял вам, когда вы со свойственной сам учтивостью разговаривали со всеми, кто вам встречался, и в том числе с кузнецом Максимом Ивановичем Скуратовым. Шальва не Петербург. Что известно одному, становится известным и дворовым собакам.

— А как еще можно было иначе проверить увиденное глазами? Как можно была подтвердить, не сплю ли я? Только личными общениями с теми, кто на второй чаше весов поднят вами, Платон Лукич, так высоко, что вы создали себе рукотворный памятник.

— Благодарю вас, Хрисанф Аггеевич, за превышение оценки достигнутых фирмой азоз равновесия.

— Если это «азы», то можно представить, какой будет середина вашей кириллицы. Вероятно, за два часа ваши рабочие будут зарабатывать больше, чем за десять часов у других.

— Какое мне дело, Хрисанф Аггеевич, до других?

— А другим есть дело до себя и до вас. И не только им, этим «другим», но и тем, кто не может не думать об этих «других»...

Платон Лукич, отбирая слова, строил предложения прежде про себя, а потом произносил для Гуцина.

— Я полагаю, другие должны перенимать лучшее, а те, кто заботится о них, должны помогать им в этом перенимании, — произнес Платон подчеркнуто нараспев это слово, напечатанное в разрядку.

— Помогать? На это, Платон Лукич, не хватит денег, будь их в четыре раза

больше в государственной казне. Да и сумеют ли они разумно и полезно воспользоваться этой помощью? — При этих словах Гушин вынул из жилетного кармана гвоздь. — Этот ваш гвоздь можно употреблять нарядной заколкой для галстука, так он хорош, блестящ и привлекателен. Всякий увидевший ваш гвоздь все другие назовет убудками.

— Разве это плохо, Хрисанф Аггеевич? Разве плохо, что русские гвозди стали вбиваться в стены других стран?

— Это хорошо и очень хорошо. Плохо, что другие не могут изготавливать таких или хотя бы чуть худших гвоздей и благодаря этому нарушается промышленное равновесие. Не шало-шальвинское, а шире. Гораздо шире. Очень широко... Вы когда-то гвозди брали символом всего остального производимого вами. И я беру этот гвоздь как символ ваших кос, ваших серпов, ваших чугунов и сковород. Ваше изумительное художественное литье красуется в самых фешенебельных домах. Изделия фирмы «Равновесие» стяжают славу в европейских странах. Ваше имя широко звучит. Это восторгает меня. Я уже набил саквояж вашими замками для презентов и сувениров. Я преклоняюсь перед этим. Преклоняюсь...

— Так в чем же должен виниться я? Я, находящийся вне политики?

— Как сказать, Платон Лукич... Чайковский как будто тоже был вне политики, а делал ее своей музыкой, не всегда сознавая этого.

— Хрисанф Аггеевич, не упоминайте всуе это святое имя!

— Я не всуе, Платон Лукич. Я преклоняюсь перед его музыкой и в доказательство могу вам сыграть без нот не треть Первого концерта, а половину, не дав ошибаться левой руке... Вы делаете политику, не сознавая этого. Вы порождаете революционеров, создаете тайные организации, вызываете эксцессы, воспитываете левых социал-демократов...

— Бог с вами, Хрисанф Аггеевич! Мы выпили только по две крохотные рюмки хереса. Я безразличен ко всем политическим партиям мира.

— И между тем пополняете их.

— У меня на заводах их нет.

— Не ручайтесь, Платон Лукич, не обольщайтесь любовью к вам двух-трех сотен рабочих. Не забывайте о тысячах остальных. Молчащих и мыслящих. Усовершенствуя свои заводы, Платон Лукич, вы усовершенствуете и мозги тех, кто работает на вас. Самое страшное подполье из всех подполий то, что скрыто в человеческой душе. Это ее личное, ни для кого не доступное, неуловимое, ожесточенно революционное подполье. Таких подпольщиков у вас семь-восемь на каждый десяток умиротворенных вами рабочих. Многие из них пока потенциальные революционеры, но ре-во-лю-ционеры. Сие не все понимают и в самых больших верхах. Вам же, умному, думающему капиталисту-идеалисту, необходимо как можно больше знать и понимать, чтобы не переоценить свои надежды на приручение стихий. Вулканы засыпают, но не умирают. Не у-ми-ра-ют, а лишь засыпают...

— Договаривайте, договаривайте, Хрисанф Аггеевич, я стреляный воробей. Стреляный в прямом и в иносказательном смысле.

— Это дурно. За это Зюзиков получил каторгу. Но не дурно ли, когда за вас и благодаря вам сжигают живьем Гранилиных, — когда рвут плотины, когда угрожают бунтами, расправами.

— Ну, знаете ли, Хрисанф Аггеевич...

— Я-то знаю, очаровательнейший Платон Лукич. Вы-то не знаете или знаете

очень мало. Окружающие видят, как живут ваши рабочие, какие у них дома, как они одеты, что варят, как едят, как лечатся, какие пенсии выплачиваются им. Требуют этого и организуются.

— Это уж, извините, не моя заслуга, а Кассы...

— Касса — отпрыск от тех же корней. Превосходная Касса и бессребный дуралей Овчаров так же прекрасен в своем подвижничестве. Но и он, «сея разумное, доброе, вечное», сеет отравляющие травы на других заводах. Там не учетверятся... это в прошлом... а удесятятся враждебные силы и требуют страхования, лечения, добросовестной сдельной оплаты, постройки домов в рассрочку и всего, что они видели у вас и чем отравили свои мозги и заставили пылать свои темные души.

— Так что же, Хрисанф Аггеевич, гасить этот свет? Гасить? Закрывать возрожденное мною и Кассой среднее техническое училище и две школы для мальчиков и девочек? Фирме нужны рабочие, умеющие работать на станках. Прихлопывать это все?

— Я не знаю, Платон Лукич.

— Значит, вы колеблетесь?

— Я говорю — не знаю. Я в самом деле не знаю. Знаю, что вы мессия не мессия, а ранний, поторопившийся родиться пророк обновляемого капитализма. Вам бы повременить с вашим появлением на свет, лет на пятьдесят... Христос, извините меня за вольность, должен бы родиться не во времена римского рабства, а в эпоху Рафаэля. Его бы не распяли. Да и он бы оказался не таким...

Платон Лукич не мог и не хотел далее себя сдерживать:

— Так что же, Хрисанф Аггеевич, мне теперь делать, может быть, вернуться в мою мать и родиться от ее праправнучки?

— Грубо, но было бы, извините, разумным это длительное путешествие на полстолетия вперед. Да, повторяю — вы весь там, вдалеке... Вдалеке и по времени, и по месту действия тоже вдалеке! Не в России. У нас нет и не будет почвы для ваших обольстительных предприятий. Я учился не в России, а там, — Гуцин указал на заходящее в облаках солнце. — Там бы вас поняли ваши собраты, а здесь они могут вас распять!

— Благодарю вас, Хрисанф Аггеевич, за приятное предвидение моей судьбы!

— Не отвечайте мне иронией за мое уважение к вам. Я знаю такое, что не дай вам бог знать.

— Напрасно вы об этом рассказали мне, Хрисанф Аггеевич. Напрасно.

После разговора с Гуциным, поздно вечером, Платон и Строганов слушали через приоткрытое окно дома далекие, но отчетливые восклицания рояля, доносившиеся через настежь открытые окна верхнего этажа «Гостиницы для всех».

— Это он, — сказал Платон Строганову. — Это он. Кто же еще может играть Первый концерт...

Закрыв створки, чтобы не слышать великолепное исполнение концерта, Платон спросил:

— Так кто же, по-вашему, этот виртуоз всех и всяческих игр? Из какого лагеря он? От тех или от этих? Хорошо было бы, Веничек, если бы Гуцин был подослан Цецилией. И плохо, если кем-то другим.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Снова вращение шало-шальвинского калейдоскопа, смена месяцев и времен года опережают течение нашего повествования. И требующее многостраничного, пространного пересказа вынуждено спрессовываться до нескольких информационных строк.

Как приятно бы дать зимний верхнекамский пейзаж, где был нынче виден отблеск северного сияния, осветивший бревенчатые корпуса новостроек акционерной фирмы «Равновесие», баржи на штапелях, загружаемые «пильным белым товаром» и маркированными черной краской комплектами «составных» домов. Скоро вешняя вода подымет караваны барж, и буксирные пароходы потянут их к тем, кто, уже выложив свой «чистоган», подсчитывает свои верные прибыли.

Теперь и Цецилия Львовна, и Лев Алексеевич стали акционерами «Равновесия». Акционер и Кузьма Завалишин. «Подколотная змея Зинка», вразумленная угрозами Штильмейстера и хорошо нарисованного им Сибирского тракта, ведущего в «далекие леса Забайкалья, где пташки порхают, поют» и где прикованная к тачке Зинаида Сидоровна будет копать золото в горах. Улик на это много. Богохульные поминки на пепелище. Попытка переехать на моторе сына Завалишина и ограбление его с подделкой бумаг. Штильмейстер не угрожал ей вечной каторгой, но пять лет гарантировал ей статью из законоуложения... Она выла, целовала новые желтые, с тупыми носками полуштилеты Штильмейстера и подписала заготовленную купчую крепость.

Подновленная фабрика замков теперь принадлежит в двух долях Завалишину, в восьми — фирме «Равновесие».

Этому также справедливо отдать хотя бы пять страниц, показавших бы, как труслива эта пакостливая внебрачная дочь Самодурства и Жестокости. Получив деньги, она уехала искать новых «фортун», чтобы не возвращаться более в Шальву. Скажем, однако, что, спившись и промотавшись, она вернется сюда и наймется судомойкой в ресторан «Веселый лужок». Но все ее перипетии только лишь жалкий эпизод по сравнению с коленцем, которое выкинул прогоревший вместе со своей вокально-музыкальной эксцентрической группой Клавдий Лукич Акинфин.

Он продал самую драгоценную и заветную для Платона фабрику, производившую миллионы маленьких изделий, на головках которых так широко рекламировалась фирма «Равновесие». И кому он продал?

Кому?

Может быть, изворотливому наглецу, понимающему, как делаются гвозди, или хотя бы знающему, в них толк?

Он продал фабрику Гризели... Помните ее? Певичку, обратившую Клавдия своим голосом, свившую из него веревочку, на привязи которой он пребывал все эти годы, пока она и ее партнеры не выжали из Клавдия все до последнего рубля, сделав при этом его должником.

Наследственная и приобретенная устойчивость Платона Лукича едва не дала крен в сторону овчаровской больницы, но удар был разделен Родионом Максимовичем Скуратовым. Ведь он был частным воспитанником мистера Макфильда.

Переговорив с Штильмейстером, оба они решили, что необходимо подчиниться законной продаже фабрики Агриппине Никитичне Фаломеевой — так значилась Гризель по паспорту и в купчей.

Штильмейстер и Скуратов надеялись, что преступление будет отпущено скорым наказанием. Они оценили теперь мудрость наследственного завещания Луки Фомича,

в котором гвоздильная фабрика завещалась Клавдию, а волочилная, без проволоки которой невозможно производить гвозди, была отписана Платону. И кроме этого можно было уличить госпожу Фаломееву в подлоге. Фабрика была оценена в купчей вдесятеро дороже ее оптимальной стоимости. Но уличение в этом испортило бы замыслы Штильмейстера, ставшего также акционером фирмы.

Прибегая к обветшалому сравнению происходящего с шахматной игрой, заметим, что все ходы и расстановка фигур были таковы, что партия будет с треском проиграна и госпоже Фаломеевой придется разделить участь Зинаиды Гранилиной. Между тем в жизни куда неожиданнее, чем в шахматной игре, появляются ничтожные пешки и ставят под угрозу верную победу.

Клавдий при всей его «тупейности» в заводских делах нашел пешку, защищающую «королеву», если ею назвать Гризель. Ею оказался некий Михай Иванович Щеглов, не так давно изгнанный Платоном за подлоги. Щеглов, хорошо вознаграждаясь как агент оптового сбыта гвоздей, приворовывал. И теперь, лишившись доходного места, он не растерял связи с оптовыми заказчиками.

Он-то, знающий все тонкости, и был привлечен в новую эксцентрично-гвоздевую труппу потолстевшей и обезголосевшей Гризель, правда еще пригодной для «Веселого лужка».

Партия продолжилась так.

— Вот вам ключи, — вручил их Родион Максимович. — Фабрика в полной сохранности, Михай Иванович. Проверьте по инвентарному акту и начинайте огораживаться.

— Зачем же это нужно, Родион Максимович? Агриппина Никитична желает войти акционером, — сделал ответный ход щеголеватый по-щеглиному Щеглов.

Последовал ход Скуратова:

— Сожалею, Михай Иванович, но акционеры не сумеют принять госпожу Фаломееву, так как слишком выгодно продал Клавдий Лукич свою фабрику. Огораживайтесь!

— А мы поторгуемся, Родион Максимович... Зашли бы по старой дружбе. Мы в «Гостинице для всех», в бельэтажевых номерах.

— Огораживайтесь, Михай Иванович!

— А где же рабочие?

— Наймите!

— А мои где, в тех смыслах, которые должны быть наши? Которые работали при фабрике...

— Я, Михай Иванович, не распоряжаюсь рабочими, но краем уха слышал, что они не желают терять право состоять в Кассе, объединяющей только рабочих и служащих фирмы «Равновесие», а вы вне «Весов»...

И так ход за ходом с явным перевесом Скуратова.

— Тэ-экс, Родион Максимович...

— Этак-с, — ответил Скуратов. — Огораживайтесь!

— Проволоки, стало быть, тоже не дадите, Родион Максимович?

— С удовольствием, но нам самим ее не хватает, Михай Иванович.

— На что не хватает? Ха-ха!.. Чем и во что вы будете ее перерабатывать?

— Через неделю поставим новые гвоздильные станки. В главном механическом...

— Ну-ну! Обойдусь. Не один вы волочите проволоку. Теперь ветка есть. Мигни только — хоть сто товарных будут тут.

— Разумеется, разумеется, Михей Иванович, особенно если есть чем мигать... Я думаю, что коли вы в «бельэтажевом» в одном номере остановились, то ваше мигание может выглядеть не ахти как кредитоспособно.

— Есть векселя, если мигалок не хватит. Будут и задатки старых моих клиентов. А пока цирковые гастроли дадут мелочишку на разбег...

— Даст ли вам разбежаться Александр Филимонович?

— Ха-ха! В Берлинах давали, а в Шальве-то уж...

— Разумеется, разумеется... Только Александр Филимонович вводит новые козлиные бои и любительскую борьбу также с выигрышными ставками.

— Ну и что? Как можно равнять всемирно знаменитую Гризель с козлами?

— Разумеется, разумеется, между ними никаких сходств, если не считать голоса...

Щеглов не нашелся, как и чем ответить. Побежденным себя не признал, но и не надеялся на выигрыш, казавшийся еще вчера лежащим в его кармане.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы Знаем, мы уверены, что победит фирма. Силы сторон так очевидно не равны. И все же нам хочется знать, как это произойдет.

Пока на несколько дней поединок приостановился. Фабрика осталась под замками. Щеглов заручался заказами. Он сумел убедить дешевой ценой на гвозди и предъявлением недоверчивым оптовикам купчей крепости на приобретенный Фаломеевой завод и получал наличными задатки.

Не такими доверчивыми оказались поставщики проволоки, но и ее сумел достать и погрузить в вагоны Щеглов. Дело застопорилось маленьким пустячком. Головка гвоздя не могла уже штамповаться известной маркой фирмы, нужно было заказать новый штамп. А кому? Заказать можно было только в Екатеринбурге или в Перми. В довершение всего новая хозяйка потребовала на головке гвоздя вычеканить ее имя: «Гризель»... А где взять такого второго Уланова, который бы сумел на малой головке уместить это слово и сделать не один штамп, а много? Разных размеров, на все станки, а их около сорока.

Щеглов уломал капризную, жаждущую утраченной славы Гризель, и она согласилась выпускать пока гвозди с обычными головками в косую сеточку. Для этого не нужны граверы.

Пришла и проволока. Нашлись и рабочие. Мало ли их сидит в ожидании работы в соседних рабочих поселках. Нашлись и пусковики, не нашлось электричества. Электрический цех по завещанию принадлежал Платону.

Щеглов бросился умолять Платона Лукича «дать электрического току».

Дежурный техник сказал вежливо и холодно!

— Платон Лукич отбыл в Петербург.

Вот тут-то и появилась в игре главная фигура.

Георгий Генрихович Штильмейстер с первого взгляда оценил душевное состояние Фаломеевой, встретившись с нею в ее номере гостиницы. Он избрал тактику, какая подобает вежливому человеку, к какой он часто прибегал в своей практике. Увидев же ее начавшее брызгнуть лицо, синяки под глазами, неравномерно наведенные брови, потрепанное когда-то дорогое платье, давно не общавшееся с утюгом, он заметил и недопитую бутылку рома на столике. И весь антураж, все

относящиеся к этой, как он назвал ее про себя, «лахудренной истеричке». И он, нащупывая тональность, обратился к ней:

— Мы ведь с вами когда-то немножечко были знакомы, мадам Гризель...

— Я смутно припоминаю вас. Так много было встреч, обожателей, друзей, а память одна... Горничная, доложившая о вас, назвала...

— Георгием Генриховичем Штильмейстером. Запишите, пожалуйста, — сказал он уже без «мадам», — Гризель, мое имя. Оно пригодится вам на суде.

— На каком?

— Не будем играть, Гризель, в «мышку-норушку», я опытный ловчий кот, но мне не хочется лакомиться вами.

Она попыталась вспылить, но удержалась:

— Что вам угодно от меня?

— Угодно вам, а не мне. Я пришел защитить вас и получить за свою адвокатскую защиту положенный гонорар. Вы, как мне пока еще нетвердо удалось установить, поссорились со своими партнерами.

— Да, а что? Они завидуют мне...

— Не только завидуют, Гризель, но и хотят воспользоваться прибылями гвоздильного завода в равных долях с вами!

— А этого они не хотят? — Гризель показала кукиш.

Гипотеза, построенная Штильмейстером, подтверждалась. Он угадал. Гризель визгливо протестовала:

— Что они дали мне на покупку завода? Сущие гроши... Я содержала их всех. Благодаря мне они получали отличные ангажементы. А-господин Акинфин Клавдий Лукич вел широкий образ жизни, кутя вместе с ними. И я давала ему в долг большие деньги, которые зарабатывала я... Мой голос и моя внешность делали сборы...

— В этом я не сомневаюсь, Гризель. Вами можно только восторгаться. Не верить вашим успехам не может и самый тупой человек...

— Благодарю вас... Благодарю... Не хотите ли, я попрошу кофе? У меня есть ром...

— Как это шикарно! Только позднее... Не верить вашим успехам, — повторил он, — может только болван. Но, Гризель, какой болван поверит вам, что вы могли скопить сумму, приближающуюся к стоимости завода?

— Но, сударь, я же не только пела. У меня были и те, кому я пела у них дома...

— Но так ли уж много платится за этот вид пения?

— Кому как. Есть, сударь, певицы и танцовщицы, получающие за несколько рандеву дома. Виллы. Дворцы... Положим, я была не такой щукой. Но и не могу отнести себя к аквариумным рыбкам, довольствующимся маленькими червячками. Я могу купить еще два завода на свои накопления...

Штильмейстера оскорбляла эта наглая ложь.

— Послушайте, Гризель. Когда вы будете покупать очередной завод, попросите продать вам серьги с камнями не из бутылочного стекла, а хотя бы из чего-то похожего на самоцветы.

— Сударь! Это у меня театральные серьги. Для сцены. Такие заметнее публике...

— Пусть будет так, Гризель, а рваные и ржавые кружева вы тоже объясните бутафорией?

Гризель, сидевшая положив ногу на ногу, села прямо и одернула юбку.

— Чего вы добиваетесь?

— Я хочу сохранить вам свободное передвижение по империи, а до этого купить у вас завод, в котором вам не удастся сделать и одного гвоздя, если вы не впряжетесь с вашим... Я не знаю, в каких вы отношениях с ним... Если он и вы не впряжетесь в конный привод.

Гризель притихла. Она, кажется, постарела лет на пять в эти две-три минуты. А Штильмейстер делал ход за ходом:

— Вас ваши же друзья уличат в вымогательстве. В спаивании Клавдия Лукича. В шантаже... Вас уличат по многим статьям и параграфам и присудят вам столько лет, что из вашей жизни ничего не останется на престарелые годы. Присяжные вам не поверят, что вы захотели стать заводчицей. В суде присяжных есть и фабриканты. Они умеют смотреть в корень и ниже его.

— А сколько бы вы предложили мне за мой завод?..

— За ваш? Назначает цену продающий.

— Я посоветуюсь с Михеем Ивановичем...

— Его, кажется, трудно будет найти. Крысы первыми убегают с тонущего корабля... Завтра я вас жду в девять утра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Никогда не следует предрешать развязки, как это сделал Вениамин Викторович Строганов. Он предсказывал, что Штильмейстер не заплатит Гризели и пяти рублей. А он уплатил ей уже пятьсот. И когда она, рыдая, размазывала плохой грим и клялась памятью матери: «Я Клавдию Лукичу вручила наличными тысячу двести пятьдесят рублей и простила долги...» — Штильмейстер поверил и сказал:

— Я вам плачу тысячу двести пятьдесят, оплачиваю дорогу и все расходы по поездке в Шальву, с почетом провожаю вас на орловских рысаках до станции. Прикажу вас нарядить в наших «новых модах», устройю для вас в «Веселом лужке» концерт. В цирке вам петь будет затруднительно. А вы подпишите мне купчую на ту сумму, какую вы ухитрились вписать в купчую и принудить Клавдия Лукича подписать ее.

— Хорошо, — покорно согласилась Гризель. — А в обещанные вами наряды войдет беличья шуба?

— Хоть три, — ответил Штильмейстер и пригласил Гризель, назвав Агриппиной Никитичной, в экипаж, чтобы отправиться к нотариусу.

На следующий день вечером орловские рысаки в серых яблоках, запряженные в карету, умчали на станцию Гризель, где она была усажена в купе первого класса и тотчас же свела знакомство с немолодым купцом в кастановой поддевке. Она кучеру дала рубль, другой — носильщику.

Теперь она могла это делать, зная, что набивает себе цену, платя рубли при купце.

Через два дня вернулся из Петербурга Платон. Телеграмма о возвращении завода разошлась с ним. Его встретил Штильмейстер, приехавший на той же паре орловских.

— Ну как, Георгий Генрихович?

— Я так и знал, что телеграмма минует вас... Купил.

— За сколько?

Штильмейстер указал на спину кучера и сказал:

— За столько же, за сколько купила завод госпожа Фаломеева.

Дома же за ужином разговор был другим.

— Я полагаю, Платон Лукич, полагает и Флегонт Борисович, что бухгалтерски все должно быть безупречно. Мы акционерное общество, и мы не можем объяснять каждому акционеру семейную подноготную. Клавдий Лукич продал завод за девятьсот семьдесят пять тысяч, за столько же мы купили его у госпожи Фаломеевой.

— Но ведь, Георгий...

— И «но» и «ведь» остается при ваших расчетах с вашим братом, а бухгалтерия ему будет начислять прибыли с его пая, который уменьшился на девятьсот и семьдесят тысяч, выплаченных акционерным обществом мадемаузель Гризель...

Глаза Платона и Штильмейстера встретились. Встретились не очень надолго.

— Но ведь, Георгий Генрихович, вы купили завод за тысячу двести пятьдесят рублей плюс шуба и тряпки... словом, не более чем за две тысячи.

— Если вы, дорогой Платон Лукич, хотите простить брата, то в это не может вмешиваться никто...

Платон отпил из бокала морс, затем принялся рассматривать свои руки, чтобы продлить паузу, ответил:

— Хорошо, Георгий Генрихович. Я это запишу в блокнот своей памяти... Клавдий промотает все. И когда он промотается, мне придется его содержать подобающим образом. Пусть эта разница в суммах будет неизвестным для него резервом. А сейчас ему следует перевести по телеграфу хотя бы что-то из положенных ему прибылей. Он, я полагаю, по уши в долгах. Пусть он подлец, нарушивший клятву на могиле отца, все же он его сын...

Не Штильмейстер, а его ненависть к Клавдию заметила:

— Калерия Зоиловна на прошлой неделе перевела ему пять тысяч рублей.

— Это не мое дело и, смею думать, не ваше, Георгий Генрихович. У сына и матери свои, не касающиеся всех других отношения...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Опять весна и опять похороны. Но до них ли теперь ветке большой дороги.

По ней курсируют и товарные, и товаро-пассажирские поезда. По требованию могут подать в Шальву и классный вагон. Только уплати за все места. Подадут и специальный вагон. С горничной, поваром и кухней. В таком вагоне прибыли Лучинины и Цецилия с Вадимиком. Он опять в девчоночьем платье.

Когда только кончится это издевательство над мальчиком гимназического возраста?

В Шальве снова много нового. Новые дома. Новый башкирский поселок с мечетью и красивым названием Султанстан. По мнению всех, это самый трудолюбивый и честнейший народ. Башкиры работают кто где. Быстро осваиваются и в цехах, но «простая» работа, на которую не идут коренные шальвинцы, им кажется сподручнее. Лошадь все еще главная тягловая сила и при круговой узкоколейке. С введением заводских и цеховых столовых Кассе пришлось расширить скотные дворы. Заготовка дров на склад для номерных рабочих тоже спорится у башкир. Это и заставило взять на постоянную работу тех, кто работал сезонно.

Вынужден был сменить гнев на милость и Молохов Василий Митрофанович. Надеясь на ветку, он тут же разуверился в ней. Не рвали, как он думал, его слитки, не дав им остыть. Браковали его товар. Не согласись войти в акционерное общество, которым управляет правление, а правление это — Платон, Молохов согласился

плавить металл под надзором и по указаниям шальвинских плавильщиков. Жалко, что ли? Пусть мудрствуют, металл-то им, они и платят за каждую плавку.

Одно плохо — почки мучили зимой, а теперь, после овчаровскрй грабительской больницы, они опять как у молоденького... И скорым шагом стало можно ходить.

Доктора и брюхо сбавили. Приезжают. По расписанию велют кормить. И все бы ничего, жить можно, да опять повадились по ночам дядя и снова требуют дележа платины и всего, что через нее нажито. А это хуже почек.

Одно спасение в алтарной комнате.

Здесь уместно вписать из рассказанного в свое время Флором Кучеровым.

В замке барона Котторжана была домовая церковь с небольшим алтарем с полусферическим потолком. Барон, приняв православие, был верен католичеству. Ну, а коли так, то алтарь другой веры можно превратить в опочивальню. Зимой в ней было холодновато, весной и летом в самый раз. Прохлада. И что самое главное — дядя туда не смели наведываться.

Василий Митрофанович отлично понимал, что алтарь, какой он веры ни будь, божествен. Как туда попасть без покаяния, без креста, без похорон сгинувшему старшему, самому вредному дяде? И второй тоже возле двери походит-походит и назад в землю уйдет.

Василия Митрофановича неоднократно предупреждали, что свод ненадежен, что находится и, того больше, спать под этой каменной угрозой опасно.

Опасно? А не опаснее ли не спать и обороняться медным крестом от мертвяков? Да и где слыхано, чтобы старый свод аршинной толщины рушился? Никогда такого не бывало. Рушились новомодные потолки, а старинные — хоть бы что.

Зная о ночных видениях мужа, Феоктиста Матвеевна перенесла свою ореховую кровать с лебяжьей перинкой из светлой спальни в его мрачное и опасное, но спасительное убежище. Муж ведь, вдвоем-то спокойнее. Так и случилось. Вдвоем всегда легче. — И совсем полегчало им, а свод рухнул.

Василий Митрофанович и Феоктиста Матвеевна не проснулись. Смерть была мгновенной для обоих.

Минуя канонические траурные дни, сразу же перейдем к тому, что, осушив слезы, сказала Агния Васильевна Молохова:

— Вениамин, жить в Молоховке я не могу. Платон мне и тебе предлагает комнаты в левом крыле. Завтра же до того, как ты будешь признан опекуном твоего и моего сына, молоховские заводы войдут в акционерное общество. Договоры и условия, если они кому-то понадобятся, напишутся потом. Мне они не нужны. Платону я верю больше, чем себе.

Сентиментальный Вениамин целовал ее руки.

— И мне, Агустик, тем более не нужны.

— Рабочим, Вениамин, мы должны заплатить за все пустые дни, в которые они не работали по их вине или по упрямству отца. Им нужно уплатить и за их забастовочные дни. Им нужно уплатить просто так месячный заработок и не называть эти деньги поминальными. Они или их не возьмут, или вместо поминания... Зачем я должна порождать лишнюю ругань? Другое дело — дети... Им нужно что-то подарить. Значительное... Памятное. А что — я придумаю потом...

— Я даже не знаю, как назвать тебя, родная моя в единственная...

— И наконец, Вениамин... Нет, еще не наконец. Самое последнее будет самым трудным... А сейчас самое приятное. Ты будешь не только опекуном, но и законным

отцом. В ящике письменного стола я нашла письмо. С меня снимается клятва оставаться навсегда твоей невенчанной женой. Вот, прочти. Оказывается, это было написано еще перед его первой операцией. Не правда ли, Венечка, абсолютно диккенсовская развязка? Добродетель побеждает жестокость... Дай я тебе утру мокрое умилиение на твоём лице.

— Нужно быть деревом, чтобы не плакать, Агустик. Нужно быть чугуном, чтобы многое не простить Василию Митрофановичу и не поблагодарить за это письмо.

— И теперь самое последнее, не диккенсовское, а из каких-то древних и разбойничьих времен. Слушай, Вениамин. Отец показал мне дремучее место, где зарыто проклятое худородное серебро, припрятанные остатки платиновых богатств его родителя на самый черный-пречерный день.

Рассказывая, Агния волновалась, старалась не смотреть на Строганова. А он, услышав об этом, сказал ей:

— Забудь о нем, Агнюша. Пусть лежит в земле это зло. Неужели ты воскресишь проклятые умолкнувшие ужасы?

— Родной мой, я поступлю, как подсказывает моя совесть. Я укажу это место честнейшему старику Флору Лавровичу Кучерову. Пусть он соберет всех потомков Молоховых, живущих в нужде и бедности. Пусть он отдаст им этот клад и они разделят его между собой...

Разве это не будет справедливым решением? Я, Вениамин, хочу как-то, хотя бы немного, смягчить... А что смягчить — и не знаю... Но это не теперь, а потом. Потом, когда найдет нужным Флор Лаврович Кучеров.

Вениамину Викторовичу что-то хотелось сказать, но ничего не сказалось. Ему было трудно называть самое слово «платина» и-пускать ее в свои мысли.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

По-своему и особо взвешивал Платон Лукич приход в «Равновесие» нового крупного акционера. Вместе с ним приходили новые рабочие. Это не гранилинские, забытые нуждой, полуголодные мастеровые. Они рады были грошовым надбавкам оплаты за работу. На Кассу они чуть ли не молились, едва не целовали заводские номера с изображением весов.

А вот как поведут себя поротые, озлобленные молоховские бунтари? Не потребуют ли они большего, чем им можно дать? Не захотят ли они сразу же тех благ, какие есть у шальвинских рабочих?

Платон Лукич не забывал и сказанное Гущиным: «Вулканы засыпают, но не умирают...»

Разумный афоризм, и все же Молоховка не вулкан. Это. та же Шальва, только растравленная, взбудораженная жестоким отношением к рабочим. Но...

Но первые хорошие получки, льготы, заботливое внимание к житью-бытью утихомирят справедливо недовольных крикунов. Однако же Платон не знал, что неизвестное ему екатеринбургское подполье не забывало Шальву, Молоховку и все окрестные заводы. Усиленный надзор полиции не мог уследить за всем и каждым. Рабочие читали запрещенное, учились, встречались, обогащались знаниями, накапливали силы.

Молоканов действовал и помогал...

Платон Лукич, не исключая вспышек на заводах, верил в силу власти своих

экономических реформ. Поэтому предчувствия, касающиеся молоховских смутьянов, всего лишь настораживали его, но не пугали. Он ждал, что к нему явятся представители комитета профессионального союза металлистов и он сумеет договориться с ними. А представители не приходили, зато пришла листовка. Ее принес почтальон в конверте, как обычное письмо.

Листовка была напечатана крупным шрифтом:

«Долой продажную Кассу Овчарова!

Долой его развратные „Лужки“, подлые рулетки, азартные бои и все торгашеские заведения!

Требуем замены Кассы Комитетом Профессионального союза металлистов!»

Прибежавший Овчаров тоже получил из Молоховки листовку. В его глазах ожесточение, и весь он гнев, раздражение, а разговор с Акинфиным он начал тихо и смиренно:

— Я утишаю в себе, Платон Лукич, горькую обиду. Силой милому не быть. Кому люб Союз металлистов, тот пусть и вступает в него, а Касса пусть останется для тех, кто ею дорожит...

— Вы мудрец, Александр Филимонович, но все же мы должны считаться с желаниями наших рабочих.

Сказав так, Акинфин предложил ответить на листовку. Печатно. Гласно.

Ответ в кратком пересказе состоял в том, что Комитет Союза металлистов вправе выносить свои замечания о Кассе на обсуждение всех рабочих заводов фирмы.

Далее объяснялось, что недовольство господ рабочих и служащих отдельными заведениями Кассы упускает из виду вынужденные способы изыскания значительных сумм для покрытия расходов по ссудам, пенсиям, пособиям и многому другому, помогающему улучшению жизни трудовых семей.

Затем подтверждалось право каждого сделать выбор между двумя этими объединениями рабочих и служащих заводов.

В том же доброжелательном тоне гарантировалось возвращение паевых накоплений выходящим из Кассы ее членам.

Членам Союза металлистов фирма гарантировала страховые отчисления, в соответствии к заработку рабочих, состоящих в профессиональном союзе..

Комитету металлистов фирма предоставляла для расширения его работы в безвозмездное пользование дом бывшего управления заводом в селении Молоховка.

И, наконец, выражалась уверенность в содружестве и успехах двух самостоятельных рабочих организаций.

В день выхода газеты были выбиты стекла в доме Овчарова. Виновных не нашли. К дому Акинфина приставили двух полицейских. Прискакал отряд кавалеристов. В Молоховке ждали бунта.

Все обошлось спокойно. Никаких признаков волнений не оказалось. Умный жандармский чин не расценил листовку политической акцией, а всего лишь недостойным выражением недовольства Комитета Профессионального союза, оказавшегося неспособным достигнуть больших успехов по сравнению с Кассой.

Относительно выбитых стекол прошел слух, что это было женской мстью Овчарову, за что — он знает сам.

Все стало на свои места. Узел был завязан деликатно и умело. Выход из Кассы стал невозможным, он угрожал потерей всех ее льгот. Отчисления фирмы, которые мог получить Комитет Профессионального союза, оказались мизерно малы. Поэтому правление Кассы и Комитет металлистов, оценивая обстановку, пошли на взаимные уступки. Состоящий в Кассе мог одновременно быть и членом профессионального союза, при условии, что страховые отчисления фирмы по-прежнему останутся за Кассой.

— Иного пока добиться нам не удалось, — сказал связному из Екатеринбурга Савелий Рождественский. — И все же достигнутое нами поможет сделать новые шаги. В себя мы не теряем веру. Мы сила!

Примерно так же говорил жандармский чин Платону Лукичу. А он по-прежнему стоял на своем:

— Сила только в улучшении жизни рабочих, в увеличении капиталов и доходов Кассы.

Действуя так, Акинфин повысил оплату рабочим нового акционерного завода. Ввел большие премии за выплавку добротного металла. Учредил в Молоховке приемный покой и два номерных магазина. Появились столовые в цехах.

И чем больше проявлялось внимание к своему желанному металлургическому акционеру, тем жарче пылали его печи, тем больше выплавлялось чугуна, стали, меди.

Малые затраты с лихвою окупались большими барышами. Платон Лукич Акинфин умел считать и миллионы, и копейки...

Молоканов так же умел считать малые и крупные завоевания рабочего класса.

ЦИКЛ ДЕВЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Листая страницы строгановских записей и «Поминального численника», листается и время. «Численник» не остановился на писаниях Луки Фомича. Платона потянуло к этой тяжеловесной, в кожаном-металлическом переплете летописи акинфинского рода.

Сначала Платон вписывал в нее короткие заметки о самом «численнике», оценивая его как досужее разглагольствование благополучных предков после сытного обеда. Не низвергая написанное, он мягко подтрунивал над ним, находя, что все авторы этих страниц не страдали отсутствием самолюбования и забывчивостью о своих превосходствах по отношению ко всем остальным.

Начав с таких заметок, сдобренных почтительным юмором, не расставаясь с ним, Платон, увлекшись, стал писать о себе, о своей «гармонии равновесия взаимностей». Излагая ее много раз, как оказалось, он нигде не мог рассказать о ней так стройно, подробно и последовательно, как здесь. Вероятно, это происходило потому, что в предполуночной тишине никто его не перебивал, не задавал каверзных вопросов, и строки, как точные, безупречно сработанные брусья «составного» дома, послушно ложились в стены возводимого им сооружения из слов, точно выражающих его мысли, фраз, воплощающих открытые им истины.

Создаваемое на плотных листах отличной бумаги помимо его воли готовилось стать солидным трактатом, таким же убедительным, как его акционерное общество.

Трактат вполне можно озаглавить тем же так много вмещающим в себя словом «Равновесие».

Все получалось так гармонично, что даже хотелось вписать строку из пушкинского «Бориса Годунова»: «Достиг я высшей власти», а последующие слова: «но счастья нет моей душе», возникающие сами по себе, не хотелось даже произносить. Они же не уходили из головы, требовали сказаться.

Но почему же, как же «счастья нет моей душе», когда оно есть?..

За год с несколькими месяцами после ухода Молохова преобразованы его печи. Идет хороший металл. В Молоховке прекратились волнения и приутих ропот рабочих. Все они теперь в Кассе. Они получили право приобретать в рассрочку дома и скот. Для них открыты номерные лавки Кассы и все ее блага — и страхование, и лечение... В день именин они преподнесли медный каравай на литом чугунном подносе с подковообразной солонкой и сказали:

— Обожаемый наш спаситель, Платон Лукич, мы оживили былую славу стальных сплавов незабвенного инженера Амосова, и теперь можно делать все, чего не сделают другие...

Разве это не счастье?

Обстоятельства заставили Потакова и Шульжина примкнуть к акционерному обществу. И, сделав это, они обрели тишину и благополучие. Кэт получила возможность сменять возлюбленных немногим реже, чем свои туалеты. Можно сожалеть, что Антип Сократович теперь играет на воображаемом бильярде в доме для умственно неполноценных господ, но все же господ, в господском отделении, а не в обычных палатах для всех. Может быть, Потакову не суждено вернуться из этой палаты в свой дом, зато в своих домах живут его рабочие и также пользуются всеми номерными привилегиями.

Как может он роптать на судьбу?

Камские лесные заводы буквально устрашают своими прибылями. Зримое становится невероятным. Реальное — призрачным. Как только ухитряются оптовики, покупая сборные дома по баснословной цене, перепродавать их с большими прибылями?

Говорят, причиной этого успеха является не «Равновесие», а российское неравновесие природных богатств по отношению к промышленным возможностям. Говорят, что на этом зиждется благополучие господина Акинфина и его акционерного общества, сумевшего опередить других. Говорят, что это зыбкая удача предприимчивого выскочки...

Какая низменная, завистливая желчь! Какая клевета под флагом экономических наук! Какое умствование недоучек и угодливых прислужников заживо смердящего режима!

Кто кому мешает брать богатства, лежащие на поверхности? И кому не лень нагнуться, тот богатеет. Примеры на глазах у всех. Жил-был никем не знаемый лесничий. Бедняк. Интеллигентный нищий. Попросил продать ему отходы. По сути дела древесный шлак. И чудо! Корье, сгнивающее на порубках, ожило товаром! Обрезки и пеньки, оказывается, способны стать третьим сортом первосортного сырья для тысяч подделок. Щепки, стружки, опилки и даже хвоя пошли в дело. Разве перечтешь, что из чего? Все эти смолы, дегти, скипидары... Не в этом суть.

Суть в том, что Чердынцев был радетельный лесничий, слуга лесов, а стал теперь их господином, богачом и акционером...

...Диалог с самим собой всегда приятен тем же, что и с самим собою бильярдная игра, потому что побеждает сам играющий и говорящий.

Трудней игра и разговор с другими. Они всегда чреватые успехом.

Такое произошло с Платоном Лукичом совсем недавно. Произошло и тронуло стрелку весов души Платона в сторону вступившего с ним в разговор.

Никто Платона Лукича не обвинял в зазнайстве. Он был учтив и вежлив одинаково и с теми, кого называли господами, и с теми, кто не мог числиться в господах. Кузнец ли он, литейщик ли, уборщик ли мусора в цехах. И уж конечно с теми, чьи руки восхищали Платона Лукича, он был особенно приветлив.

Главный гравер, рукам которого своим рождением обязаны тончайшие штамповки, Уланов Иван Лазаревич попал в беду. Отказали пальцы правой руки.

Тревога! Этим пальцам нет цены! Его немедленно освободили от работы. Платон Лукич собрал консилиум шальвинских врачей. Болезнь оказалась излечимой. Пальцы были переутомлены работой. Штихели и резцы перенапрягли их, не зная устали.

Начались массажи, втирания мазей, лечебная гимнастика, проба лечить электричеством и...

И помогло. Уланов мог вернуться в цех с обязательным выполнением ежечасной разминки пальцев, гимнастики рук. Заботливые наставления исключали повторения болезни пальцев.

Узнав о выздоровлении, Платон Лукич приехал к Уланову поздравить его. Честь! Куда же больше, приехал сам! Привез бутылки, свертки, сласти, фрукты! Снилось ли такое раньше? И гость вошел к нему не в своей рабочей тужурчешке, а в новой тройке! При галстуке и шляпе. Уважение же! И это надо понимать, а выздоровевший, которого лечили, как царя, встретил Платона Лукича суховато.

— Спасибо, — сказал Уланов, — хорошая больница. Земских таких не бывает. Все хвалят.

— Как себя чувствуют теперь ваши пальцы, Иван Лазаревич? — участливо спросил Платон Лукич.

— Как новые, Платон Лукич, да я-то чувствую себя не важнецко.

— Больница, Иван Лазаревич, всегда немножко угнетает...

— Это само собой, Платон Лукич. Но мне показалось, будто лечили не меня и заботились не обо мне...

— О ком же о другом, Иван Лазаревич?..

— Не знаю, о ком или о чем... Я не мастер гравировать слова. Только я еще раз, и, кажется, бесповоротно, убедился, что эта и всякая ваша забота не обо мне как о человеке Иване Уланове, а как о машине. Как, понимаете, о дорогом станке, который начал ржаветь и выходить из строя. А он нужен! Нужен до зарезу, без него большой провал...

— Мне очень странно слышать такое от вас.

— Странно или нет, Платон Лукич, но это так. Из тюрьмы вы тоже вызволяли не человека Ивана Уланова, а гравировальную машину. А я, во-первых, Иван Уланов — человек, а во-вторых — все остальное...

— Ну, хорошо... Думайте так плохо, но скажите: не все ли равно человеку, который тонул и которого спас другой человек? Он спас его. Сделал самое главное. И так ли уж важно, из каких побуждений он это сделал? Потому ли, что ему хотелось спасти? Или он хотел прославить себя? Или тот, предположим, был должен ему деньги?.. Много денег. И долг утонул бы вместе с должником... Не все ли равно?

— Не все равно, Платон Лукич. У человека есть душа. Какая она — не знаю, но какая-то есть, как и разум. Обидновато сознавать, чувствовать, что тебя спасают, что тебя ремонтируют, как машину, и не для тебя, а для того, на кого ты, машина, работаешь. От этого на душе становится невесело и в разуме как-то сумеречно. Неужели вам, Платон Лукич, непонятно это? Или не хочется понимать?

— Мне оскорбительно это понимать. Больницу строил и я...

— Тогда вам легче понять. Вы знаете, с чего ее строительство началось. Говорят, что со смерти фондового мастера. Вы дорожите мастерами, Платон Лукич. Я не встречал человека, который так холит мастеров... Но ведь, Платон Лукич, пасечник тоже холит своих пчел, заботится о них, строит им новейшие, удобные составные ульи... Для чего? Иной, может быть, и любит это трудолюбивое насекомое с острым жалом, но все равно он заботится о нем, чтобы получать мед. И тем больше забота, чем увесистее хочет получить пасечник прибыль от пчелы. Пчеле все равно, она бездумна. А все ли равно человеку, существу мыслящему? Человеку, который понял, что для хозяина он всего лишь пчела, рабочая «насекомая», увесисто обогащающая его своим трудом. А это, Платон Лукич, поймут не двое-трое, а рано или поздно все люди. Весь трудовой народ всей земли.

— И что же тогда будет, Иван Лазаревич? — настороженно спросил Акинфин.

— Не знаю, Платон Лукич... Я мало читал, но слышал, что наступит такое время, когда все люди будут работать на всех людей. Сами для себя, а не для кого-то одного-двух-трех... Пусть для десятерых. И тогда забота о каждом человеке будет святой заботой каждого и святым долгом всех людей. Всех! Это, как вы понимаете, уже совсем другая «медицина»...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Много перевидал Платон Лукич снов за последнюю неделю. Снилось разное. Чаще судостроительное. Снился доходный путь от Перми до устья Камы... Очень часто виделись новые большие пароходы с знакомыми именами и названиями: «Лука», «Фома», «Родион», «Лев», «Цецилия», «Вениамин», «Агния»... Это быстроходные, винтовые, с кормовым флагом и дорогой его сердцу эмблемой «Весы». Буксирные, также очень крупные, носили названия, соответствующие им: «Равновесие», «Скорость», «Акционер», «Шальва», «Взаимость», «Конкурент», «Гармония»... Почти все те, которые мечтались и замыслились на листах «Поминального численника».

Снился Акинфину и судовой завод в прикамском затоне. Там суда так же, как и «составные» дома, изготовлялись в очень большом количестве и могли собираться на любой из рек. На Енисее и на Дунае. На Печоре и на Дону. Все пароходства Камы, не выдержав дешевизны и превосходства акционерного общества «Равновесие», вошли в него, а свои плавающие калоши сбывали за бесценок на второстепенные реки.

Побывал в снах Платон Лукич и на часовом заводе в маленьком прикамском городке. От городка никаких дорог. Глушь. Он отрезан начисто в долгую зиму и от Камы. Зато рабочих рук там тысячи. А доставка материала для часов не потребует и одного обоза в тридцать подвод на целый год. Вывозка же готовых часов и того меньше. На одной лошади можно увезти... Даже трудно представить, сколько тысяч часов можно увезти на одной лошади.

Хорошо бы где-то на Каме построить завод пишущих машин. Они очень скоро

будут в большом спросе. Их и теперь расхватывают по невероятной цене. Но этот завод не снится. Следовательно, он преждевременен, и пока не ясен его облик. А вот завод швейных машин, которые всегда будут в спросе, труден только в челночном механизме, а все остальное обычное литье и штамп. Но и челночный механизм найдет своего Ивана Уланова. Он почему-то также снится каждую ночь. Неблагодарный, испорченный вниманием и деньгами человек. Его нельзя переубедить словами. Таким, как он, нужны наглядные уроки.

— Венечка, — обратился к Строганову Платон, выходя из своих мечтаний и отставляя стакан с остывшим чаем, — а почему обидный разговор с Улановым у меня не выходит из головы? Ведь я же столько раз слышал это же самое от других...

— Другими, Тонни, были люди другого круга, — ответил Строганов, давно уже определивший для себя значение сказанного Улановым, — вы можете не обращать внимания. Вам-то что до них? А вот Уланов... Уланов представляет собою тех, на ком строится все.

— Надо полагать, так и есть. Если фундамент дает хотя бы волосяную трещинку, на это нельзя, Венечек, не обращать внимания. Маленькая трещинка может превратиться в большую, а большая дать боковые трещины.

— Да, Тонни, фундаменты таинственны. Они в большей своей части под землей... Молоканов, например.

— К чему такие подспудные слова? А впрочем, Уланов, наверно, не один. Он на поверхности, другие могут быть гораздо глубже. Для Молокановых нужны предупредительные меры...

— Гущинские?... Тонни, неужели вы на это способны?

— Бог с вами, Венечка! — замахал руками Платон. — Эти меры рожают новые трещины, а не устраняют их... Неужели, Венечка, прав мой отец? Он мне сто раз твердил: «Чем больше ты даешь, тем больше спросят».

— Лука Фомич изволил также утверждать, что собаку вредно досыта кормить, она не будет сторожить и не станет приносить дичь на охоте. Но это же ведь люди, Тонни.

— Однако же мы все млекопитающие и питающиеся молоком... Есть миллион — подай два. Живой пример тому Кузьма Завалишин. Равновесие нельзя терять ни в эту сторону, ни в ту. Слишком легок и благополучен был подъем в крутую гору... Нет, нет, Вениамин Викторович, я не хочу этим сказать то, что я прочел в ваших глазах. Благополучия должны и будут продолжаться в тех же скоростях, но надо же, чтоб их ценили. Юджин Фолстер меня учил: если я пять раз буду платить за грог, в шестой друзья будут негодовать, когда я попрошу их уплатить самих... Я, Веник, уплачу сто раз за грог, но надо же, чтоб те, кто пьет, знали, что грог не черпается мною из колодца. И даже если из колодца, то нужно помнить, что колодец мой!

Вениамину Викторовичу не хотелось поддерживать этого разговора, потому что у него были свои взгляды на принадлежность колодцев и теперь они становились настойчивее и тверже...

«Моих колодцев» у Платона Лукича было так много, что не составляло труда кого-то уличить в бесцеремонном пользовании их водой. И один из таких случаев услужливо представился. Штильмейстер и подсказал Платону Лукичу, как и на чем можно дать предметный урок.

Георгий Генрихович в это время исполнял обязанности главного управляющего и вице-председателя правления акционерного общества Скуратова. Родион Максимович

отправился, как он сказал перед отъездом, «по англиям набираться уму-разуму». На самом же деле он отправился в Швейцарию. Платон готовился превратить свои сны в явь и хотел, чтобы Родион увидел, как производятся лучшие в мире швейцарские часы.

Не один Скуратов, и другие верные и способные инженеры совершали далекие путешествия за умением осуществлять задуманное в реальное. Один из них поехал к Зингеру предложить создание отделения по сборке швейных машин для Урала и Сибири. На самом же деле нужно было перенять технологию и способы изготовления челночного механизма.

Занятый большим, Платон Лукич не упускал и малого, которое настораживало его и угрожало стать большим, и он решил дать предметный урок, подсказанный Георгием Генриховичем, русским по духу и немцем по педантичности.

Об этом особая глава.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сторож в проходной задержал гвоздильщика Суздалева и потребовал у него вывернуть карманы, заметив проткнувший один из них гвоздь.

Суздаев послушно исполнил приказанное. В карманах оказалось семьдесят три гвоздя. Пересчитаны они были при свидетелях. Сторож отобрал у гвоздильщика проходной номер и велел сказать ему об этом его мастеру.

Егор Суздаев был известен хорошим добросовестным и «артельным мужиком». И никто не придал значения случившемуся, потому что никогда не считалось зазорным брать с завода необходимое по домашности. Шпиль, скажем, молоток, кусачки, зубило... Где их взять? На заводах точились медные ручки для пельменных сечек, мастерились фигурные пряжки для поясных ремней, делались запоры, щеколды, дверные ручки. А на казенных заводах ковались и оси для телег, топоры, колуны... Все, что надо, что можно было вынести или вывезти в коробке с отходами, то и вывозили. Казна стерпит.

На заводах Акинфина было построже, и если что-то такое случалось, то Фома Лукич говаривал: «Кашевар больше брюха не съест». Штрафовали, пристыжали нарушителя, на этом и кончалось.

При Платоне Лукиче старые порядки искоренялись решительно и строго. Действовала основа основ — «равновесие», в данном случае «добросовестность взаимностей». Взятый на заводе без разрешения хотя бы ржавую гайку нарушал святой принцип добросовестности. Так было и сказано в заводских правилах, отпечатанных в типографии. Это же короче и прямее повторялось в договоре взаимных обязательств и прав нанимающего и нанимаемого. Там в девятом пункте в двух строках говорилось: «Присвоивший принадлежащее заводу увольняется без возвращения».

Мастер так и сказал Суздалеву:

— Ты же читал, когда подписывал.

— Читал, — ответил он.

— Так что же ты хочешь?

— Прощения хочу на первый раз. Крыльцо же просело. Ухнет — и конец. Ребята же у меня...

Мастер жалел, что Суздаев не желает понять его.

— У всех крыльца. У всех ребята. Иди к Штильмейстеру. Ниже его никто тебя не помилует и номера не отдаст.

Штильмейстер принял Суздалева очень ласково, но повторил то же самое и разъяснил:

— Дело не в гвоздях, друг мой, а в нарушении нерушимого правила. Семьдесят три гвоздя и семи копеек не стоят. Но это присвоение принадлежащего заводу зовется воровством. Семикопеечное оно или семирублевое, все равно это воровство. Ты будешь уволен без возвращения на завод.

Увольнение за семьдесят три гвоздя заметно отозвалось в цехах и стало известно на всех акинфинских заводах. Увольнение Егора Суздалева влекло за собой тяжкие последствия. Он лишился права выплачивать за свой новый дом и терял его. Правила рассрочки, как известно, предусматривали взносы только в виде удержания из получки на десять — двенадцать лет. Лишаясь работы, Суздалев лишился права состоять в Кассе, а вместе с этим всех благ, которые давались Кассой.

Егор Суздалев побежал к своему школьному товарищу, к Савелию Рождественскому.

— Савушка, мне совестно идти к Платону. Ты же знаешь, каков он в таких делах, ты с ним проучился все восемь лет, а я только четыре, и у тебя больше тропочек к его доброте. Он простит... Мы же вместе ловили ужей и ставили силки на жуланчиков...

— А теперь, Егор, мы оба с тобой стали жуланчиками в его силках, — сказал Рождественский и обнадежил: — Ну, да ничего, ничего, я попробую найти тропку в его печень...

Рождественский на правах «Платонова однокашника» пришел к нему не в контору, а в его крыло дома и сказал:

— Здравствуй, Плат! Я редко докучаю тебе и не пользуюсь тем, чего уже нет и что не вернется никогда...

— Садись, Саваоф, — назвал Платон школьной кличкой Савелия. — И если ты пришел говорить об Егорше, то мы оба потеряем время, и больше ничего. Есть незыблемое и нерушимое, как верность нашей ребячьей «заединщине», когда мы, заединщики, клялись своими рогатками защищать один другого, а за измену быть расстрелянным моченым горохом из этих же рогаток, по тридцать три горошины на каждого. Помнишь?

— Я помню, Плат, но помнишь ли ты, как мы простили Родиона Скуратова за сдачу в плен молоховским ребятам и не расстреляли его горохом?

— Они, Савелий, затравили его собаками, а это было преступным нарушением нашей игры в войну. Егора же Суздалева никто не травил, никто не брал в плен, не заставлял красть. Никто, Саваоф, кроме бесстыдной неблагодарности за все сделанное для него. Я был на новоселье у Егора. Я подарил ему памятный золотой гвоздь, как хорошему человеку и отличному гвоздильщику. Я готов наградить его за работу большой суммой. Он достойный человек. И эти семьдесят три гвоздя были взяты им по легкомыслию...

Савелий Рождественский почувствовал поклев на испытанную наживку по имени «детские годы». Желая, чтобы удача не сорвалась, он помог клеву верной привадой — похвалой:

— Тебя не зря многие называют святым. Ты, Плат, сказал золотые слова, Егорша взял гвозди по легкомыслию... Золотые слова, — повторил Рождественский.

Платон поблагодарил его скрещением рук на груди за сказанное и ответил:

— Слова, может быть, и святые, но не святее правил о взаимном доверии и взаимном уважении. Легкомыслие не оправдание. По легкомыслию можно лишить жизни человека и оправдать это лишение жизни легкомыслием, или невежеством, или чем-то еще таким, подобным этому. Я не имею права изменять самому себе. Я делаю все, что в моих силах. Облегчаю труд. Забочусь о ваших заработках. И сделаю еще больше... Мною будет сделано так много, что ты, Саваоф, и представить не можешь. Я не требую за это ни от кого никакой благодарности... За то, что воздают должное, не благодарят. Но я не могу позволить, — начинал волноваться Акинфин, — и не позволю, чтобы за все это мне в голову, в сердце вбивали гвозди. Пусть по легкомыслию, но все равно безнравственные гвозди. Семьдесят три гвоздя.

Рождественский молчал. Платон налил в стакан воды и выпил. А выпив, сказал:

— Да, я хозяин! Я ваш тиран с белыми крыльями ангела, как выгравировывают некоторые вызволенные из-под охраны ангелов с черными крыльями. Да, я ненасытный упырь, пьющий из вас кровь тысячами комариных хоботков и ниточка по ниточке вытягивающий из вас жилы. И вы можете распять меня семьюстами тридцатью гвоздями на этой стене, и, распиная, проклясть, и сказать перед моим издыханием: «Умри вместе со своими кабальными правилами...» Но, истекая кровью, я не допущу и маленькой трещинки в монолитном фундаменте акционерного общества «Равновесие». В нем я не полновластный король, а президент, ограниченный парламентом, состоящим из акционеров.

Рождественский понял, сколь бесполезно менять крючки и наживки. Он воспользовался подсказанным не желающим этой подсказки Платоном.

— Я тоже акционер, господин президент. И теперь в Шальве редкий рабочий не акционер. Кто по своей убежденности, кто по овчаровской принужденности. У каждого есть по две-три десятирублевых акции, вот я и попрошу их сказать свое, акционерское слово... Будь здоров, Плат. Я было хотел поговорить с тобою решительнее и окончательнее, да побоялся поставить этим под удар твоего и моего товарища... Бывай здоров! Я не буду портить станков, взрывать плотин, прибегать к стрельбе и ко всему тому, на что способно бессилие, а не сила. Егора защитят достойными средствами сильных и правых.

На другой же день по цехам заводов от одного к другому стали ходить «Поручительские листы». Они начинались такими словами:

«Мы, акционеры общества „Равновесие“, просим господина председателя Платона Лукича Акинфина в целях умиротворения неудовольствия за строгость наказания уважаемого всеми первоклассного пусковика гвоздильных станков господина Суздалева Е. наказать строгой мерой — штрафом в сто рублей, кои будут внесены нижеподписавшимися...»

Для вручения Акинфину подписанных листов избрали десять уважаемых, безупречных во всех отношениях делегатов.

Вместо десятерых желающих защитить Егора Суздалева оказалось более двухсот рабочих. Они в обеденный час широкими рядами пришли к чугунным литым воротам дома Акинфина.

Платон вышел, как всегда, уверенный, но бледный. Он вежливо поклонился и еще вежливее спросил:

— Чем я обязан, господа, такому многолюдному приходу?

В ответ на это гравер Виктор Пустовалов подал Платону «Поручительские листы» и сказал:

— Мы будем ждать вашего решения, Платон Лукич.

— Зачем же ждать, господа акционеры? — изумился Акинфин. — Зачем, когда все решено и я сам подписался на одном из этих листов? Вот на этом...

— И впрямь! — удивился Пустовалов. — Как же нам об этом не сказали?

Платон пожал плечами. Затем, увидев в рядах Егора Суздалева, подошел к нему, протянул руку и обрадовано сказал:

— Сняли, Егорша, твои поручители святой председательский грех с моей души. На это я и надеялся... Теперь ты пройдешь через проходную, в которой уже нет и не будет никаких сторожей. Нет худа без добра. Твое худо породило добро всеобщего, взаимного доверия имущества, принадлежащего всем акционерам и тебе... — Сказав так, он вручил Егору сторублевую акцию и добавил: — Это с меня штраф тебе за неумение прощать и маленькое легкомыслие...

Сторожа главной проходной перевели в подметальщики заводского двора. Проходная завода стала неохраняемой.

Дежурный табельщик открывал ее за полчаса до начала работы и закрывал до второй смены. Кому было нужно пройти на завод в рабочее время, ходили через табельную конторку.

Это новшество, это доверие сказалось на всех и каждом. Семьдесят три гвоздя незримо, но знакомо были вбиты в порог проходной, став семьюдесятью тремя так же незримыми, но знаемыми сторожами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Есть поговорки, которые неизменно приходят на ум. Одна из них — о бедах и несчастиях, обрушивающихся одно за другим.

Не успел Платон Лукич вырвать злополучные гвозди из своей памяти, как в него вонзил новый гвоздь Клавдий. Ожидавший от своего брата самого неожиданного, Платон не мог допустить того, что пришло в письме, запечатанном сургучом.

«Тонни, родной мой! Еще раз пощади меня! И спаси меня! Я виновен перед собой. Я искуплю свою вину. Речь идет о моей чести.

Я проиграл в карты мою наследственную доменку. Проиграл и дал слово выигравшему ее Топову Антону Денисовичу выкупить по оценке отца в наследственном завещании. Или дарственно передать ему.

Тонни, мой милый и родной брат, пойми меня и поверь мне — я больше никогда не прикаснусь к картам, но мне до этого так везло, а теперь счастье изменило мне. Я знаю, что тебе невозможно оторвать доменную печь от всего остального и тебе следует купить ее у меня. Отец, я думаю, не зависил цены на нее. И я выдал обязательство Топову Антону Денисовичу, заверенное пятью свидетельскими подписями тех, при ком я проиграл мою доменную печь.

Топов потребовал заверить мое обязательство нотариально, но я поклялся ему, что расчет с ним произойдет без огласки, которая может оказаться пятном на нашей фирме и на твоём ни в чем не повинном имени.

Прими, умоляю тебя, Топова и найди способ рассчитаться с ним, я согласен на вексель.

Не проклинай меня. Накажи, но не проклинай.

Всегда твой Клавдий».

Письмо пришло в день приезда Топова. Любезный, предупредительный и в мелочах, просто и элегантно одетый, он произвел на Платона впечатление человека, с которым он сумеет договориться.

Такому не будет нужна доменная печь, и, может быть, судя по его мягкости, чистоте голубых глаз, можно будет найти какие-то смягчающие обстоятельства и уплатить меньше проигранного. Ведь Клавдий, несомненно, был пьян, и это всякий порядочный игрок должен учесть.

С этого он и начал:

— Я знаю все, Антон Денисович, и не попрошу вас рассказывать, как это произошло. Но это произошло, и брат повинен уплатить проигранное. Но если вы разрешите, Антон Денисович, то я позволю себе заметить, что брат был не очень в себе за карточным столом. Разумеется, картам нет до этого дела. Коли пьян, так не играй.

— Нет, он был совершенно трезв, Платон Лукич. Это подтвердят все наблюдавшие игру, первая половина которой была невероятно благополучна для него. Многие вышли из игры, и у меня оставались последние три тысячи. Это подтверждает, что он был трезв.

— Я не смею не верить вам, Антон Денисович, но мой здравый смысл шепчет мне, что в здравом уме этого сделать было нельзя. Доменная печь нераздельна со всем принадлежащим к ней. И если бы я предложил вам взять ее, то вы получили бы голову без туловища. Ее невозможно продать отдельно, и, если вам угодно, я покажу ее, и вы увидите, что это часть единого организма. Ее никто не купит. И будь бы я недобросовестным человеком, я бы сказал: «Берите, она ваша». И вы бы не сумели ее взять.

— Я и не стремлюсь владеть ею, зная, что, усовершенствованная вами, она стоит дороже суммы, названной покойным Лукой Фомичом. Мне нужны выигранные мною деньги. Я же на них играл, но Клавдию Лукичу нечем было заплатить, и он поставил на кон доменную печь. Я согласился, тайно надеясь, что он отыграется, но карты отвернулись на этот раз от него.

Тот и другой помедлили, прикинули, какими будут дальнейшие переговоры. Платон первым прервал молчание:

— Значит, вы, Антон Денисович, ничего не хотите принять во внимание — ни запал азарта, ни болезненную приверженность к игре Клавдия Лукича? Ничего?

— Не знаю, право. Поверьте, я, как всякий выигравший, испытываю неудобство. Во всяком выигрыше есть что-то такое... какое-то отнимание денег... И, чтобы както смягчить это свое неудобство, я согласен взять меньше.

— На сколько?

— На десятую долю.

— Всего лишь на десятую? Это не достойно ни вас, ни меня.

— Помилуйте! Не половину же...

— Половина тоже, не кривя душой, состояние. И еще какое...

— Да, конечно. Для кого-то это состояние... Извольте, я согласен отдать на отыгрыш Клавдию Лукичу пятую долю... Но если вы, — сказал повышенным тоном Топов, — не оцените этого благородного жеста и вздумаете вести не очень приличный торг, то я потребую выигранное полностью.

Это возмутило Акинфина.

— Требуйте! Берите! Подавайте в суд! У вас же на руках гарантия, заверенная пятью свидетелями. Ее легко превратить в юридически приемлемый документ, и пусть проигравший предстанет ответчиком перед судом, если суд найдет возможным разбирать карточные долги.

Топов не ожидал такого поворота.

— Ну уж, и суд... Разве у меня нет короче путей?

— Нет. Самый короткий — это суд. Не пройдет полугодя, как вы получите свой выигрыш. Если суд примет к рассмотрению это дело... А потом у Клавдия. Лукича не окажется наличности и права подписывать векселя от имени фирмы. Оно им передано мне. И только я могу вам, если вы того пожелаете, выплатить треть проигранного. Если же...

— Вы опять угрожаете?

— Бог с вами! Я, как и вы, способен на благородные жесты...

— Треть? Даже не половина?

— Вот что, Антон Денисович, я и вы немножечко возбуждены. И вам, и мне нужно подумать. Кроме этого сегодня неприсутственный день, бухгалтерия на замке. Встретимся завтра...

Топову не хотелось переносить расчеты на другой день, но и боязно было насторожить Акинфина податливой торопливостью. Пришлось согласиться, попрощаться и уйти.

ГЛАВА ПЯТАЯ

До приезда в Шальву Топов не рассчитывал получить и пятой части выигрыша. Теперь он упрекал себя за неуступчивость. Ему нужно где-то провести ночь. В гостинице у него могли выкрасть обязательство. О нем знают уже два человека — Скуратов с пронзающими глазами и неприятной фамилией и Акинфин. Он деликатен и мягок. Но кто знает, что скрывается в нем под этой оболочкой. Домну из одного кармана в другой мог переложить любой появившийся в гостинице с пистолетом. Профессиональному шулеру Топову известны были и не такие смелые экспроприации. Поэтому он предпочел ночь провести без сна, где-то укрывшись в этом городишке, название которого так же звучало грабительски.

Предчувствия Антона Денисовича хотя и не были напрасными, все же, придумывая опасности, он не мог предусмотреть того, что не пришло бы в голову ни одному жителю Шальвы.

Топова еще утром встретил и узнал сидевший с ним в камере пермской тюрьмы Уланов.

Через Родиона Максимовича Ивану Лазаревичу стала известна цель приезда и фамилия Топова, выкликавшегося на вечерних поверках Поповым.

Двоякие чувства спорили в Уланове. Ему претило спасти доменку для Акинфина, но негодование, что домна может стать достоянием шулера, взяло верх. И он решил прежде разделаться с Топовым, затем решить вместе с Рождественским, как поступить дальше.

Весь этот день Иван Лазаревич старался не выпускать из поля зрения Топова, опасаясь попасться ему на глаза и оказаться узнанным.

По выходе Топова из дома Акинфина Иван Лазаревич оказался в непривычной

для него роли преследователя. Его надежды на успех подкрепились соучастником этой операции Савелием Рождественским. И он считал, что Акинфин Акинфиным, а завод заводом и забота о заводе — это забота о работающих на нем.

Уланов, наблюдая за слоняющимся по улицам Шальвы Топовым, решил пригласить его на Игрище. Савелий Рождественский подошел к Топову, читавшему афишу, обратился к нему:

— Прошу прощения за беспокойство, милостивый государь... Не знаете ли вы, как пройти к Игрищу? Там знаменитый ресторан и презабавная рулетка на русский манер. Меня дернула нечистая приехать в эту шалую дыру в воскресный день, и я не знаю, куда деться...

На Топова Рождественский произвел хорошее впечатление, тем более что, назвавшись агентом из Москвы, приехавшим сюда за товаром, он был при деньгах и был не прочь от скуки сыграть «по маленькой»...

Дорога на Игрище была найдена общими усилиями, а затем потеряна на полпути. Топов и Рождественский оказались в густом укромном соснячке, где их ждал Иван Лазаревич. Он сразу же приступил к делу:

— Здорово живем, Попов! Потолстел ты, а не изменился после пермской тюрьмы. Не пугайся только, в полицию сдавать тебя не будем... сами управимся. Садись!

Подкосившиеся ноги усадили Топова на лужайку до приглашения Уланова.

— Что вы хотите сделать со мной, господа?..

— Спаси, господин Попов, спаси от тюряги, — успокаивающе предупредил Уланов. — Первым делом мне, как граверу, хотелось бы убедиться, как чисто переделана фамилия Попов на Топов и нет ли изъяна в переправке письменной буквы «П» на письменную же «Т» с добавлением в нее средней палочки... Мне, как мастеру по этим делам, хотелось узнать, правильно ли я предположил это мошенничество.

— Правильно, — глухо ответил Топов.

— А все-таки покажите... Или не доверяете? Неужели вы думаете, что мы грабители, которые хотят отобрать ваши денежки? Если б хотели, так уж сделали бы это...

— Что же хотите вы, господа? — плачуще спросил Топов.

Ответил Рождественский:

— Хотим, чтобы ваш паспорт остался при вас, а наша домна при нас.

Топов заплакал, затрясся.

Процедура возвращения доменки была короче и проще, чем такая же операция при такой же ситуации с Гризель.

Далее Уланову хотелось знать, должен ли он отдавать Акинфину обязательство, полученное от шулера Топова.

— Должен, — твердо сказал Савелий. — Это наша домна, наша, как и все заводы, которые будут принадлежать нам! Домну от Клавки нужно отобрать.

В тот же день вечером Иван Лазаревич Уланов отправился к Акинфину. Нужно было найти короткие слова.

Иван Лазаревич нашел эти слова:

— Не допытывайтесь, пожалуйста, господин Акинфин, как я сквитался с вами за вызволение меня из пермской тюрьмы.

Уланов положил на белый столик с вычурными кривыми ножками обязательство Клавдия.

— Что это, Иван Лазаревич? — подчеркнуто назвал Платон Уланова по имени и

отчеству.

Уланов в ответ так же подчеркнуто назвал Платона по фамилии:

— Это ваша, господин Акинфин, родовая доменка и расписка в оплате за нее полностью.

— Как это вам удалось, Иван Лазаревич?

— Я просил вас — не допытывайтесь.

— Теперь я ваш должник, Иван Лазаревич...

— Нет, мы квиты, господин Акинфин! Квиты-с!

Уланов ушел. Опять не уснуть до утра... Когда это кончится?

А чему, собственно говоря, кончатся? Все кончилось. Доменка спасена. Ее Флегонт вычеркнет из наследственного пая мота и пьяницы. Кажется, разумно будет теперь выплатить Клавдию акциями или наличными за все, что еще принадлежит ему, — и конец. Денег достаточно. На часовой завод хватит и останется на перекрой зингеровских машин...

Платон хотел пригласить сонатиной Строганова, а он спустился из своего крыла без музыкального вызова.

— Значит, есть какой-то телефон без проводов от одной головы к другой, — обрадовался Платон. — Как пусто стало в нашем громадном амбаре! Мать переувольняла батальон своих горничных, отдавшись богомольям и путешествиям по монастырям. Вы запершись... Агния не возвращается и не возвращается... Может быть, нам катнуть на недельку в Питер?

— Не тянет как-то туда. Мне здесь пишется... Теперь я опекун и отец миллионера. Вас не обижает, что нашего сына стали называть Тоником?

— Платонов, Платов, Платиков, Тоников, Тоничек, теперь в Шальве народилось больше, чем всяких других имен, вместе взятых. Родиков, Родичек и Родионов тоже порядочно. Никодим уже отказывается крестить этими именами... Так что бы вы думали?

— Не знаю, что и подумать...

— Ездят крестить в другие приходы.

— Какая популярность имен!

— Вы все иронизируете, Веничек. Не надо терять чувство юмора...

— Да какой уж там юмор, когда в шальвинской гармонии все чаще и чаще диссонансы нарушают ее...

— Вы об Уланове, Веничек?

— Не только.

— О ком же?

— О многих и многом. Родион из поездки за границу вернулся каким-то не таким... Не тем.

— Наверно, устал Родик. Это мы выясним. А теперь попросим Лушу дать чай вместе с его привычным рижским спутником...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Из последней поездки за границу Родион Максимович Скуратов в самом деле вернулся в подавленном состоянии. Заметив это, жена спросила его:

— Что-то не удалось там тебе, Родиоша?

— Не знаю, что и ответить тебе, Соня. Прежде я вооружался там, а теперь

происходит совсем по-другому...

— Что же по-другому-то? Наверно, измучился?

— Да нет, Сонечка. Я как-то перестаю верить в то, что мы делаем... Вернее, не в то, что делаем, а как это делается! Там тоже, Соня, пытаются сгладить, уравновесить жизнь... Но, понимаешь, как-то без вывертов.

Софья Васильевна пересела к мужу на кровать, где он, рано раздевшись, хотел полежать, пораздумать перед сном.

— Без каких, Родиоша, вывертов?

— Без овчаровских и... И без всяких других. Нам есть чему поучиться у них. Но есть чему поучиться им и у нас. Они беднее и богаче нас. У них нет той широты возможностей, которых мы не замечаем, а замечая, не обращаем на них внимания. Из одной и той же доски или слитка меди они делают и получают больше. Там нет щепок и стружек. Им приходится ловчиться и все пускать в дело. Нас же изнахратили наши богатства. Они обедняют нас.

Софья Васильевна, напрягаясь, вслушивалась в каждое слово мужа.

— Ты, Родиоша, как-то очень непонятно...

— Потому что я и сам понимаю не все. Чувствую, что у нас что-то не то, а оценить и понять во всей широте не могу, Соня... У нас как-то все на особицу и случайно. То вдруг нас начинают кормить и одевать золотые подковы, то «составные» дома... Я понимаю — это разбег... Но куда и во что разбег? Ну, будет, допустим, у нас часовой завод, завод швейных машин... Но ведь часы и швейные машины те же крестики, те же потаковские колокольчики, которые звонко и далеко звенят, но о чем они звенят, кому и что названивают?

— Деньги, очевидно, Родиоша. Ведь ты всегда хотел, чтобы в фирме больше было денег.

— Я и сейчас хочу, но не знаю — зачем? Для часов? А что изменят они? Что будут показывать их стрелки? Ход времени... Отсчет годам... А куда, Сонечка, идет это время, куда бегут годы?.. А каким оно будет, Сонечка? Свободной акционерной империей свободных фирм? Так называет ее Платон, такой он видит Россию после свержения царя. А кто будут главными ее акционерами? Может быть, ты или я? Или Иван Уланов? Сережка Миронов? Витька Пустовалов? Художник Сверчков?.. Нет!

— А кто же, Родион?

— Думаю, что те, кто помогают народу свергнуть царя, чтобы после свержения в своих фирмах оседлать народ.

— Родион, ты повторяешь сказанное Савелием.

— Савелием ли только, Соня? Есть покрупнее люди. Есть! О них известно и Платону, но в их силу он не верит.

— А ты веришь, Родиоша?

— Не знаю, Соня... Я только думаю, это умный Платон все чаще и чаще походит на тетерева. Поет и, упиваясь своей песней, не слышит, что делается в мире. Иной раз мне, Сонюша, кажется, что Плат перевлюблен в себя, в свои уравновешивания и во многое другое. Он говорит, что капитализм выдуманное слово... Говорит, что называемое этим неудобным словом есть единственно возможный образ жизни, при котором человечество успешно развивалось в прямой зависимости от производства. В этом есть что-то правильное, но, Сонечка, я видел капитализм своими глазами. В Англии, в Германии, во Франции. Капитализм с живыми капиталистами, с которыми я встречался, пил, ел, разговаривал. Которым я платил, у которых я покупал и среди

которых при моей внешности, при деньгах, которыми я мог распорядиться, они меня тоже называли капиталистом и ничего не скрывали от меня...

Софья Васильевна сказала:

— Это очень интересно.

— Это страшно, Соня. Их откровенность была похожа на заговор воров, вербующих меня в свою шайку. Они не скрывая говорят, что лучшим во властвовании является усыпление тех, кем ты повелеваешь. И разъясняли, как это делается. Называли удобные квартиры для рабочих, широкую продажу доступной им одежды, очарование их профессиональными союзами, вежливым обращением с ними... Сонечка, мне было не по себе. Они говорили о своем, а за их словами вставала Шальва, ее улицы с новыми «составными» домами... номерные овчаровские магазины, цеховые столовые, наша больница и даже «Веселый лужок».

— А он-то почему? — спросила Софья Васильевна.

— Потому же... Там тоже есть свои «Веселые лужки», и какие! Они не усыпляют, а опьяняют и очень трезвых людей. Я за несколько вечеров в таких «лужках» прослушал лекции господ в черных цилиндрах о том, как важно не забывать древнее наставление: «Разделяй и властвуй», как важно, пропуская через сепаратор хитроумия своих рабочих, разделять их на сливки и обезжиренное молоко. Разделенные, они не будут едины в своей борьбе, в своих интересах... И, Сонечка, милая Соняша, перед моими глазами предстала наша фабричная знать с ее убогим благополучием, с ее акциями, накоплениями в Кассе и размежеванием с «обезжиренным молоком»... Это страшно, Соня! Будто и меня там пропустили через сепаратор и я вышел из него двумя Родионами. Один отрицает начисто капиталистическое право владеть и управлять заводами, рудниками, землей и вместе с ними — работающими на них, считая это подлым захватом и прямым грабежом. Другой Родион, споря с первым, находит капитализм вынужденно прогрессивным распорядком жизни, совершенствующим ее. Стыдно сказать, но пока единственно возможным, хотя и жестоким, общественным устройством. А все остальное... Все остальное, Соняша, пока пусть высокие, благородные, даже святые, но недовыкристаллизовавшиеся сверкающие самоцветы, теоретические мечтания. Трудно жить, Сонюра, двумя человеками в одном теле. Это не жизнь, а двоедушная гнусь!

— Что делать, Родион!. — сочувственно и утешающе сказала Софья Васильевна. — Тебя ли одного заставляет двоиться жизнь?

— Это, Софья, не оправдание. Некоторые и с тремя душами в себе живут и благоденствуют...

— Платон?

— У него их, может быть, больше или нет ни одной...

— Какая-то, да есть... И тоже, наверно, недовыкристаллизовавшаяся. Или, скажем, недовыпеченная...

— Нет, Соня, Платон на редкость хитроумно выпеченный слоеный пирожок, с луком, с перцем, с медовым сердцем. С приглядным румянцем, заманным гляncем. Чертознаева, колдовская, обольстительная постряпенечка...

— Это который из двух Родионов в тебе говорит? — пытливо спросила Софья Васильевна.

— На этот раз оба в один голос, — горько улыбнулся Скуратов и решительно погасил свет. — Половина второго. Пора спать, Соняша. — Закрыв глаза, он завершил свою мысль: — И все же на свете нет таких пирогов, которые не распробываются, как

и нет орехов, которые не раскусываются...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Очередным связным на этот раз была нарядная дама в широкополой шляпе. Рождественский встретился с ней на выставке художественного литья. Восхищаясь изделиями, она передала Савелию письмо.

Всякий, прочитавший это письмо, не понял бы, о чем оно. Для Рождественского теперь стало ясно, что Адриан его поддерживает в дальнейшем развенчивании Акинфина и одобряет прямой разговор при встрече с ним.

Савелий еще тверже поверил, что он сумеет и заставит поколебаться самонадеянного Платона в незыблемости своих идей. Коли Уланов, а затем история с гвоздями и требования комитета металлистов приоткрывали Акинфину глаза, то Савелий достигнет большего.

Достигнет именно он. Во всех случаях Акинфин не захочет потерять Савелия, а вместе с ним аховые прибыли ювелирного литья.

Убежденный в этом, Рождественский пришел к Платону в воскресенье и запросто сказал:

— Здравствуй, Плат. Сегодня у тебя пустой день...

— И ты его решил заполнить? Опять пришел о ком-то проявлять заботу?

— О тебе на этот раз. Ты же выслушивал себенаумейного Ивана Балакирева, послушай и меня. Разве плохо будет знать, что думает о тебе твой закадычный враг Савка Рождественский?

— Это уже интересно... Раздевайся и проходи.

Платон провел Савелия в маленькую, знакомую ему приемную и усадил за низенький столик с выгибными ножками.

— Давай позакадычничаем на полный пар. С чего начнешь, властитель крамольных дум?

— С чего прикажешь, великий усмиритель классовых противоречий, — ответил Рождественский в том же полушутливом, полусерьезном тоне. — Начну, пожалуй, с Кассы. Касса, Плат, для тебя большущая находка и еще большая потеря.

— В чем же потеря, Саваоф?

— Она показывает то, что для всякого хищного святоши разумнее скрывать.

— Что именно, Савелий?

— Когти!.. Не обижайся, Плат, ведь ты же сам просил меня «на полный пар».

— В таких случаях не обижаются, а просто не обращают внимания. — При этих словах Платон махнул рукой и подтвердил свой жест словами: — Отмахиваются — и все.

— В этом, Плат, у тебя большая сила воли. Ей не позавидует только осел. Ты мудро отмахнулся от комитета металлистов. Ты отмахнешься тем паче от сказанного мною.

— Не только отмахнусь, а просто не замечу.

Савелий закурил. Взвесил ответ.

— Такая возможность, Плат, у тебя пока имеется. Можно многого не замечать и отмахнуться. Скажем, идет снежок. Какое дело тебе до него! Идет, и пусть идет. А снег все гуще, гуще и дружнее, постепенно переходит в метель. Тоже можно отмахнуться и от нее, сидючи в хорошей кошеве. А метель все злее и злее, переходит в

буран. Буран — в снежную бурю. Ты тоже можешь отмахнуться от бурана, но отмахнется ли он от тебя, Платон Лукич Акинфин? Отмахнется ли буран? Не заметет ли он тебя по самую макушку?

Платон испытующе посмотрел в смеющиеся глаза Савелия.

— Я догадываюсь, кто твой суфлер! Он хочет поколебать меня. Зря! Я не из трусливых...

— Так ты только говоришь, Плат, а дела твои совсем другое говорят.

— Например?

— Примеров много. Возьму, что мне на ум приходит. Уланова ты струсил... Вспомни ваш разговор после больницы. Вспомни семьдесят три гвоздя. Вспомни, как ты выкручивался тогда... Вспомни твой оборонительный и оболстительный приказ перед «большим бураном», которого ты начал бояться чуть ли не за год. Разве не боязнь, не трусость породили все твои «равновесия», «умиротворения»? Неужели это все только от широты твоей души, а не для сохранения своих заводов? Ответь, если ты смел, «на полный пар»!

Акинфин, не возвышая голоса, с достоинством сказал:

— Обычно я не отвечаю тем, кто мелко плавает и крупно пустомелет. Тебе отвечу. Мы же с тобой играли в бабки. Я никогда и ни от кого своих суждений не скрывал. Революцию в России, как и в любой другой стране, можно предотвратить только теми способами, которые внедряю я. Если этого промышленники не поймут и не применят, тогда это их заставят сделать повстанцы и бунтари оружием и силой.

— Заставят и оставят княжить и править?

— Нет, почему же... Может быть, кого-то сожгут или утопят, но кого-то, а не всех.

Савелия это развеселило.

— Сильно, Плат, и очень густо задымил твои мозги твой Юджин Фолстер.

— А ты откуда знаешь это имя? От суфлера?

— Приходится, Платон Лукич, узнавать не только это, но и многое другое. Иначе как поймешь, что, откуда и по какой причине? Значит, по-твоему выходит, что революция, возможность которой ты не отвергаешь, всего лишь перепричесет капитализм, уравновесит его и сохранит?

— Какой же вывод отсюда, Саваоф?

— Их два. Первый — молчать и соглашаться с этим удельно-весовым неравноправием тысяч рабочих с одним тобой...

— А второй?

— Сперва до точки выясним о первом. Что значит и как надо понимать твой вес и каждого из тысяч уравновешенных с тобой?

— Как?

— Неужели ты, Платон, не понимаешь, что все принадлежит тебе? Заводы, станки, земли, миллионы, власть и право распорядиться всем этим, как ты пожелаешь... А что у нас? Ты, Плат, знаешь, что у нас!

— Разве вы не лучше стали жить, Савелий?

— Лучше. И даже хорошо. Но это ведь, Платон Лукич, сиюминутно. Ты можешь каждого из нас прогнать, а то и продать.

— Продать, Савелий?

— Ты не ослышался, Платон. Заводы принадлежат тебе. И если ты их вздумаешь продать, то проданными окажемся и мы.

— Я этого не собираюсь делать.

— Не собираешься, но можешь. Имеешь право. Ты лее собственник. Заводчик. Ты князь и царь и бог своих заводов. Это и без «суфлера» знают все.

— Называй кем хочешь. Не я установил этот закон, этот порядок. Не я, Савелий! Пойми меня.

— Я понимаю тебя, Платон Лукич Акинфин, но и ты пойми... Такой закон можно опять же без «суфлера» перезаконить и переупорядочить порядок.

— Как?

— Изволь. Не буду подбирать неуязвимые и неподсудные слова. Скажу без выкрутасов.

— Скажи без них.

— Тогда слушай и запомни. Запомни твердо. Твое трескучее капиталистическое «равновесие» заменит равноправие соединения всех! Всех, кому будет принадлежать все. Всех, кто законно будет получать только то, что он заработал своим трудом, своим умом.

— Мне жаль тебя, Савелий, и твоего подсказчика.

— А мне тебя, Платон...

Далее разговаривать было уже не о чем, к тому же пришел Вениамин Викторович Строганов.

— Ну вот, — не выдавая своего волнения, обрадовался Платон, — теперь есть у нас основания попросить накрыть нам стол и поговорить, какие новые художества затекает наш первоклассный артист Саваоф.

— Зачем об этом говорить? — отозвался Савелий. — Я лучше покажу наши новые пробные отливки. Вот они...

Савелий вынул из кармана и принялся показывать малюсеньких слоников, которые, как он сказал, принесут счастье не только тем, кто их приобретет, но и еще счастливей скажутся на прибылях.

Полюбовавшись слониками, похвалив их, Платон пригласил к столу и...

И как будто до этого ничего не произошло. Как будто и на этот раз юмор не изменил Платону Лукичу. Он шутил, рассказывал английские анекдоты. Он произнес здравицу за дружбу, которая не тонет и не горит. Он даже сыграл и спел песенку из далеких детских лет. Потом же, после ухода Савелия, сославшись на головную боль, Платон заперся в спальне...

Акинфин был мрачен и на другой день, и на третий.

А через неделю в Шальве стало известно об аресте Рождественского и еще девятерых, взятых вместе с ним на кладбище, где происходило сборище. Все они были заключены в пермскую тюрьму.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Долгом престижа и репутации среди рабочих Платон Лукич посчитал необходимой встречу с Рождественским в тюрьме. Савелий должен знать, что Платон не был причиной его ареста.

Думая об этом, Акинфин надеялся на большее. Новый губернатор стал ближе старого. В недавний день его именин Платон Лукич предусмотрительно, на всякий случай, вручил его превосходительству увесистый пакет акций «Равновесия» как законный гонорар за подсказку изготовления золотых подков...

Для крупного заводчика всегда полезно заполучить слугой высокое сановное лицо.

Акинфин послал нарочного к губернатору с письмом за пятью сургучными печатями. Кратко изложив суть дела об аресте нужнейшего и драгоценнейшего мастера Савелия Рождественского, Платон просил аудиенции.

До возвращения нарочного пришла обнадеживающая телеграмма: «Жду с лучшими надеждами на исход дела».

«Лучшие надежды» сказались сразу же, после обмена приветствиями Платона Лукича и губернатора в его роскошном кабинете.

— Любезнейший Платон Лукич, ваш Рождественский дубина, — объявил губернатор. — Преступления вашего обалдуя, как мне доложили, а равно и остальных ослов не столь велики, да их, пожалуй, и нет. Эти олухи, продолжая тяжбу с вашей странноватой Кассой взаимного кредита, вместо того чтобы собраться и решить свои дела открыто, собрались на кладбище. И это не могло не ввести в заблуждение полицию, арестовавшую их.

— Чего же они хотели, ваше превосходительство? — подчеркнуто наипокорнейше спросил Платон Лукич.

— Они не без оснований требовали закрыть «Веселый лужок», называя его публичным домом, каким он, извините, и есть на самом деле, притом безрегистрационным. Политических речей они не произносили, не угрожали империи. Следствие не нашло возможным наказывать их за междоусобицу двух легальных организаций.

— Их освободили, ваше превосходительство?

— Да, кроме Рождественского. Я попросил его задержать до вашего приезда, чтобы он знал, кому обязан своим освобождением.

— Это очень мило и любезно, ваше превосходительство. И так быстро...

— У нас, Платон Лукич, перенаселены камеры. Не хватает мест и заслуживающим их. Кто-то переусердствовал в предвидении наград и повышений... Нужно было там же, на кладбище, произвести памятную экзекуцию, а затем повторить ее публично... По этому поводу уже сделаны замечания и произведены понижения по службе. В наш век гуманизма мы не можем полнить места заключения и производить ложное впечатление в цивилизованных государствах в этот юбилейный год царствующего дома.

— Что же, ваше превосходительство, грозит остальным?

— Их, полагаю я, следовало бы, чтобы не притуплять рачительность полиции, куда-то выслать на поселение. Но едва ли такими мерами следует лишний раз омрачать благословеннейшее празднование блистательного трехсотлетия хранимого богом царствующего великого дома Романовых...

Губернатор обратил взгляд к ростовому портрету царя, смахнул предполагаемую слезу умиления и маленьким серебряным колокольчиком вызвал чиновника.

— Прошу сделать все необходимое и сопроводить в моем экипаже господина Акинфина Платона Лукича в губернскую тюрьму для встречи. Платон Лукич скажет, кого он желает облагодетельствовать своею великодушной встречей...

Затем губернатор, любезнейше подав руку, звякнул шпорами и сказал:

— А если он вам, этот самый Рождественский, нужен, можете взять его и потом для проформы написать мне ходатайство о помиловании.

Пропуская строки проезда Акинфина по знакомым улицам города в

губернаторском экипаже, перейдем к встрече в камере, освобожденной от сидевших вместе с Рождественским, послушаем, как встретил он пришедшего за ним.

— Хочешь снова показать свое милосердие, господин спаситель?

— Прежде здравствуй... Как хочешь, можешь не подавать мне руки. Это твое право... И я пожалуй, не обвиню тебя... В твою большую голову может прийти всякое. И я щажу твои заблуждения... Что же касается моего милосердия, то ты не нуждаешься в нем...

— Зато ты нуждаешься во мне.

— Тоже нет. Без тебя твои ученики подтверждают, каким добросовестным был их учитель.

— И все же ты выкупил твою тонколитейную машину, чтобы привинтить ее на прежнее место.

— Ты повторяешь слова Уланова...

Стук в дверь прервал разговор. Человек в мундире внес два креслица, обитых плюшем, сказав: «Господа, вам так удобнее будет разговаривать», — удалился.

— Садись, Савелий, — предложил Акинфин.

— Насажусь еще... Да и мне лучше разговаривать стоя.

— Как хочешь. — Платон сел. — Савелий, ты боролся против нашей Кассы. Это, оказывается, не так опасно.

— Я борюсь против капиталистов.

— Но я, кажется не самый страшный из них. И не самый горький...

— Ты не страшен и не горек. Ты сладок и ядовит. Трудно представить, какой вред ты наносишь рабочим своими заботами о них. Ты убаюкиваешь своими благодеяниями самое главное в рабочем — его сознание. Сознание хозяина всего созданного им... Ты называешь революцию чем-то вроде болезни, а не выздоровлением от произвола и внушенного такими, как ты, позолоченного самокабаления.

— Говори, говори, Савелий. Мне полезно знать суждение Молоканова о своих пороках и достоинствах.

— Так знай. Ты выдернул из наших рядов самых даровитых, самых умных. Ты обогатил, и отравил их, и сделал своей опорой, поставив над нами. Тебя и враждебные капитализму называют лучшим из зол. Я так не назову. Ты опасен своей лучшестью. Эта забота, тысячу раз повторяю я, и за мной рано или поздно повторят тысячи рабочих, есть забота о машинах.

— Плохо ты думаешь вместе с Улановым о Кассе. О вашей кровной рабочей организации.

— Рабочей? Посмотри мне в глаза и повтори.

— Изволь, я смотрю и повторяю...

Глаза Платона были чисты. Чисты и правдивы, как у маленького сына Рождественского.

— Колдун ты или самозавороженный дурак? Касса тоже пряник! Гора пряников. А Овчаров... Я не знаю, как и назвать его. Он от души хотел лучшего и сделал много хорошего. Но все же Овчаров выпекал для тебя одурманивающие пряники. Он фанатичен. Религиозен.

— Его никто не видел в церкви.

— И незачем там ему быть. Никодим отвадил не одного его своими проповедями. Одна старуха из верующих сказала, что этот Сашка Овчаров тайный немоляй без икон.

И его храм — это Касса. А что такое Касса? Видимость из спичечных коробок. Дунет не тот ветер — и рассыплется. Выдерни из-под Кассы Овчарова — и нет ее. Изменись твои дела — и конец страховым процентам. Нужно всеобщее, обязательное, узаконенное страхование. Я за весь рабочий класс, не по частям, а в целом. Нужен большой, настоящий ветер, чтобы он сдул соглашателей Овчаровых, а вместе с ними и тех, с кем вошли они в предательское согласие...

Платону Лукичу ничего не оставалось, как встать и, не простившись, уйти, затем побывать у губернатора и сказать ему, что этот арестант не нужен его заводам, что ему полезнее быть подальше от всех слоев общества.

Платон поднялся, подошел к двери, толкнул ее и остановился на пороге. Остановившись, он повернулся к Рождественскому:

— Иди, Саваоф, и сметай! Я открываю тебе и Якову Самсоновичу двери и на мое сметение!

— Да-да, господин Акинфин, — услужливо подскочив, сказал тот же человек в мундире, — его превосходительство приказало по вашему соблаговолению вернуть господину Рождественскому его одежду... Принесите одежду Рождественского, — крикнул он, — и незамедлительно готовьте выпись на его убытие из тюрьмы!

Акинфин видел, как Савелий в изнеможении сел на креслице и в его глазах онемел испуг.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

По выходе из ворот тюрьмы Акинфин отказался от вызванного для него извозчика и отправился пешком. Ему нужно было выяснить, что заставило его изменить решение на пороге камеры.

Может быть, пожалел? Но за что жалеть человека, желающего ему гибели? Такой способен и выстрелить, как Зюзиков в цирке...

Может быть, он хотел сделать великодушный жест? Едва ли. Кто мог увидеть его и кто будет знать о нем? Да и чем, и в чьих глазах мог украсить этот жест после стольких добрых дел, которые он сделал?

Может быть, он все еще дорожил им как мастером? Что за чепуха! Зачем он ему, когда таких десятки, которые так же не нужны, как и это мелкое литье? Что дает оно по сравнению с остальным? Прошла пора, когда радовали замки.

Так что же? А не все ли равно что! Может быть, ему хотелось сделать приятное Родиону. Он как-то странно отмалчивается после возвращения из-за границы. Что-то скрывает и носит в себе. Неужели и он также усомнился в том, чем жил все эти годы и еще большее число лет готовился к ним? И если это так, то он остается совершенно один. Никто не разделяет с ним его подвига.

Может быть, поговорить с Родионом и спросить его в упор?

Нет, пусть он побудет с самим собой, что-то выяснит для себя, и лучшее, здоровое непременно победит в нем. Ведь не мальчишка же он на пятом десятке лет. Не отвернется же он от самого себя.

Желая, чтобы Родион выяснил отношения с самим собой, этого же Акинфин пожелал и себе.

Свернув с главной Сибирской улицы на телеграф, Акинфин попросил вызвать на шальвинскую почту Скуратова.

Недолго ждал Платон Акинфин. И пермский, и шальвинский телеграфисты знали,

кто и кого вызывает и как благодарят за это вызывающие и вызываемые.

Быстро перестукивали телеграфные ключи переговорные фразы.

«Хозяйничай, Родион. Я чувствую себя уставшим. Хочу проехать к Цецилии. Как там у вас?»

«Все хорошо. Чердынцев делает новые чудеса. Желаю счастливого пути. Поклон Лучининым. Приобрел ли икону Саваофа?»

«Саваоф отправляется в шальвинский собор. Меня не удивляет твое религиозное рвение, Родион, но икона нуждается в капитальной реставрации, а возможна ли она, я сомневаюсь. Прощай. Телеграфируй ежедневно в Петербург. Точка, Родион, точка».

Телеграфист премного благодарствовал за полученное и принял новое поручение узнать, когда поезд на Петербург, и заказать билеты господину Акинфину Платону Лукичу.

Поезд будет через два часа. Билеты обеспечены. Теперь оставалось послать губернатору благодарственную телеграмму и отправиться на новый вокзал, там пообедать, а потом мчаться через русские северные города, в которые вслед за гвоздями, замками, подковами, а в скором времени часами и швейными машинами придет и его равновесие, — на страх врагам и царям, оно будет властвовать и утверждать его гармоническую монополию.

Так думал Платон о величии создаваемого и задумываемого им. Его теперь поражало и удивляло, как он мог снисходить до никчемной полемики и раздражаться черт знает чем.

Все это выглядело ничтожными мелочами, жалкой пылью. А...

А через два дня по приезде в Петербург, казалось бы, еще более ничтожные мелочи завлакивали его и лелеемое им куда более раздражительной, терзающе-въедливой пылью.

По приезде произошла неприятная встреча с большой афишей, на которой зазывными, выкрутасными, крупными оранжевыми буквами кричали два знобящих слова: «КЛАВДИЙ АКИНФИН» — и тут же он сам во фраке, с гитарой также вычурной формы.

В афише перечислялось, что он исполняет и кто принимает участие в его концертах на Островах.

Останавливать экипаж и читать афишу значило бы опять «снисходить». Пусть поет, пусть позорит фамилию отца, ее нет теперь на фирменном знаке, и тень Клавдия не падет на «Равновесие».

— Не придавайте этому значения, Платоша, — в первый же день приезда заботливо попросил его Лев Алексеевич Лучинин, — в столице случается и не такое. Что вам за дело до Клавдия Лукича! Он для вас не более чем однофамилец, а скоро не будет звучать и им. Проконцертит свои акции и перейдет в разряд фрачных босяков. Ему, я полагаю, дорого приходится приплачивать за каждый свой концерт и содержать труппу своих шарлатанов. Хрисанф Аггеевич говорит, что вашему однофамильцу нужно платить и за услуги по бесплатной раздаче большего числа билетов, чтобы не выступать перед пустующими креслами.

Платону Лукичу оставалось только подтверждающее кивать головой да вставлять два-три ничего не значащих слова, таких, как «да-да» или «ну, конечно» и «я так же думаю».

Наскучавшемуся Льву Алексеевичу хотелось выговориться, и он рассказывал, перескакивая с одного на другое.

Он, оказывается, и в самом деле продал уже все имения за исключением подмосковного.

— Пусть остается на всякий случай. Оно стоит сушие гроши, и управляющий им, агрономически образованный человек, подобно лесничему Чердынцеву, покрывает расходы приходами от посевов и скота. А вообще-то, Платошенька, — вдруг с грустью сказал Лучинин, — хорошо бы нам всем последние годы пожить в подмосковной.

— Почему же последние? — насторожился Платон. — ? У нас еще будет впереди много и очень много лет.

— Мало, Платоша, очень мало. Вы не читаете заграничных газет, а я читаю...

— И что же в них можно вычитать? Одни сплетни, да распри, да самопохвальное рекламирование своих товаров и своей цивилизации. Все они на один лад. Уж я-то теперь знаю, как делаются газеты. Все они те же «Шалые-Шальвы», только печатаются не время от времени, а ежедневно... У Веничка была какая-то правда, какие-то очерки из действительной жизни, а там отвлечение внимания от того, к чему следует привлекать его.

Лев Алексеевич, согласившись с этим, подсел поближе к Платону, распахнул свой утренний халат, будто желая показать этим, что он распахивает и свою душу.

— Платоша, сын мой, не порожденный мной, заграничные, да и всякие газеты следует читать вниз головой. Где напечатано «да», следует читать «нет». Где предсказывается нескончаемое долголетие дому Романовых, там следует видеть близкий его конец. И чем пышнее празднуется трехсотлетие этого дома, тем бесславнее будет его низвержение.

— Па, вы опасный революционер...

— Я добросовестный реалист-реалистоционер. Я был плохим губернатором. Губернатор не получился из меня. И слава богу, что не получился. Я бы оказался слугой заживо погребенного последнего Романова.

— Откуда, па, в вас такая убежденность? Кто начинил ею вас?

— Читайте, Платошенька, газеты вниз головой. Хрисанф Аггеевич читает их именно так.

Платон опять не обратил внимания на знакомое имя и отчество, потому что Лучинин, не останавливаясь, продолжал рекомендовать:

— Научитесь читать газетные строки, как я. Не только меж них, но и между букв, составляющих слова, вы почувствуете запах пороха. Вы и в рекламных объявлениях почувствуете, что мир становится тесен, что кому-то что-то некуда продавать, что географическую карту следует перечертить, что некоторые государства не прочь подвинуть наши западные границы пусть не за Москву, то под Москву...

— Кто вас питает, па, такими предположениями?

— Я пока еще, Платошенька, не нуждаюсь, чтобы меня кормили с ложечки. У меня своя голова и свой ум... Правда, я не чуждаюсь и чужих умов. Хрисанф Аггеевич очень наслышан и осведомлен.

Теперь Платон вспомнил это имя, и оно его обожгло.

— У вас бывает Гуцин? Вы знаете его?.. Как он попал к вам?

— У меня не закрытый дом. Он назвался вашим знакомым, Платоша. Я увидел в нем умного человека и стал принимать.

— А вы, папа, знаете, к каким кругам принадлежит этот Хрисанф Аггеевич?

— А за кого можно поручиться, что он не принадлежит к этим кругам?

Большинство скрывает такую принадлежность, а он — нет. Да и что мне за дело? Я же не собираюсь взрывать Зимний дворец. Да и зачем бы, когда там только тень Петра, а кроме этого ничего не было и ничего нет. Зачем же, для чего портить хорошую архитектуру дворца?

— Ах, па, вы добры, откровенны и наивны, играя с огнем.

— Этот «огонь» тоже побочный сын какого-то князя. Правда, его отец был победнее и, по правде говоря, очень беден. Он, как и Клавдий, пил, играл и был привержен к цыганкам. Поэтому сыну пришлось, так сказать, «губернаторствовать» не в очень уважаемой тайной олигархии, но ведь и там есть реалистоционеры, друг мой Платошенька...

Лев Алексеевич неистощимо обогащал Платона Лукича новыми сведениями и неопровержимыми, по его мнению, предвидениями. Центральным из них было предсказание войны.

— Кто нападет из них, я не знаю. И так ли уж важно, кто? Важнее другое. Война подорвет устои России. Она может оказаться лакомым пирогом. Может наступить второе иго. Не варварское, а цивилизованное. Оно страшнее и оскорбительнее. При нем не будут жечь города, а будут истреблять все русское, национальное и внедрять чужой капитализм...

— И вы, па, о капитализме!

— Не называть же его социализмом, Платоша, коли он капитализм. Вы не читаете новейших книг. Это плохо, как и плохо то, что вы хотя бы часть своих денег, хотя бы один-два миллиона, не перевели в один из самых надежных лондонских банков. У вас же сын... Положим, у него есть дед. Я все перевел и завещал на внука и дочь...

Неутешительные разговоры с Львом Алексеевичем продолжились еще более неутешительно с Хрисанфом Аггеевичем Гуциным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гущин предстал все тем же столичным салонным львом:

— Теперь я, Платон Лукич, не полуинкогнито, а ваш соакционер по «Равновесию».

— Очень приятно, Хрисанф Аггеевич, — огорчился Акинфин. — Теперь вы будете не рекомендовать, а приказывать мне, как я должен себя вести.

— Ну что вы, что вы, для этого у меня маловато акций, Платон Лукич, и у меня нет шулера Топова. Я бы уж как-нибудь упробил его выиграть для меня за новую его фамилию побольше акций у Клавдия Лукича, чем сумел это сделать я.

— Курите, курите, Хрисанф Аггеевич. Для вас припасен этот гаванский десерт, — сказал Платон Лукич, придвигая коробку с сигарами. — Значит, и на этот раз Клавдий обманывает меня? Он поклялся продавать акции только мне...

— Клятвы для него стоят меньше, чем сами акции, — он рассчитывается ими даже с извозчиками.

— На что же надеется он?

— На гитару и на купчиху. Она влюблена. И в гитару с загогулинками, и в него с бронзовыми кудряшками. Но, Платон Лукич, я уверен, что как только она узнает, что за наследственным завещанием Луки Фомича стоит нуль, то боюсь, что Клавдий Лукич может снова оказаться на вашем попечении, Платон Лукич.

— Никогда. Я отдал все. Я был добросовестен к нему. И он нотариально

подтвердил это в акте.

Раскурив душистую дорогую сигару, Гушин, пуская тоненькие струйки дыма, язвительно тонко заметил:

— Кроме актов есть акции. Есть и репутация. Достоинство фамилии. Когда его подберут валяющимся под столом трактира, то кто-то... может быть, из очень высоких сфер... попросит у вас милосердия к родному брату...

— О черт! — вскочил Платон и принялся быстро расхаживать по комнате. — Он отравит мне жизнь... Он уже отравляет ее.

— Он это делает и теперь, понося вас, где только можно, и даже с подмостков сцены распевая злую шуточную песенку:

Мой братец миллионы наживает,
А я трудом своим живу.
Он пот рабочий выжимает,
А я для вас пою, пою.

И что-то в этом роде, я не захотел запоминать этих подлых слов, Платон Лукич, и нашел способ запретить распевать эту песню, которая, сводя семейные счета, подогревает вредные страсти. Его оштрафовали, Платон Лукич, а он, уплатив штраф акциями, повторяет ее и снова платит штрафы, утверждая, что аплодисменты стоят этого. Ему аплодирует чернь.

Гушин, заметя, что его слова производят гнетущее впечатление на Акинфина, утешил его и тут же снова еще больше огорчил:

— Он скоро перестанет петь в столице, я уже позаботился о прекращении выступлений в Петербурге его шарлатанов. В этом отношении мне было легко, Платон Лукич, обезопасить вас. Труднее будет мне, если начнутся происки новых акционеров. Мне стало известно, что маклеры для каких-то неизвестных лиц скупают ваши акции, называя их беспроигрышными счастливыми билетами. Предлагали продать и мои, выигранные у Клавдия, но я попридержал.

— Пусть скупают, Хрисанф Аггеевич, это лишняя реклама для фирмы. Все не скупят. Не скупят и половины.

— Вам лучше знать, Платон Лукич, однако же достаточно и четверти акций, чтобы влиять на вас. Мне стало известно, что скупщики кинулись в Шальву. Там акции у каждого рабочего и у ваших врагов, вынужденно ставших вашими вассалами. Покупаются не только акции, но и люди.

На этот раз Платон сдержал свое волнение, проступившее знакомыми белыми пятнами на его лице. Он, собравшись, спросил настойчиво и властно:

— Что вы хотите добиться от меня, Хрисанф Аггеевич этими сочувственными припугиваниями?

— О мой бог! Как вы мнительны, Платон Лукич! Как и тогда, так и теперь мне ничего не может быть нужно от вас. И то, что вы называете припугиваниями, справедливее считать дружескими предупреждениями. Когда фирма была только вашей, только вы один могли распоряжаться всем. Теперь же вы ее захотели расширить, превратив в акционерное общество, получили вместе с новыми капиталами совладельцев, сохозяев. И каждый из них, в том числе и такой маленький совладелец и сохозяин, как я, может потребовать, чтобы расходов было меньше, а прибылей больше.

— К этому стремится всякий владеющий заводами, Хрисанф Аггеевич!

— Но не всякий одержим такой альтруистической благотворительностью, как вы, Платон Лукич...

— Это, повторяю и буду повторять, пока я существую, Хрисанф Аггеевич, не благотворительность, а тем более не альтруистическая, а минимальная осмысленная необходимость для обязательного...

— Равновесия, — досказал Гущин.

— Да!

— Вот оно-то и может не понравиться сохозяевам и может быть отвергнуто ими, Платон Лукич.

— Тогда неизбежны недовольства, волнения, и за ними возможен и крах!

— Так уж и крах, Платон Лукич... А если и крах? Им-то что? Что до этого вашим соакционерам? Им лишь бы взять, положить в карман, а там хоть извержение Везувия и гибель Помпеи! Я, дорогой Платон Лукич, предупреждал вас: живите вровень! Я предупреждал не только от моего имени: не нарушайте своим равновесием равновесия в мире акул. Оно служит дурным примером для их порабощения и наживы. Они, как стая черных ворон, заклюют, а потом сожрут вас. Я, да будет вам известно, не ворон. Я слуга хищников. Забудьте об этом. Не верьте мне! Но вспомните меня, когда начнут падать ваши акции и когда начнется оглушительное карканье... Ого! — посмотрел Гущин на часы. — Не циферблат, а ипподром, не стрелки, а сумасшедшие рысаки... Я не прощаюсь, Платон Лукич, договорим вечером.

Разбитым, раздосадованным увидела Цецилия Львовна Платона Лукича.

— Здоров ли ты, Тонни?

— Лия! Родная моя! Я никуда не могу уехать из Шальвы. Она преследует меня. Преследует и здесь, в Питере...

— Тонни, я только могу повторить сказанное. Уехать из своей треклятой Шальвы ты можешь, только уехав из России. Только, Тонни, только... И ты рано или поздно уедешь из нее. Это предсказываю не я, а сама жизнь. Сама жизнь, — повторила она, — которую ты выдумал наперекор здравому смыслу, опережая течение времени.

ЦИКЛ ДЕСЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вернувшись в Шалую-Шальву, Платон Лукич вернулся в себя. Здесь он дома. Здесь родное и свое. Голоса заводских гудков. Запахи. Уличные собаки. Столбы. Дым. Пруды. Люди. Через каждые два шага «здравствуйте». Разве они предадут и продадут свое «Равновесие» вместе с акциями? Они же повышаются и повышаются в цене.

Как трудно и длинно всегда бывает петербургское время. На этот раз оно, кажется, длилось годы.

Хорошо бы в лес. Хорошо бы вместе с Веничком пригласить на охоту Максима Ивановича Скуратова. Работает он теперь полдня, и ему будет приятно тряхнуть стариной.

Хорошо бы разбудить дремлющие старые хоромы. Придумать повод и дать бал. Бал для всех. Теперь никто не запретит ему пригласить всех своих сверстников, однокашников. Что из того, что бросил свой дом Савелий Рождественский? Ему

стыдно теперь жить в Шальве. И даже лучше, что его здесь нет. У него всегда бы оставался нож за пазухой. Его отъезд не очернил Платона, а возвысил. Все же знают, кто ему открыл двери из камеры.

Жаль и очень жаль первого на Урале и, может быть, первого в России гравера Ивана Уланова. На Монетном дворе будут ему меньше платить. И он вспомнит Шальву, вспомнит и свое спасение. Скопленных денег ему ненадолго хватит. И все же хорошо, что нет и его. Хотя призрак Молоканова и бродит по Шальве... И пусть бродит...

Привезенный американский «зингер» с плохим английским языком отлично знает свое дело. Он обещает обойти знаменитую зингеровскую патентную формулу и рекомендует воспользоваться новым способом его одностороннего шитья. Этого нельзя делать. Не всякое, даже гениальное, упрощение будет принято и правильно понято.

Американский зингеровец готов наладить автомобильное производство. Платон также готов, да не готово все остальное. Для этого нужны и годы и деньги. Они будут. Терпение и настойчивость помогут и на этот раз, но поможет ли Родион? Он не тот, совсем не тот.

Что с ним? Неужели все это время он что-то носил в себе и все еще носит? Может быть, не дожидаться и начать первому? Может быть, это необходимо, чтобы не дать застареть беспокоящему его?

Нельзя же допустить, чтобы произошло непоправимое. Не заразили же его Савка и Уланов своими идеями сметения всего — до таких, как Завалишин Кузьма, как вялочный паучок Иван Балакирев.

Странные идеи... А кто же заниматься будет этой суетливой работой? Не Улановы же? Как можно обойтись без мелкого жучка-паучка? В природе тоже есть и должно быть свое равновесие. Во всякой природе, и тем более в людской.

Но еще страннее, что сын князя Лучинина, аристократ, образованный человек, и этот ядовитый Мефистофель, имя которого кощунственно начинается с тех же букв, что и Христос, тоже пугают себя и других войной. Войной, которая кончится либо разрезанием лакомого пирога, либо перепечением его в новом, революционном виде.

Как поднаторели нынче все в фокуснической фразеологии! Призраки Молокановых всюду и везде.

А где взять пирожников для испечения в этом «новом, революционном виде» России? Она же не герцогство размером в заштатный уезд. Где печь с десяти тысячноверстным подом? Чем нагреть ее? Листовками? Речами таких, как Молоканов? Нет! Родион-инженер, Родион, самостоятельно управляющий столькими заводами, отлично понимает, какое решающее значение имеют ресурсы, запас мощности и другие компоненты, вплоть до уровня грамотности народонаселения. Таких, как бывший лесничий Пармин, ни в каком пироге не перепечешь в Чердынцева, в Скуратова, даже в «Зовут-зовутку» Микитова. Их считанные сотни, а нужны тысячи, десятки тысяч. И если Родион в самом деле заболел корью революции, то эту излечимую молокановскую болезнь нужно помочь ему преодолеть, не откладывая.

Не откладывая, Платон Лукич пригласил своего Родика к себе скоротать вечер за чашечкой кофе и разговором о закамском часовом заводе.

Родион пришел тем же и другим.

— Да что, право, Родик, я не знаю, как подступиться к тебе и расшевелить

тебя, — начал Платон. — Мы всегда были вместе. Больше — мы были друг в друге. Ты во мне, я в тебе... Что-то произошло?

— Да, Тонни, что-то происходит со мной... Ты уходишь из меня.

— Ухожу или уже ушел?

— Не знаю, Тонни, может быть, и ушел. Пожалуй, ушел, и во мне осталась только твоя тень. Или, лучше сказать, пустота. Такая же пустота, как в опоке, когда вынута из нее отливка, а формовочная земля все еще сохраняет отпечаток того, что было отлито в ней.

— Ты презираешь меня?

— Себя!

— За что?

— За то, что я был тобой. Это трудно объяснить и еще труднее найти хотя бы приближенно точные сравнения. Слова, как бы гибки и ковки ни были, они всегда остаются крупнозернистым чугуном по сравнению с мыслями и чувствами человека.

— Так же думаю и я, мне всегда недоставало точных слов, если их даже я брал из трех языков.

Платону хотелось перевести разговор на другое и дать осознать Родиону сказанное им, может быть, сгоряча и преувеличенно... Поэтому Платон снова стал говорить о заводах:

— Родион! Мы превратили с тобой старые заводы в изумительный промышленный бассейн. Бывавшие здесь, ты знаешь и сам, называют тебя опередившим многих предпринимателей просвещенного Запада. Разве это не верно?

— Может быть, и верно, но что из этого?

Платон положил руки на плечи Скуратова.

— Что угнетает тебя, Родионик?

Родион снял руки Платона.

— Мы заблуждались, Тонни. Я говорю «мы», потому что мы ошибались не порознь и я всегда был твоей тенью. Моей тенью бывал и ты. Реже, но бывал. Так случается. Отображенное в зеркале оказывает воздействие на того, кого оно отобразило. Видишь, как мало на свете слов и как ими трудно выразить происходящее внутри человека. Отраженное очень часто корректирует отражаемого. Не внешне, в смысле проверки, как сидит на тебе пиджак, гладко ли выбрито твое лицо, правильно ли повязан галстук. А в ином смысле: так ли думаешь ты, верны ли твои замыслы, не ошибочны ли твои мечты?

— Не клевети на себя. Твои слова очень точны. Может быть, не для всех, а только для нас с тобой. Да, мы поочередно были зеркальными отражениями.

— Были, но приоритет был твой. И он перестал быть им.

— Почему же, Родик?

— Я думаю, что изменилась поверхность зеркала.

— Она стала кривой? Или вогнутой? Или выпуклой?

— Нет, Тонни, мне кажется, она стала прямой. Пусть не стала еще такой, но стремится стать идеально прямой. И ты теперь отражаешься во мне тем, каким ты есть.

— Значит, я был не тем, каким хотел казаться? И сумел притвориться другим?

— Слово «притворялся» лучше заменить словом «самообманывался», а еще лучше — «самоочаровывался».

— Чем, Родион?

— Всем, что было в тебе, что ты излучал, чем обольщал, влюблял, подчинял и, кажется, обожествлял себя.

— Обожествлял? Ты что?

— Да, Тонни, не случайно же ты однажды, будто исповедуясь, признался мне и сказал: «Иногда я чувствую себя мыльным пузырем, а иногда мессией». Не случайно же им тебя назвал этот... о ком ты рассказывал.

— Гуцин, — напомнил Платон.

— Он! Исцеленный в больнице старик тоже называл тебя Христом и молился на тебя! Ты отринул его, но это подействовало на тебя.

— Кто же я, по-твоему? Прямо и честно.

— Ни то и ни другое. И — то и другое!

— Может быть, попросить кофе с коньяком?

— Для меня просто кофе. Он помогает думать, коньяк — «заумничать». А мне этого не нужно и особенно тебе, в твоём новом, кристальном качестве капиталиста без замутнения демократической игротней.

— Новое слово?

— Обновляться должны не только станки...

Луша принесла кофе и ушла. Кофе позволил сделать антракт и дать тому и другому взвесить и оценить, что произошло, и нужно ли дальше размежевываться. Может быть, разумно что-то сохранить, сохранив этим какие-то отношения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Скуратов, отказавшись от коньяка, налил его в кофе, залпом выпил и объяснил:

— Для храбрости! — И продолжил: — Мы жили в иллюзиях и утопиях, что почти равнозначно, но не идентично. Иллюзия ближе к сну наяву, утопия — не сон, а сознание, убеждение, вера и даже больше. Твоей, а потом и моей утопией была теория «гармонического равновесия взаимностей». И иллюзией было ее реально зримое осуществление.

— Ты повторяешь слова Савки-Саваофа.

— Не только его, Тонни, но и многих. Шальва не так нема, не столь глуха. Савелиев и Улановых теперь не единицы и не десятки, а... Впрочем, я не вел им счет.

— Тогда это очень печально. Но ты-то как мог оказаться их единомышленником, Родик?

— Я не утаю ничего. Ясность и правда нам теперь необходима как никогда. Для этого мы должны вернуться к истоку и хотя бы конспективно пройтись по прожитому. Это хорошо известное, может быть, тебе покажется утомительным, но без этого нельзя понять, почему мы стали антиподами. Вернемся в наше детство.

— Вернемся.

— Люди не рождаются с наследственными убеждениями. Они приобретают их после рождения. Твой отец, как мы с тобой узнали об этом позднее, хотел для тебя гувернера, который бы привил тебе все необходимое, чтобы ты стал достойным наследником и продолжателем отца. Инженер Макфильд не пошел бы в гувернеры и не поселился бы в шальвинской глухомани. Но он нигде, ни в одной стране, не получил бы больше, чем ему предложил Лука Фомич. Макфильд, вернувшись, мог построить фабрику и осуществить свою мечту, применить изобретенные им станки по изготовлению крохотных гвоздей. И он стал твоим и отчасти моим воспитателем. Мы

быстро усвоили английский язык, а он недурно болтал по-русски. Нам уже можно было рассказывать поучительные сказки, притчи, истории... Изю всех мне больше запомнилась история о сачке. Запомнил и ты ее.

— На всю жизнь. Она изумительна своей наглядной простотой.

— И своим растлением детской души. Вспомним ее. Это не будет лишним. Повторение — мать учения. Мы тогда гуляли по берегу нашего пруда. Нам нужно было наловить сачком маленьких рыбок для аквариума, и сачок неожиданно послужил зерном того, что потом так пышно расцвело. Мы тогда не могли поймать ни одной рыбки. Для этого нужно было разуваться. И кто-то из шальвинских ребят вызвался наловить твоим сачком рыбок. И ему, зашедшему по пояс в воду, это удалось. Когда рыбки оказались в нашем маленьком ведре, ты сказал мальчугану «спасибо». Макфильд сказал, что это недостаточная благодарность. Он сказал, что ты должен отдать часть пойманных рыбок. Ты спросил: «За что?» Макфильд ответил: «За его работу, за его труд».

— У тебя феноменальная память, Родик.

— Да, Тонни, с моей памятью что-то случилось после того, как произошел сдвиг в моих мозгах. Но не будем останавливаться и вспомним, что было сказано о сачке. Макфильд сказал, что все должно быть справедливым. И по справедливости какую-то часть рыбок ты должен отдать мальчику, поймавшему их. Ты был дотошен и поэтому спросил, почему же ты должен отдать только какую-то часть, а не всех рыбок, он же их поймал всех. Тогда Макфильд сказал самое важное. Он сказал: «Но, Тонни, сачок-то ведь твой, и он поймал рыбок твоим сачком, и не будь у тебя сачка, мальчик ничего бы не поймал». Так сказал?

— Так, Родион. Я даже слышу тембр голоса Макфильда.

— А я — не только тембр, а гораздо больше. Дома он, дав усвоить сказанное, продолжил о сачке. И начал опять о справедливости. И притом, прошу заметить, взаимной справедливости. А она состояла в том, что по справедливости ты имеешь право брать опять же справедливую часть пойманной рыбы за твой сачок и немножко больше. Тогда и ты, и я спросили: почему же немножко больше, справедливо ли это? Макфильд назвал это справедливым. Справедливым потому, что сачок, которым ловят рыбу, портится, изнашивается, его необходимо чинить, а затем, когда не будет пригоден для ловли, придется купить новый сачок... Я не прибавляю ничего, говоря об этом сачке?

— Нет.

— Не придумываю я и то, что Макфильд, несколько раз возвращаясь к сачку, сказал тебе, что чем больше у богатых мальчиков будет сачков, тем больше рыбы поймают бедные мальчики и тем богаче будут мальчики, у которых много сачков. Потому что рыба может продаваться на деньги, а за деньги можно купить все... Далее Макфильд неназойливо, деликатно рассказывал, что такое деньги и почему к ним нужно относиться бережно и разумно. Но это уже другой рассказ, новый этап формирования в маленьком Тонике мышления крупного капиталиста, каким он и стал... Что ты скажешь на это, миллионер Платон Лукич Акинфин, владеющий десятками первоклассных сачков, оборудованных новейшими станками, при помощи которых рабочие мальчики, ставшие взрослыми рабочими, мастерами и управляющими, что в общем-то одно и то же, стали производить большие уловы, очарованные своей темнотой? Ура! Я, кажется, нашел краткое определение для всех: очарование темноты!

Платон помрачнел. Подпер голову рукой. Уронил блюдечко.

— Я что-то недопонимаю, Родион Максимович.

— Что же тут непонятного? Все как в руководстве к дисковым замкам. Очарование темноты — это очарование темных людей. А такая очарованная темнота страшнее слепоты. Слепой не видит, но понимает. Ослепленный очарованием видит, но не понимает.

— Так ты, что ли, был темен, Родион?

— И я. И, как ни странно покажется тебе, и — ты. Ты главный очарователь, отраженно зачарованный и сам. И поверивший этому отраженному от тебя очарованию, что ты открыл... А ты ничего не открыл. Ты только подменил кнут. Его подменили, положим, до нас, а мы усовершенствовали его. Мы сделали его самобьющим кнутом. Бьющим не извне, не по спине, а изнутри. Рабочий как бы проглотил наш сладкий кнут.

— Что-то ты заговариваешься, Родиоша.

— Нет, я не заговариваюсь, а плохо выражаю свои мысли. Всякая идея может быть и крыльями, и костылями, и камнем на шее. Почему же ей не быть кнутом? Кнутом, неустанно подстегивающим труженика, то пугая его, то обнадеживая... Мы создали обольстительное самопорабощение труженика, работающего до изнеможения. Это чем-то напоминает овчаровское лото. Каждый может честно выиграть, а Касса выигрывает всегда. Десятую долю. Наше же лото было беспроигрышно. Одни больше, другие меньше, но выигрывали все, а мы или, скажу прямее, ты выигрываешь всегда. И выигрываешь не десятую долю. И не пятую. Я не склонен винить тебя. Ты поступал, как поступает всякий капиталист, хотя, скажу так же прямо, поступал честнее. Меньше брал, зато чаще. Процент с миллиона рублей больше пятидесяти процентов с десяти рублей. Ты был, Платон, и остался капиталистом. А я был мальчиком при тебе и остался им...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они долго разговаривали в тот вечер, не ссорясь и не мирясь, возвращаясь к сказанному и повторяя его в новых словах. Платон понял, что ничего нельзя изменить в их отношениях. Искусственно невозможно верить, любить, надеяться. Пришлось понять и признать, что они ушли друг из друга. Два заветных словечка — «молочные братики», венчавшие их, теперь звучали оскорбительно слащаво для того и другого. Призрак Молоканова не только бродит по Шальве, но и действует...

Уйдя друг из друга, они не могли уйти из фирмы. Для Акинфина это означало бы уйти из себя. Для Скуратова такой уход стал бы изменой тем тысячам людей, нераздельной частицей которых он был, а теперь стал ею еще безраздельнее.

Тот и другой, любя свои отношения определять словами, вскоре определили их. Это произошло само собой — и не произошло, а было всегда, не называясь и затуманиваясь возвышенными и, казалось, нерушимыми правдивыми словами. Они тоже были взаимным очарованием и самозатемнением. Зачем же далее жить им в очаровании этой темноты, казавшейся им обоим светом? Слиянием душ. Гармоническим соединением двух начал, символизирующим единство организующих труд и осуществляющих его... Родион об этом сказал Платону:

— Если воспользоваться твоим любимым сравнением, то следует нашу фирму назвать машиной, в которой ты и твои миллионы были движущей силой, я —

трансмиссией, а все остальные — исполнительным рабочим механизмом.

И в тот же день им было решено:

— Зачем простое наряжать в наукопритворные одежды? Ты хозяин, а я твой приказчик... Коротко и ясно.

И все же это короткое и ясное тот и другой захотели оставить при себе. Что изменится от того, если будут знать все, кем стали эти два человека, которые для всех были чем-то единым в различных обличьях? Ничего не изменится, когда люди узнают, что это не так, а если изменится, то не к лучшему. Худшего не хотелось и Скуратову. Враждебные фирме лица могут воспользоваться разладом и причинить ущерб, который скажется на всех.

Как некогда уровень жизни шало-шальвинских рабочих зависел от уровня воды в пруду, так и теперь зависит он от того, что продается, сколько продается и по какой цене покупается.

Меркой «питающего силой пруда» для Скуратова стала теперь еженедельная бумажка «докладушка» Флегонта Потоскуева об уровне доходов и расходов фирмы. Эта «вода» неукоснительно шла на прибыль. В «пруду» акционерного общества не было обмелений и спадов. О поддержании этого уровня Родион вынужден заботиться и впредь. Пусть львиная доля идет льву, что теперь, как никогда прежде, ожесточает Скуратова, но что может он изменить? И все же, оказалось, может...

Не веря теперь в незыблемость, в «извечность» проповедуемых Акинфиним трудовых отношений, при которых фабрикант будет незаменимым организующим началом, Скуратов проникся идеей строительства новых заводов. Об этом он говорил только с женой.

— Ты пойми, Соня, чем больше он вобьет своих капиталов в недвижимое, тем больше... в случае чего... тем больше достанется людям...

Софья Васильевна, зная о переменах в муже и в его отношениях с Акинфиним, спросила:

— В каком смысле «в случае чего»?

— Мало ли... Я и сам не знаю... Знаю, что газеты нужно читать вниз головой... Платон охладевает к своим расширениям заводов. Он так держался за долгие сроки выплаты рабочими денег за купленные ими дома, а теперь вдруг все это круто изменил, и всякий желающий может внести деньги сразу и стать владельцем своего «составного» дома.

Насторожившись, Родион спросил об этом Платона, и тот ответил:

— Нам, Родион, понадобятся деньги...

Скуратов заметил ему:

— Какие же деньги дает это нам, коли каждый проданный в кредит дом заложен по полной цене и фирма ничего не выигрывает, не проигрывает от продажи домов за наличные?

— Как ничего? А закладные проценты?

Тогда Скуратов сказал:

— Они входят в стоимость домов. Их же платит, не зная этого, купивший дом в рассрочку.

— А теперь эти деньги получит фирма.

— Да много ли их получит фирма? — не отставал Скуратов.

А Платон свое:

— Макфильд нас учил считать на пенсы. Если теперь это для тебя стало

безразлично...

— Не договаривай, Платон. Мы выяснили все...

Проверяя, чем вызвана забота Платона о деньгах, Скуратов заговорил о часовом заводе:

— Ты можешь посмотреть генеральный план завода.

— Успеется...

— Наш американец закончил третий пробный образец швейной машины и очень обижается, что ты прохладен к его работе.

Платон сказал об этом определеннее:

— До швейных ли машин нам сейчас, Родион Максимович, когда ты все так просветлил и сломал главную машину, которая была в нас?

Платон ничуть не театральнo ткнул себя в грудь, и Родион усомнился, стоило ли ему раскрывать себя. Не разумнее ли было свое носить в себе и делать все так же, как он и делал? Но не склеивать же несклеиваемое! Это унижительно и бесполезно. Пусть все остается таким, как есть. Они все равно нужны друг другу. Так и сказал Скуратов:

— Платон, мы расчленились, но не разделились. И если один не будет знать намерений другого, то как мы можем далее быть впряженными в один воз?

— Родион, если тебе дорог воз, то мы должны владеть всеми его колесами и не допустить, чтобы заело какую-то из их осей. Все до последней гайки должно быть неуязвимо... Мы должны скупать акции, а до этого понизить их в цене.

— Сказано — сделано, Платон Лукич, но зачем?

— Я уже сказал. Чтобы меньше было хозяев. И нам пока не до зингерствования и не до женевствования... Впрочем, на свои заводы можно ввести особые акции.

— Что-то угрожает нам, Платон?

— Пока ничто, кроме предчувствий и плохих снов...

Флегонт Борисович Потоскуев сказал, что понизить в цене акции нетрудно. Он, посолиднев, не зажил, продолжает совершенствоваться в коммерческих науках, много читая, как и Скуратов, сводя знакомства с людьми из мира делающих погоду на биржах, оказывающих самые подлейшие услуги с таким достоинством и благородством, будто они, как анатомы, во имя спасения жизни вынуждены лечить ножом.

Флегонт сумел скомпрометировать акции «Равновесия», уронить их стоимость и эластично, по требованию главных акционеров, выпустить отдельные акции по тем заводам, прибыль которых нарастающе устойчива.

Вениамин Викторович, не зная подоплеку дела, все принимал за чистую монету и согласился предоставить страницы редко выводящей теперь «Шалой-Шальвы» для статей, заметок, заявлений и предположений, которые сочинялись Флегонтом Борисовичем.

Описание финансовых обманов не стоит бумаги, затрачиваемой на них. Для нас достаточно знать, что все они почти удались. Правда, говоря так, мы опережаем другие события.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Я теперь один, совершенно один, — жаловался чуть ли не ежевечерне Платон Лукич своему терпеливому выслушивателю стенаний Строганову. — С Цецилией нас разделяют взгляды на жизнь и цель жизни. Сына практически у меня нет. Есть

мальчик, похожий внешними чертами на меня и повторяющий во всем остальном мать и деда, Льва Алексеевича Лучинина. Мать никогда для меня не была матерью, а теперь и вовсе. Ее молитвы, монахини, монастыри, мне думается, противны и ей самой. Родион, уйдя из меня и из себя, увел меня из очарования моей темноты... Веничек, неужели в самом деле я был темен, свято веря, что я служу свету и сам являюсь светом? Неужели Молоканов светлей меня?

— Тонни, так можно дойти до участи Антипа Сократовича Потакова. Я бы на вашем месте предпочел мудрости легкомыслие, печалям — веселость, добровольной каторге — свободу.

— Как, Веничек?

— Очень просто. Встал бы завтра утром, умылся, оделся, приказал заложить лошадей и уехал бы...

— Куда?

— Мир широк и прекрасен. Сто дорог, и любая из них для вас будет стлаться скатертью.

Строганов увидел, что Платон, во что-то поверив, что-то приняв, с чем-то согласился и тут же отверг пришедшее ему на ум.

— А как же останется без меня это все? — Он очертил руками большой круг, приподнявшись на носки, вытянув пальцы, стараясь описать их кончиками как можно большее пространство.

— А что, Тонни, все? Эта шалая капля, угрожающая выйти из берегов и стать океаном?

— Я не ожидал, Венечка, от вас такой жестокости.

— Жестокостью мы называем всякую правду, которая нам не нравится. Будем трезвы. Что же это все, со всеми трубами, подковами, акциями, как не капля в огромной жизни нашей планеты? Что, как не капля? Что ваши миллионы, будь их двадцать, тридцать, как не копейки в сумме всех богатств мира? Копейки!.. И не все ли равно, будет этих копеек пятьдесят или сто тридцать семь.

Платон с насмешливым упреком посмотрел на Строганова и, выделяя каждое слово, принялся отвечать ему:

— Этот полемический прием называется софистическим, мой друг. Прибегая к софизму, я могу сказать, что для каких-то существ, населяющих каплю, она — вселенная. Жизнь по новейшим учениям, которые тщательно скрывает церковь, зародилась в капле воды и заполонила мир. Безжизненный мир стал живым и населенным. Так скажите же мне, милый Веничек, почему Шалая-Шальва не может стать такой каплей, которая преобразует дичайшую жизнь со всеми ее молохоподобными узурпаторами, с клещами типа Гущина, с паразитическими коронованными и некоронованными тлями и со всей ее анархией производств и распределений благ в гармоническое общество, предвестником которого стала жизнь в изумительной капле, в которой мы имеем честь пребывать? И, может быть, в ней почетно будет утонуть, сгореть, раствориться, чтобы она жила и выходила из берегов, становясь спасительным океаном...

Строганов опустил руки в прямом и переносном смысле. Он сказал:

— Тонни, вы знаете, что для меня не безразлично все, что вы делаете и говорите. Таких, как вы, я не встречал, хотя они, наверно, есть во всех сферах, где собственная темнота ослепляет до самоистязания, до самопожертвования... Тонни, я не принадлежу к тем людям, для которых наука о развитии общества является их главной

наукой, их целью жизни, самой их жизнью. Я не достаточно силен в этой науке, знаю, что есть законы развития общества, на которые нельзя повлиять, как на смену времен года, как на вращение земли, как на все, что управляет нами, а мы всего лишь можем либо помогать и ускорять это неизбежное, либо пытаться задержать его...

Платон согласился с Вениамином Викторовичем и сказал, что именно так думает и он, поэтому и стремится всеми способами ускорить приход неизбежного, которым и является гармония равновесия взаимностей...

Эти нескончаемые поучения, продолжись, довели бы терпеливого Строганова до истощения сил и терпения, если бы не тихий стук в дверь, а за ним появление высокого седого человека с жизнерадостными глазами, в дорожном костюме.

Он остановился в распахнутых дверях, ожидая чего-то, и, не дождавшись, спросил:

— Неужели Вальтера Макфильда так изменили годы, что он должен удостоверить свою личность визитной карточкой?

Платон по-мальчишески взвизгнул и бросился в объятия к Макфильду.

— Если существование бога я оставлял под сомнением, то теперь, в ваших объятиях, я уверовал в него... Я больше не одинок.

При таких неожиданных обстоятельствах перо готово ринуться в галоп и, перескакивая через слога и слова, роняя в стремительности своего бега кляксы, проскакать слева направо сотню строк. Но теперь не до скачек, привлекающих внимание, отвлекая его от главного.

Макфильд, стремясь побывать в России, хотел увидеть Шальву и теперь осуществил свое давнее желание.

Конечно, он был поражен увиденным, и, разумеется, восхищен достигнутым, и, несомненно, счастлив, что в этом грандиозном есть и его маленькие усилия.

Пусть за полями страниц останутся обеды, встречи, поездки, посещения цехов, технологические замечания, одобрения образцов швейных машин, коррективы по часовому заводу и многое другое, что представило бы интерес и, может быть, расцветило бы страницы. Это верно, но второстепенно. Первостепенно то, что Вальтер Макфильд привез мир и надежды на лучшее.

Он смеялся над чтением газет вниз головой и называл предположения Льва Алексеевича Лучинина естественными возрастными размышлениями, какие в его годы у пожилых людей, принадлежащих к различным сословиям, извращаются по-разному. Одни говорят о скором конце света. Другие — о пришествии антихриста. Третьи, из высших слоев, предсказывают войну.

— Какая же может быть война, господа, когда все за ее исключение? — убеждал Макфильд, подразучившийся говорить по-русски. — Голова таких людей требует хорошего остывания.

Макфильд сумел найти умиротворяющие слова и для Скуратова:

— Мальчик мой, мы гости на земле, и нам нужно хорошо отгостить. Зачем наполнять голову задачами, которые нельзя решить?

Там, где недоставало Макфильду русских афоризмов, он приводил английские, тут же переводя их. Он рекомендовал учиться мудрости жизни у старой Англии.

Скуратов, не веря проповедям Макфильда, называя его про себя «епископом капитализма», видел в его болтовне искреннее желание смириться с ветром, не становясь его жертвой в борьбе с ним.

— Дон-Кихот, — сказал Макфильд, — бессмертен в книге и тотчас гибнет, как

только выходит из ее переплета в жизнь, пытаюсь перевоплотиться в похожих на тебя, мой мальчик...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приезд Макфильда сказывается и еще скажется в этом последнем цикле глав, хотя и не изменит логики событий, как и второй приезд, который правильнее назвать приводом. В дом Акинфиных привели Клавдия. Пристав смущенно, будто оправдываясь, сообщил:

— По долгу службы, Платон Лукич... Вот бумага... Примите Клавдия Лукича под расписку. Или я не знаю, что с ним будет дальше.

Платон взял из рук пристава бумагу и запечатанное письмо. В бумаге на имя шальвинского пристава сообщалось, что господин Акинфин К. Л. высылается за бесчинства на попечение и поруки господина Акинфина Платона Лукича по просьбе вышеназванного бесчинствующего, высылаемого из Санкт-Петербурга.

Письмо было кратким, написанным крупно и разборчиво:

«Душа моя, мною сделано все возможное, чтобы уберечь от позора Вашего брата и Ваше имя. Бесконечно уважающий Вас Х.Гущин».

Платон с Клавдием встретился только на другой день, после того, как мать и прислуга привели его в надлежащий вид. Он, уже протрезвившись после вчерашнего угощения сердобольной Калерии Зоиловны, сумел снова оказаться навеселе.

Почувствовав себя свободным под опекой матери, Клавдий заявил Платону:

— Я русский Беранже, певец свободы!

Дальнейшее Платон выслушивать не захотел. Клавдий пел на французском языке «Марсельезу» после того, как Платон захлопнул за собою дверь будуара матери.

С матерью он в тот же день говорил почтительно и холодно:

— Если тебе, мамочка, все еще ничего не понятно, то я могу переехать и отдать дом в твое распоряжение.

— Зачем же, сыночек, нам столько комнат? Клавдику и мне достаточно одного крыла. С отдельным входом. И вы не будете отравлять жизнь друг другу...

— Хорошо, мамочка, пусть будет по-твоему. Только, пожалуйста, попроси его не появляться у меня. Если он это сделает, с ним обойдутся, как полагается в таких случаях.

— Платик, не забывай, что ты мой сын и он мой сын. Вы братья...

— Я, мамочка, знаю, что он твой сын, и если бы он не был им, то ему бы пришлось вернуться с приставом обратно.

Мать ушла обиженной и пообещала не беспокоить больше Платона своими приходами.

Отделенный Клавдий пил и пел в «Веселом лужке». Исполняя песни на французском языке, он щеголял им. Пел он и свои сочинения, еще более хвалясь этим. Когда же он пропел первые строфы «Марсельезы», дежуривший в «Лужке» урядник, не разобрав слов, но услышав опасную мелодию, крикнул:

— Приказываю замолчать, Клавдий Лукич! Я не посмотрю, кто вы. Это политика!

Пьяные требовали продолжения, а урядник угрожал «высидкой в клоповнике».

Находившийся там в это время Овчаров попросил:

— Клавдий Лукич, и я честью прошу не позорить увеселительного заведения нашей Кассы.

Тогда возмущенный Клавдий потребовал бокал шампанского и объявил:

— Сейчас, почтеннейшая публика, я спою вам неполитическую песенку моего сочинения. — И он запел известные нам куплеты про Платона: «Мой братец миллионы наживает, а я трудом своим живу».

Это взбесило Овчарова. Когда же Клавдий бравурно пропел: «Он пот рабочих выжимает», Овчаров вскочил на подмостки для музыкантов, схватил за шиворот Клавдия, волоком протащил его через зал и вышвырнул за дверь. Вернувшись, он громко приказал:

— Касса запрещает появление здесь этого глумителя дорогого для всех нас имени Платона Лукича!

Теперь урядник имел все основания осуществить свою угрозу относительно клоповника. Он свистнул. Полицейский, дежуривший возле «Лужка», отвез Клавдия в полицию на извозчике.

Клавдий ночевал на диване в кабинете пристава. Он утром, получив от Калерии Зоиловны двадцать рублей, попросил ее не беспокоиться.

— Если опять произойдет такое... непредвиденное, я велю стлать для Клавдия Лукича на диван простыню и давать байковое одеяло.

Ничего не оставалось, кроме лечения приложением к мощам и возложением рук преподобного схимника на главу Клавдия, одержимого зеленым змием. Калерия Зоиловна упростила Клавдия отправиться с нею в святую обитель.

После отъезда матери и брата Платон снова мог проводить время в обществе Макфильда, Строганова и появлявшегося в доме Акинфиных Скуратова.

Возобновились разговоры о возведении заводов швейных машин и часов. Платон и Родион были взаимно внимательны друг к другу и делали легкие попытки назвать свое размежевание естественной размолвкой и объяснить ее напряженной работой, происками завистливых врагов и чем-то еще, также вполне обоснованным и неоспоримым.

Нет сомнений, происшедшее было не без причин, как ничто не случается без них. Но также не вызывало сомнений и то, что разрыв, притаившийся на дне их душ, ни на минуту не засыпал и в лучшие из дней притворялся, что он дремлет...

Июльское небо дышало ласково. Кучевые облака светились безмятежной белизной. Камские караваны обещали сбыться удвоенным надеждам Флегонта Борисовича Потоскуева.

Газеты одинаково успокоительно читались и вверх, и вниз головой. Ничто не предвещало войны. Все было очень тихо, как чаще всего бывает накануне войн, которые, долго и скрытно готовясь, прикрываются толщей улыбок, заверений в дружбе и верности и подтверждаются взаимным уважением царств, империй, и возникают тем стремительнее и злее, чем приветливей были улыбки и выразительнее взаимные уважения...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Быстро скользит вниз по Каме маленький беленький одноэтажный парходик, ласково названный яркой киноварью — «Вадимик».

День снова обещает быть палящим. На реке еще держится утренняя прохлада. Необозримая тишина. Только всплески крупной рыбы нарушают ее тишь да ровный, улетающий за корму гуд винта.

Макфильд изъявил согласие отправиться с Акинфиным и Скуратовым, чтобы окончательно остановиться на каком-то из мест для возведения часового завода. Одно из таких мест было предположено рядом с небольшим уездным городом Осой. Небеса над городом не заволакивались фабричным дымом, дававшим себя знать на камских берегах выше и ниже тихой, малонаселенной Осы.

«Вадимик» пришвартовался к знакомой Любимовской пристани по другую ее сторону, обращенную к берегу, чтобы не мешать приставать большим пароходам.

На пристани как-то необычно толпились и шумно разговаривали люди.

Не случилось ли что-то?

Праздно заданный Платоном Лукичом самому себе вопрос получил неожиданный ответ, ошеломивший всех находившихся на «Вадимике».

Они узнали, что вчера началась война.

— Я в западне, — первое, что произнес Макфильд.

Платон неодобрительно посмотрел на него.

Все, что было можно, они узнали о войне. Из разноголосых сведений, в которых было много наносного, несомненным оставалось то, что война началась, и то, что им следует возвращаться в Пермь. Только там, у губернатора, они могут получить более точные сведения, а затем решить, что и кому следует предпринять.

Начало мировой войны 1914 года так широко, многогранно и документально подробно обнародовано, что можно, только перефразируя, повторять общеизвестное. Мы знаем, как началась эта самоубийственная бойня, как она продолжилась и во что вылилась. Тот же, кто был ее современником или участником, мог только предполагать, строить предвидения, ошибаться или быть близким к истине.

Многие, если не сказать — большинство, были убеждены, что война будет скорой и победной. Так же думал и пермский губернатор, ободряющий вверенных ему верноподданных царя, живущих в огромной губернии, простершейся далеко за Урал на восток и включающей в себя значительные пространства прикамских земель на западных отрогах горных хребтов.

Иначе судил не ставший губернатором сын князя Лучинина Лев Алексеевич. Он перевел в стерлинги полученное от продажи подмосковного имения, оставляя свой дом и коллекции на потомственно верных слуг.

Лев Алексеевич сожалел, что не предпринял в прошлом году переезд на Британские острова, когда это можно было сделать без хлопот. Теперь он вынужден отправляться туда далеким путем, через Владивосток. Цецилия извещала об этом Платона не очень умело зашифрованной телеграммой. Она дала повод Вальтеру Макфильду не искать выхода из западни через посольство Великобритании, а отправиться на родину хотя и очень далеким, но казавшимся ему, как и Льву Алексеевичу, самым надежным путем.

В первый же день возвращения в Шальву Платон Лукич заперся с Флегонтом Борисовичем Потоскуевым, не желая посвящать в дела Скуратова до предварительного выяснения курса фирмы.

— Первое, что занимает и беспокоит меня, это изменение видов изделий, — начал Потоскуев. — Приведу примитивный пример. Так ли будут покупать наши гвозди, когда людям не до возведения строений?.. Когда так же, к примеру говоря, гвоздевой проволоке целесообразнее превратиться в колючую проволоку для заграждений на театре военных действий.

Флегонт Борисович, коммерсант по натуре и образованию, уже успел связаться с

миром купли-продажи, спроса и предложения. И он выяснил, что сейчас очень понадобятся солдатские котелки, оси для двуколок, пряжки для ремней, подковки для сапог, солдатские кокарды, которых потребуется сотни тысяч штук...

— Этого мы не будем решать без Родиона Максимовича. Лучше о главном. Об акциях.

— Странное дело, Платон Лукич! Одни демонически рвут с наценкой наши акции, другие спешно сбывают их.

— Что же, по-вашему, должны делать мы? Скупать или сбывать?

— На этот вопрос отвечают по-разному, Платон Лукич. Одни дальновидные люди утверждают, что курс рубля неизбежно понизится, а облигации нашей фирмы, обладающей редчайшей приспособляемостью к спросу рынка, подскочат очень высоко. Но, Платон Лукич, говорят и противное сказанному... Я полагаю, курс нашего рубля понизится.

— Либо да, либо нет. Будем не полагать, а действовать. Принадлежащие мне суммы нахожу разумным переместить туда, где курс валюты не подвержен колебаниям. Вернуть всегда не поздно.

Потоскуев, найдя намерение Акинфина благоразумным, о чем-то еще хотел спросить его и не спросил. Он догадывался об изменениях отношений между ним и Скуратовым, и ему нужно было знать об этом. Для дела, а не для себя. Но как отделишь одно от другого?

Нехорошие предчувствия закрадывались в душу Потоскуева. Он гнал их, а они не подчинялись его всегда неопровержимой логике. Но зачем раздумывать о том, что может быть и что может не произойти? Достаточно других дел...

Жизнь в Шалой-Шальве переменилась до возвращения Акинфина. И каждый день происходят какие-то новые изменения. Предстоит и где-то уже началась мобилизация. Появились заказчики в погонах. Платон Лукич направляет их к Скуратову. У него тоже нехорошие предчувствия. Если бы виной их была только война, можно бы оценить и взвесить обстоятельства и постараться устранить их. Какие-то тайные силы, не имеющие ничего общего с войной, незримо, неслышимо, но чувствуемо всем его существом подсказывают, как кем-то где-то ведется подкоп для взрыва.

— Может быть, не ждать динамита, Родион Максимович? — спросил Платон. — Ты же научился теперь говорить в глаза и самое жестокое...

Родион не раздумывая ответил:

— Пройдет и это. В жизни все проходит...

— Проходит, Родион, и сама жизнь.

— А пока она не прошла, нужно жить, — возразил Родион и, обратив внимание на чирикающих за окном конторки воробьев, сказал: — Лучше прыгать с ветки на ветку воробышком, нежели тлеть мудрецом в нарядном саркофаге.

— Я никогда не любил аналогий, хотя и пользовался ими. Для того чтобы прыгать с ветки на ветку, во-первых, нужны ветки и, во-вторых, соответствующая атмосфера или жизненная среда. А если воробей к тому же разумен, ему нужны идеи, дела, во имя которых, он чирикает и живет...

— Хватит, Платон, об идеях, лучше поговорим о полумиллионе военного образца. Генерал просит незамедлительного ответа.

— Ответь ему. Как ответишь, так и будет... Отвечал же ты прежде без меня и вел все. А теперь тебе особенно нужно будет все вести и все решать. Я могу в самом деле отчирикать. Делай подковы. Штампуй котелки... Хорошо бы вместо крестиков

получить заказ на георгиевские кресты и сабельные рукоятки. — А потом Платон раздраженно и выпрещенно досказал: — А если злые силы бросают «мудреца» в жерло домны, тогда ему не понадобится и тлеть...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все постепенно уходило из-под власти Акинфина, теряющего власть и над собой. Он почти не вмешивался в заказы фирме, зная, что Скуратов не может допустить, чтобы что-то причинило урон рабочим, а следовательно, и фирме.

Ушла из-под влияния Акинфина и газета «Шалая-Шальва». Формально она принадлежала Строганову. Он был ее издателем и редактором. Он получал деньги от проданных посредниками номеров газеты или рассылаемых бесплатно за счет фирмы. Она же платила и за рекламные объявления. Платон был ее меценатом. Теперь же Вениамин Викторович не знал, что нужно печатать и какой должна стать газета.

Геннадий Генрихович Штильмейстер знал, что нужно печатать и как должна выглядеть газета, и она перешла к нему. Его умение оценивать обстановку и принимать быстрые решения привели в Шальву двух журналистов, охотно согласившихся получать удвоенное жалованье и десять процентов с выручки.

В Шальве ежедневно стали выходить «Военные вести». Эти небольшие листки перепечатывали телеграммы о происходящем на фронте.

«Шалая-Шальва», предсказывая скорую победу, старалась косвенно, не назойливо, а как бы вскользь, сообщать о процветании заводов акционерного общества «Равновесие» и об охоте за его акциями, купив которые утром можно продать с прибылью вечером.

Штильмейстер осторожно порекомендовал Акинфину:

— Платон Лукич, я более чем кто-то знаю, каким ударом для вас стала война. Она разрушила планы возведения заводов на Каме. Но она же нам обещает скорые баснословные увеличения капиталов... И как только, Платон Лукич, на театре военных действий наша победа опустит счастливый занавес выигрышного мира, вы, Платон Лукич, вдвое, втрое, вчетверо сделаете скорее и успешнее все то, на что вам потребовалось бы много лет...

Разговор происходил в парке дома Акинфина. Платон редко появлялся на заводах. Ему казалось, что он вступал в разлад и с самими зданиями цехов с трубами, и со всем, что любилось, чем восхищался он, что радовало его.

— Я люблю, Георгий Генрихович, вашим искусством строить при помощи красноречия вавилонские башни из благородных намерений и высоких порывов. Что бы вы хотели, отбрасывая цicerоническое обрамление, в двух словах?..

— Предложить дополнительный выпуск акций.

— Зачем?

— Их нет в продаже, а они бы дали...

— Они бы дали, — перебил Акинфин, — новых сохозяев, которые бы повели себя... Неизвестно, как бы повели себя. Нам достаточно и того, что мы не знаем, у кого находятся и кем так упорно припрятываются акции, легкомысленно развеянные Клавдием и еще более легкомысленно врученные ему вместо наличных денег. Деньги безличны. Он пропил, прокутил их — и все. Акции же... Вы сами понимаете, Георгий Генрихович, что такое акции. А теперь скажите: кто подстрекает вас на это дополнительное расширение совладельцев?

— Только верность вам и фирме, Платон Лукич.

— Я постараюсь убедить себя в этом, Георгий Генрихович. А вы бы взаимно постарались убедить себя в необходимости скупки неизвестно где прячущихся акций. Может быть, для этого следует придумать убедительный испуг неизбежного падения их курса. А может быть... Я что-то плохо стал разбираться в самом очевидном...

Платон Лукич хотел развить свои мысли, чтобы проверить, не перепродался ли кому-то Штильмейстер, но в это время вошла Цецилия и, бросившись в объятия мужа, сказала:

— Милый, как изменилось твое лицо...

Лучинины прибыли «своим вагоном». Он был поставлен в тупичок ветки неподалеку от акинфинского парка. Там, где стоял собственно свой, а не «зафрахтованный», вагон Платона Лукича.

Лев Алексеевич нескрываяемо был доволен, что война развязала узел его сомнений и подняла шлагбаум в долго ожидаемое. Теперь он приехал, чтобы убедить Платошу последовать его примеру. Лучинин не говорил, а как по писаному читал:

— Зачем нам подвергать себя в пятнадцатом, а может, и в этом году удесятеренным опасностям тысяча девятьсот пятого года и стать жертвами солдатских штыков, которые рекомендуют им повернуть в сторону тех, кто посылает их на гибель?

Для Льва Алексеевича ближайшее будущее России виделось в таких подробностях, что вступать в пререкания с ним было так же нелепо, как и с теми, кто предсказывал на неигранных картах, окропленных святой водой, день и число заточения кайзера Вильгельма в Шлиссельбургскую крепость.

— Позвольте уж мне самому распорядиться собой, — категорически отрезал Платон дальнейшие разговоры об его отъезде. — И позвольте изумиться, как могло в голову прийти путешествие из Шальвы в Молоховку через два океана и Американский материк.

— Да, Лев Алексеевич, — вмешался Макфильд, — вначале и мне этот длинный путь показался самым коротким и безопасным. Когда же я взял в руки глобус, то увидел, что нам придется объехать весь земной шар. И я отказался от этого предприятия. Есть много способов очутиться в Англии.

— Да, мистер Макфильд, но лодки... подводные лодки...

Вечером Лев Алексеевич признал свой кругосветный рейс еще более опасным, а утром последовал совету Платона.

— Зачем нужны два вагона для возвращения в Петербург, когда достаточно одного вагона Платоши? В этот более просторный и удобный вагон уместятся редчайшие статуи, картины, да еще останется место для тех реликвий, которые Платоша не пожелает оставить в Шальве...

Дорогой вагон был оплачен и возвращен железной дороге. В свой вагон было перенесено, переупаковано все, что нужно было уберечь от солдатского погрома, который разразится в конце этого года или в начале того.

Теперь можно было не спешить, пробуя еще одну возможность — повлиять на Платошу через Вадимика.

У Вадимика было свое особое мнение. Он считал постыдным убежать от кайзера к английскому королю Георгу.

— Это, папа, не по-офицерски, — запальчиво сказал перераставший своего отца Вадимик, выглядя старше своих двенадцати лет. Он еще более и огорчительнее

напоминал Клавдия.

— Ты, Вадим, уже чувствуешь себя офицером.

— Да, папа. У меня уже есть настоящая шашка, ремень с портупьями и форма. И если бы меня могли принять в армию, я бы знал, как поставить на колени всех наших врагов.

— Как же, мой мальчик?

— Нужны доменные печи, папа! Много доменных печей! Очень много!

— Ты прав, мой умник. Тогда у нас было бы много оружия. Пушек, снарядов, пуль...

— Нет, папа, пули хороши только для дуэли. Когда двое. Но теперь не бывает так, чтобы один царь дрался со вторым и кто кого убьет, тот и победитель. И потом... Потом я думаю, что наш император Николай Александрович невысок ростом. Он не выше тебя, а Вильгельм, мне кажется, с детства учился стрелять. И он как гвардеец... Нужны, папа, домны на колесах...

— Домны на колесах? Зачем же на колесах?

— Чтобы солдаты могли толкать их впереди себя и заливать врагов огненной лавой. Тогда, папа, война могла бы закончиться тут же. Ты представляешь, как это здорово... Впереди домны поливают огненной лавой, такой же, как у нас. А позади солдаты толкают домны на колесах. Домны закрывают солдат от пуль, а врагов ничего ни от чего не закрывает... Хочешь, я тебе покажу... У меня нарисована доменная атака. Там нарисован и офицер на коне. Это не я, папа. Ты не подумай... Это другой, похожий на меня...

Платон обнял Вадимика, усадил на колени и принялся ласкать...

— Милый мой, последний и единственный Акинфин! Ты необыкновенный выдумщик. Только жаль, что ты далеко растешь от доменных печей.

— А зачем, папа, расти близко к ним? У них же очень ядовитый дым... Разве нет?

— Да нет, Вадимик. Ты преувеличиваешь...

— А мама и тетя Агния говорят, что домны отравляют и проглатывают людей...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Цецилии Львовне переезд в Лондон был нужен как толчок для увода Платона из одержимости его сумасбродными идеями.

Почуввав, что Цецилию не оставляют ее давние намерения, Платон сказал ей:

— Лия, мне осточертевает Шальва. И осточертей она окончательно, то и в этом случае я не мог бы заводы, как статую и картины, упаковать в ящики для отправки по железной дороге...

Цецилия, зная многое из того, что произошло с ним, находила, что нужно дать доболеть в нем его гармоническому равновесию и стать вровень с теми, чьи заводы успешно работают на Урале, а их владельцы еще успешнее живут на их прибыли далеко от их «Шальв».

Не ею это установлено и не ей изменять веками устоявшееся. И если вдруг почему-либо изменится привычное, то переведенных в Лондон средств достанет и для правнуков Вадимика.

С такой верой и с такими уверениями отца она уехала через Петербург вместе с отцом, сыном и матерью в Финляндию, чтобы там поискать путей в Англию, о которых позаботится мистер Макфильд через свое посольство в Питере.

Доставят их в крайнем случае на крейсере. Ее отец не просто же так отправляется в вояж. Он будет представлять в Англии общество Красного Креста России. Напрасно, что ли, он сделал большой взнос и получил от общества полномочия заботиться о добровольных пожертвованиях в Англии...

Платон снова остался один. Проводя вечера с Вениамином, Акинфин не мог себя теперь считать с ним «вдвоем». Взгляды Строганова ускоренно менялись. Недавно зашел разговор о Штильмейстере, и Строганов признался:

— Мне трудно понять, как я отношусь к этому обрусевшему потомку семидесяти семи иноземных дворянских кровей. Размышляя о нем, я вспомнил маленький французский рассказец.

— Какой же? — спросил Платон. — Я также теряюсь в догадках, думая об этом слишком преданном человеке. Расскажите, Веничек.

— Я не знаю, как это прозвучит в моей адаптации, но попробую...

Строганов пересел в другое кресло для отбивки рассказа от собственных слов и начал, как сказку:

— В некоем просвещенном королевстве при дворе славился один важный «персон» добродетелью. Он нежно любил своих детей и жену. Наслаждался музыкой и сам так играл на скрипке, что и глухие ко всему люди плакали, умиляясь до... дальше ехать некуда. Он очень хорошо относился к своим друзьям. Помогал в беде, заботился, был верен в дружбе. И всякий, кто встречал его, видел в нем святого человека, а на худой конец священника. А был он... Был он первым королевским палачом. Это было его профессией. И он отсекал головы, как хороший доктор вытаскивает зуб. И в повешении сказывался его благородный нрав. Он жидким мылом пропитывал веревку, чтобы казнимый не мучился. И так же до бритвенной остроты натачивал топор. Чтобы без боли отрубить голову. Вежливый, он говорил казнимому: «До свидания» — и, грустно улыбнувшись, успевал шепнуть:

«Пардон, но такова моя работа... До скорой встречи на небесах...» Таков был этот удивительный человек...

Платон Лукич, не сводя глаз и сохраняя добродушие на своем лице, очень любезно заметил Строганову:

— Удивительный человек и вы, Веничек. Вы обезглавливаете своих слушателей еще артистичнее, чем герой этой французской притчи...

— Это же бескровное, басенное отсечение, Тонни, при этом я не могу сказать, что Георгий Генрихович полностью соответствует рассказанному. И все же какая-то отдаленная схожесть с ним есть...

— И не только с ним, Веничек... А скажите, пожалуйста, что бы вы предпочли — повешение или бритву?

— Я бы предпочел Лондон.

— Благодарю вас, Венечка. Вы очень хорошо выполняете порученное Лией.

— Она, Тонни, давно уже не подметает мною пол. И если я мету в ее пользу, то делаю это по собственной воле. Вам нужно уехать, чтобы не говорить о бритвах. Хотя бы и шутя. Это плохой и опасный юмор, Тонни.

— А что делать, если я не вышел и не выйду из очарования собственной темноты?.. Родион очень инженерски коротко и философски точно сказал: если бы я не был очарован сам, то как бы я мог очаровывать других? Неужели вы, Веничек, думаете, что я не верил и не верю в свою мечту преобразовать мир и меня ослепляли только деньги?

— Нет, Тонни, деньги не были вашей самоцелью. Деньги для денег вам и вашему отцу были не очень нужны. Потому что нажитых миллионов хватило бы на многие поколения наследников Акинфиных. Но вы не могли пренебрегать ими. Вы властолюбивы, Тонни. А деньги — это власть. Вы честолюбивы, Тонни. А деньги — это слава. Деньги обеспечивают свободу действий, поступков, исполнение желаний и все то многое, что недоступно человеку без денег. Я не разделяю этих стремлений, отлично их понимая и не преклоняясь перед ними...

— И все же, Веничек, вы, превратив унаследованное от Молохова в акции, при всем вашем равнодушии к деньгам держите их при себе, а не раздаете их тем, об участии которых с детства вздыхает Агния.

— Прежде всего, Тонни, я ничего не унаследовал и живу на собственные трудовые деньги. Что ж касается Агнии, я думаю, она найдет применение своим акциям в полном соответствии велению ее души. Агния отдала старый платиновый клад потомкам убитых из-за этой проклятой платины...

— И они, деля платиновый клад, кончили поножовщиной и двумя смертями...

— Увы! Нужно было Агнии самой разделить платину, а не указывать через Кучерова место ее захоронения и не доводить этим до кровавого дележа. Я бы не вспоминал, Тонни, на вашем месте о кровавой платине. О ней у меня будет рассказ, и вы узнаете, как я отношусь к такому дележу. Людям нужно возвращать принадлежащее им в лучшем виде.

— В каком же? — спросил Платон.

— Книгами, например. Агуся говорила о создании издательства очень дешевых и очень полезных книг. Для этого не потребуется и половины акций.

— Она хочет их продать?

— Может быть, уже продала.

— Как продала? — крикнул Акинфин. — А как же домны? Как остальные печи?

— Тонни, она давно рассталась с ними.

— Решиться продать акции и ничего не сказать мне — это же... Это я не знаю, как называется...

— Тонни! Вы кричите на меня, как будто я причинил вам какое-то зло! Вы же сами сказали, что всякий может распорядиться своими акциями, как он пожелает...

— Вениамин Викторович! Это было сказано до войны... А сейчас другое дело. Сейчас акции в чужих руках могут, — он показал на шею, — удушить меня. Неужели она в самом деле продала?.. Я должен предупредить ее... Я упрошу ее хотя бы повременить... Не до зарезу же ей нужны книжки для бедных... Я сегодня же напишу ей! Нет, я лучше дам ей телеграмму. Письма все равно теперь читаются цензурой...

Таким не приходилось видеть Строганову хлопнувшего дверью Платона.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Телеграмма Платона Лукича была дважды напрасной. Агния Васильевна после отъезда Лучининых отправилась к двоюродной тетке Строганова в Москву, где она решила обосноваться, навсегда расставшись с Шальвой. А до этого Агния с большой надбавкой продала все свои акции по увещанию очень благородного и понимающего все обстоятельства дела господина Гущина Хрисанфа Аггеевича, которого так хорошо аттестовали все Лучинины.

Теперь у Агнии Васильевны легко на душе. Она вышла из этой

шало-шальвинской круговерти, а заодно рассталась и с Петербургом. Зачем он ей без Лучининых?

Москва так хороша и величава. Здесь Вениамин будет счастлив. Может быть, и она также сумеет применить свои силы в книгопечатании. И, может быть, надо начать с нарядных и дешевых книг для детей...

Телеграмма вернулась к Платону Лукичу. Ее вернул Хрисанф Аггеевич Гущин.

— Я, — сказал он при встрече с Акинфиным, — уполномочен получать всю корреспонденцию, адресованную на дом Лучининых. Телеграмма пришла открытой. И если бы она была закрытой, я прочитал бы ее по обязанности и долгу. Я не буду ничего скрывать от вас, Платон Лукич. Щадящим лжецом быть легче, нежели правдивым подлецом. А я ни тот и ни другой. Хотя признаюсь, что я тот и этот. Ваши акции, кроме тех, что вы не выпускаете из сейфа банка, находятся в руках двух персон.

— Каких, Хрисанф Аггеевич?

— Милый мой Платон Лукич, не все ли вам равно как их звать? И испанцы ли они, или французы, шведы, бельгийцы или немцы. Капитализм не знает наций, границ, фронтовых позиций. Он правит миром и царями. Он хочет свить еще одно гнездо на перевальном рубеже двух величайших частей света. И хотим мы с вами или нет, он его совет. Я только лишь колечко одного из ста ключей, которые к вам подбирают эти две персоны.

— Что вам угодно на этот раз, Хрисанф Аггеевич?

— Спасти вас, Платон Лукич. Считайте иезуитскими эти слова. В них, откровенно говоря, есть такая примесь... Но только примесь. Сорок два процента акций в их руках. А если Цецилия Львовна продаст свое камское приданое... Продаст во имя вашего освобождения.

— Она не может продать его...

— Может! Ее принудят обстоятельства. Строганов, тот, что граф и прямой потомок тех Строгановых, добивается на очень высочайшей высоте возвращения всех земель, принадлежащих Строгановым с грозненских времен и отторгнутых боковыми ответвлениями их рода. К таким принадлежит та ветвь, к которой относятся предки Цецилии Львовны. И если она узнает, как шатко ее право на владение лесами, то при всем ее небрежении к деньгам продаст свою лесную Каму во избежание риска ее потери, — так нагло лгал Гущин.

— Сам Штильмейстер не сумел бы так намылить для меня петлю, как это сделали вы, господин Гущин.

— Петлю? Какую, Платон Лукич? Я всего лишь называю факты. В том случае, если Цецилия Львовна продаст леса, — а она их продаст, — и эти две персоны будут владеть не сорока двумя процентами всех капиталов фирмы, а... Я не счетовод. Флегонт Борисович скажет вам об этом до сотой доли. Но и без него я знаю, что тогда, при этих двух персонах, вы окажетесь их совладельцем, не большим, чем Антип Сократович был при ваших заводах. Кстати, помолодевший господин Шульжин, продав свои акции, в Питере купил дом и пригрел для Кэт не кита, но дворянина, без денег, но не без чинов. Она еще способна притворяться тридцатилетней.

— Что, в конце концов, вы хотите, Хрисанф Аггеевич?

— Всегда один и тот вопрос. Сотый раз! Хотя бы переставили слова. Впрочем, до слов ли вам теперь, Платон Лукич?

— Что вам?..

— Не надо взвинчивать себя. Мне ничего, Платон Лукич, не нужно, кроме незначительных процентов с тех двух персон и с вас. Они хотят купить все остальное. И немедленно!

Платон Лукич взял себя в руки. Как тогда, после выстрела в цирке. Как при встрече с шулером Топовым. Как много, много раз за эти годы. Он расхохотался и спросил:

— Немедля? Как это можно, если бы даже я решился? Ведь это же не какая-то одна вещь. — Он посмотрел на рояль. — Да и он требует осмотра. Проверки. Оценки специалиста...

— И тем не менее, Платон Лукич, если взять оптимальную стоимость рояля и, не поднимая крышек, уплатить за него двойную цену, то потребуется две минуты, чтобы переложить деньги из одного бумажника в другой. Милый, Платон Лукич, не будем гонять шары. Потаков, светлая ему память, сам оказался в лузе. Я же вам хочу, не прикасаясь к кию, помочь доиграть вашу партию так, чтобы в выигрыше оказались вы. Цена заводов Флегонта Борисовича на балансе.

— Это старая, заниженная цена, Хрисанф Аггеевич. Теперь она иная.

— Но не в полтора же раза, — сказал Гушин.

— Нет, но на четверть стоимости она возросла...

— На четверть? Что за счет? Вам предлагают уплатить в два раза... И, кажется, с походом. Вот цифра! Сохраните эту бумажечку для размышлений.

У Платона проступили мелкие капельки на лбу. Ему было стыдно, что он растерялся, и ему снова пришлось овладевать собой.

— Все это очень щедро, — продолжил Платон, игриво улыбаясь. — Но кроме этого есть же еще кое-что. Здание больницы... Цирк... Гостиница... «Веселый лужок» и многое принадлежит мне, находясь в аренде у Кассы...

— Ну, Платон Лукич, в вас уже просыпается купец. Пусть будет это стоить миллион еще. И полмиллиона за ваш дворец. Сто тысяч за такую щедрость причтется мне. Согласны?

— Хватит, Хрисанф Аггеевич. Довольно!

— Куда же больше! Я все сказал! Теперь осталось вручить вам адрес двух персон! От вас потребуются только два телеграфных слова: «Я согласен». Сейчас я удаляюсь не прощаясь, чтобы не дать сказать вам тех слов, которые могут оскорбить меня и тех двух персон. Они в отместку могут с вами поступить... Попрдержу и я язык... Меня здесь нет.

Хрисанф Аггеевич исчез, как исчезает в театре привидение. И как будто и не было его.

Акинфин не мог брать далее себя в руки и останавливать слезы, капающие на стол и на маленький кремоватый листочек с адресом... И на другой — с баснословной валютной цифрой, ожидающей его в банке Лондона...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Смутными предчувствиями жила Шалая-Шальва. Смутным было и само небо над нею. Оно, не принимая дым заводских труб, будто противилось его мрачности, силилось пропустить в редкие разводья темно-серых облаков солнечные лучи. Но и эти минутные просветы слабо проникали сквозь дымную толщу.

Ни ветерка, ни дождя. Смердно и душно в Шальве.

Тягостно и на душах шальвинцев. Слухи под стать зловещим тучам без дождя окутывают заводы. Невозможно поверить шепотком передаваемому слуху от одного к другому, но и невозможно отмахнуться от него.

Как можно представить, что кто-то придет на заводы и назовется новым хозяином. Что будет тогда? И без того в каждом втором доме слезы по угоняемым на войну. Появились дома, где стало известно, что угнанный поилец семьи никогда не вернется к своей семье.

И откуда все знают вое? Каждый приезжий вызывает подозрение. Не он ли привез в своем кармане скупленные акции? До них прежде не было дела труженикам, а теперь все узнали, что значат эти акции, которые были просто бумажками. Такими же, как талоны вертушки на Игрище или печатные карточки лото Овчарова. Он тоже ходит туча тучей. От него ничего никогда нельзя было выведать, а сейчас-то уж подавно. Молчит и Родион Максимович Скуратов. Истощал, как после долгой высидки в тюрьме. Сам же Акинфин, просидевший так много дней запершись, объявился живым покойником. Ходит по цехам и, здороваясь с рабочими, мастерами, инженерами, будто прощается с ними и прощается, по всему видать, как прощаются перед уходом в невозвратимое.

Люди все видят и все понимают, все чувствуют и предчувствуют.

Зачем-то ходил Платон Лукич на старую доменку и поднимался наверх, где заваливают уголь и руду. И опять, будто прощаясь со всеми, здоровался.

Неужели он проакционерил свое «Равновесие»?

Старик Максим Иванович Скуратов знает больше всех других. Знает и тоже молчит. У него для всех один ответ:

— Живы будем — не умрем. Горькая правда дороже сахарной кривды...

Как хочешь, так и понимай. О какой сахарной кривде он говорит? Неужели о той же, что была в листовках? Там тоже называли Акинфина сахарным. «Сахарным удавом» и «Аптекарем усыпительных золотых пилюль».

Смутно в Шальве. Смордно! Состарившаяся знахарка Лукерья Болотная вещерица нашептывает людям:

— Прогневила Шальва небеса, не пускают они в себя ее греховный дым!

К чему эти слова, тоже не поймешь. Одно ясно — хорошего не ждать. И как его можно ждать, когда вечер приходит до времени, а утро наступает позднее позднего.

Поздно наступило и памятное утро в последнее воскресенье сентября, когда долго прощавшийся с Шальвой Акинфин простился с нею навсегда. Так он и написал своей рукой на чертежном листке, оставленном на его столе:

«Прощай, Шалая-Шальва, прощайте все! Мне добрые люди открыли глаза, а злые закрыли их. Я ушел из вашей жизни, но не ушел и не уйду из моей гармонии равновесия взаимностей. Из нее нельзя уйти, потому что она единственный способ плодотворного единения капитала и труда. Не торопитесь проклинать своего „золотого змея“, пока не изведаете силу других удавов, удушивших меня, но не мой дух.

П. Акинфин»

Письмо первой прочла горничная Луша и бросилась к телефону. Она сообщила Скуратову:

— Приезжайте, Родион Максимович. Платон Лукич самоубился.

От телефона она побежала к Строганову и разбудила его.

— Платон Лукич повесился... Повесился... Вчера он требовал у меня бельевую веревку.

Луша дрожала и заливалась слезами.

— Да нет, нет... Как же это можно? — бормотал спросонья Вениамин Викторович. — Он не мог... Вам показалось...

— Пойдемте, пойдемте к нему... Я боюсь одна...

Пока одевался Строганов, прискакала конная полиция. Дежурные телефонистки теперь были обязаны слушать телефонные разговоры и сообщать полиции обо всем подозрительном.

Долго искали по множеству комнат Акинфина. У дома собралась толпа. Слух обегал улицы и шальвинские дома.

Безуспешные поиски. Полиции не удалось найти и той самой бельевой веревки, о которой сообщила Луша. Продолжили поиски в парке, и после того, как и это оказалось напрасным, старый горновой домны высказал свои подозрения.

— Это похоже на правду, — подтвердил догадки горнового пристав.

По дороге на домну была найдена бельевая веревка.

— Она! Она самая! — сказала Луша.

И тут же было сделано новое предположение. Предположение о том, что Акинфин передумал и предпочел скорую смерть в доменной печи.

На этом сошлись все, кроме Родиона Скуратова. Он не хотел принимать во внимание и вторую явную улику — карандаш с малахитовым колпачком. Он был найден у въезда тачечников, засыпающих в старую доменку уголь и руду.

Строганов также был уверен, что Платон, не чуждый театральности, не изменил ей. Здесь, в этом месте, началась промышленная династия Акинфиных, здесь и закончил ее собой последний из нее.

Был второй повод думать о самосожжении. Платон говорил Строганову, что ему не хотелось бы оказаться на месте отца и повторить собой оскорбительную для него кощунственную пышность похорон. Им же было сказано о Кузьме Гранилине, что он единственный раз был разумен, когда бросился в пламя своего дома и сгорел вместе с ним.

Более недели продолжались расследования и опросы. Были проверены все догадки, все версии. Было проверено и предположение Родиона Максимовича, стоявшего на своем:

— Такие, как он, не способны лишиться себя жизни! Во имя чего? Я спрашиваю: во имя чего?

Скуратов был убежден, что Платон, знающий все лесные тропы пришальвинских лесов с детства, сбежал. А до этого навел на ложный след бельевой веревкой и карандашом с малахитовым наконечником. Скуратов находил, что письмо, оставленное Платоном, написано без единой поправки, твердой рукой. Так такие письма не пишут перед уходом из жизни.

— И если, — говорил Родион Максимович, — окажется, что Акинфин позаботился и о своих акциях, то о какой же доменке можно говорить?

Но и это никого не убеждало. Письмо он мог написать заранее и переписать его сто раз. Об акциях говорили, что если он в самом деле позаботился о них, то у него же сын. Не сжигать же свои миллионы в печи.

Все в конце концов сошлись на доменке. Глупо же думать о побеге. Не Топов же

он. Не шулер. Кто ему мешал уехать из Шальвы, никому и ничего не объясняя?

Допускали, что верны слухи о продаже заводов. Ну и что? Хозяин же. Он не ответен за это ни перед кем.

Молва недолго волновала людские умы. Для одних Акинфин ушел святым праведником, любившим трудовой народ. Другие назвали его самым притворным обольстителем рабочих, сумевшим держать их в своем добровольном ярме и уползавшим от своего стыда.

Так говорил и вернувшийся в Шальву раненый солдат Савелий Рождественский. Он тоже клялся всем святым для него, что скользкий удав в демократической коже сбросил ее и уполз к таким же, как он, и продал не только Шало-Шальвинские заводы, но и свою родину.

Доводы Рождественского ничем не подтверждались, но его догадкам хотелось верить. И многие поверили в них твердо и бесповоротно после появления в Шальве новых хозяев. Они через переводчиков объявили:

— Теперь заводы будут в надежных и крепких руках!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У нового управляющего была русская фамилия Пивоваров, но по-русски он мог сказать только два слова: «Добрый день». Этими двумя словами и назвалась газета «Шалая-Шальва». Она вышла небольшим бесплатным листком, в котором сообщалось, что «все принадлежавшее обанкротившемуся и уронившему себя в глазах истинных патриотов России акционерному обществу „Равновесие“ теперь принадлежит компании „Планета“».

Далее говорилось, что компания приложит все силы для скорого и победоносного окончания войны. К этому же призывались все работающие на Шало-Шальвинских заводах, которые не пожалеют труда своего, как не жалеют живота своего их кровные братья солдаты, присягнувшие вере, царю и отечеству.

Для доказательства своей преданности вере, царю и отечеству шальвинские рабочие с благоговением примут добавочный военный час, отрабатываемый безвозмездно «во имя ускорения победы и приближения конца скорой войны».

Начались молебны о даровании победы. Коренной поп отец Никодим, когда-то игравший с Платоном в войну, слег. Заболел головокружениями до потери сознания. Пришлось привозить попу из другого прихода.

С Кассой было решено в один день. Пригласили Овчарова и сказали ему через переводчика:

— Какие же сейчас пенсии, пособия и страхования могут быть, когда льется кровь, когда нужно думать не о тех, над кем не рвется шрапнель, а об изувеченных ею?

Овчаров, придя к новому управляющему, теперь называемому генеральным директором, ушел от него постаревшим и сгорбившимся за короткие минуты свидания. Старику теперь не полагалась и пенсия.

Выйдя на улицу, Александр Филимонович встретил Родиона и прохрипел ему:

— Радуйся! Начался настоящий капитализм, без румян, без пряников и без очарованной темноты...

В том же кресле, что и Овчаров, Родион Максимович выслушал решение о своей судьбе:

— Мы оставляем вас с прежним окладом для справок и...

— Не затрудняйте себя, — перебил Родион, отвечая на том же языке, не дав перевести сказанное на русский язык, — мною получено назначение на казенный пушечный Мотовилихинский завод. — Родион встал. Сказал: — Имею честь, — и ушел.

Переводчик нагнал его и спросил:

— Кто же будет сдавать дела, господин Скуратов?

— Как можно сдавать отобранное у меня? Господин генеральный директор без стука вошел в кабинет и сел на мое место. Следовательно, моя должность и мои дела приняты им.

— Мы еще сумеем и успеем поговорить и договориться с этим скотом, — сказал генеральный директор, но сделать этого не успел. В его кабинет влетела среди бела дня фронтовая граната. Она послужила сигналом к волнениям.

Столько лет Шалая-Шальва была смиренной, спокойной Шальвой, а теперь она ошалела и вышла из берегов.

Цехи опустели. Умолкли заводские гудки. Трубы больше не дымят. Погашена старая доменка. Там состоялось богослужение. Выздоровевший отец Никодим сослужил похожее и на молебен, и на панихиду. И не похожее ни на то, ни на другое.

Прикатила правительственная комиссия под председательством вице-губернатора. Выслушали рабочих представителей. Главным из них был старик Скуратов Максим Иванович. Он степенно рассказал, как было дело и что произошло. Хитрый седобородый дипломат сказал вице-губернатору:

— Ваше высокое превосходительство! Разве наши рабочие подняли руку на слугу государя императора, а не на его врага? Чей он верноподданный? Не лютых ли супостатов нашего народа? Литейный мастер Младек, родом чех, признал в нем вражью кровь. И господин Штильмейстер, будучи иноземцем, толкует то же самое. И переводчик его в «Лужке», охмелевши, выболтал, кто он есть, этот генеральный шпион. Так убил ли его кто-то из наших, а может, и из пришлых людей. Ане свершил ли суд праведный, какой вершат наши воины над ними, над супостатами матушки-Руси?

Вице-губернатору очень понравилось сказанное, благочестивым стариком, похожим на угодника, сошедшего с иконы древнего письма.

Два дня переговаривался с кем-то вице-губернаторский телеграфист, неизвестно с кем. Видать, не с губернатором, а повыше, а может быть, и вовсе высоко... На третий день вице-губернатор объявил от высочайшего имени: все Шало-Шальвинские заводы впредь именовать казенными, управителем коих назначается его превосходительство господин Шульжин Феофан Григорьевич...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Перед отъездом в Мотовилиху Родион Максимович Скуратов зашел к Вениамину Викторовичу Строганову в «Гостиницу для всех». Он уже не жил в акинфинском доме, который приводился в порядок для встречи нового и старого управляющего Шульжина.

— Я пришел с вами проститься и рад, что успел до вашего отъезда закончить мое длинное письмо.

— Кому, дорогой Родион Максимович?

— Тому, кого и вы, Вениамин Викторович, теперь считаете живым.

Строганов промолчал.

— Я думаю, Вениамин Викторович, — продолжал Скуратов, не сводя с него глаз, — мы оба не ошибаемся в его здравии и благополучии, как и в его лондонском адресе.

— Если вам, Родион Максимович, известен адрес...

— Я понимаю, что вы хотите сказать... Но я не могу посылать это письмо почтой. Письма проверяются, и особенно идущие за границу. А у вас может случиться оказия. Я не запечатал письмо и приложил к нему копию для вас. Вы же записывали обо всем, что происходило в наших местах. Может быть, пригодится вам и мое письмо... А теперь разопьем самодельной медовой на прощание. Как-никак столько лёт прожили — и, кажется, ни одного разногласия...

Строганов обнял Родиона и поцеловал.

— Если бы я, Родион Максимович, умел не только записывать, но и писать, каким бы светлым и чистым я вас запечатлел...

Они распили отвальную и еще раз обнялись.

Оставляя на столе письмо и его копию, Скуратов сказал:

— Не беспокойтесь, Вениамин Викторович, если оно потеряется. Теперь пишущие машинки не новость. Любочка будет перепечатывать это письмо до тех пор, пока оно не дойдет до своего адреса... И если, чему я не верю, оно не дойдет до того, кто уже в самом деле не сумеет его прочитать, то дойдет до других людей, которым, может быть, тоже, как и вам, Вениамин Викторович, будет бесполезно знать о прожитом, в прогляде на будущее...

После ухода Родиона Максимовича Строганов принялся читать отчетливо и плотно напечатанное письмо.

Вот оно:

«Не называю тебя никак, потому что у тебя нет имени, потому что это письмо не только к тебе, но и к тем, кто похож на тебя, кто повторяет тебя или повторит.

Как жалок, труслив и бесстыден выдуманный тобою твой конец. Тебе, почитателю высоких трагедий, фокуснику усыпительных обманов, можно было бы изобрести что-то пофееричнее и подостовернее.

Ты же умел обольщать и очаровывать тысячи людей так, что и сам верил в свое обольщение, входя в него, как входит вдохновенный артист в свою роль и живет в ней, как в настоящей живой жизни.

Ты выжал из меня самые дорогие порывы моей души. Ты превратил мои знания в свою наживу.

Чем я отличался для тебя от каслинского самородка „Молчуна“, от волшебника замков Кузьмы Завалишина, от замечательного литейщика Младека и от всех самоучек и образованных инженеров, которые в России и в своих странах не нашли применения рукам и талантам? Ты поражал их деньгами. Ты дорого платил им, но во сколько тысяч раз ты получал за это больше?

Вспомни, как озолотил тебя гравер Иван Уланов. Вспомни, как ты пользовался усовершенствованиями, начиная с веялок и кончая улучшением волочения, похищенного у твоего конкурента.

Рядом с тобой хищники, угоняющие плоты камского леса, — маленькие шакалы, дожирающие объедки лесных владык.

Если бы какой-то волшебник мог показать, из чего составились твои миллионы,

то молоховский платиновый ужас показался бы крохотным жульничеством.

Ты обокрал не своего брата, такого же вора, а нацию. И тебя назовут грабителем все люди, которые будут читать это письмо, написанное не мною одним. Для этого у меня не хватило бы ума и знаний.

Ты всегда выглядел пекущимся о работающих на тебя. Я знал, что ты не совсем таков, но находил до последних дней смягчения, обеляющие тебя. В конечном счете ты был лучшим из зол в море капиталистического зла.

Таким, как ты, жизненно необходимо самообороняться заботой о тех, кто работает на них. Это не в их душе, не в их сердце, а в их шкуре и в их страхе борьбы за ее спасение.

Лучше получить шесть „рыбок“ вместо семи, но получить, чем потерять все шесть и остальной улов. А к этому идет и придет жизнь.

Очарование шальвинской темноты легко далось тебе. Не для всех шальвинцев будет легким и скорым освобождение от твоих чар. Может быть, для этого потребуются годы. Кто-то захочет за таких, как ты, пойти в бой, пролить кровь и отдать жизнь. Ее уже отдала зачумленная тобою Мирониха, готовя расплату с Клавдием.

Ты очень любил слова „вдохновенный“, „талантливый“, „созидающий“, „одаренный“, „творящий“. Я не зачеркиваю ни одно из этих слов применительно к тебе.

Ты был одаренным, созидающим, но во имя чего?

Наполеон тоже был талантлив и вдохновенно созидал каждый свой жестокий поход. Лишена ли была созидательной жестокости пыток святейшая инквизиция? И разве ее сила, как и сила Наполеона, не зиждилась на одержимости темнотой?

Тебе и таким, как ты, невозможно понять эти далекие сравнения с твоим маленьким „наполеонствованием“ и узаконенной цивилизованной инквизицией жестокой конкуренции. А между тем все они порождены ослепительной темнотой царящих и порабоощающих.

А ты был темен, обучаясь выборочно, приобретая только те знания, которые тебе могли понадобиться как владельцу своих заводов. У тебя хватило образования, чтобы проглатывать невежественных „молоховых“, таких же недоучек, как и ты, „потаковых“, и не хватило ума, как только ты вышел на большую арену. Тебя проглотили знающие лучше, чем ты, „географию“ капитализма и приемы его широкого порабоощения. Но и они так же самозабвенно темны, не допуская, что, кроме „географии“ закабаления, есть еще история нарастающего раскрепощения человечества.

Для тебя исключено представить это так же, как для черепахи — полет».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чтение письма прервал Клавдий.

Он благопристойен, наряжен и трезв. Ему так же захотелось проститься с Вениамином Викторовичем.

— Не правда ли, сеньор, мы расстанемся друзьями? Я решил на прощанье вручить вам сувенир. Извозчик! — крикнул Клавдий.

Извозчик, стоявший за дверями, внес что-то завернутое в скатерть и по знаку Клавдия ушел. Клавдий готовил сюрприз. Это было видно по выражению его лица и

по тому, как он говорил.

— После того, как самоубийца опозорил нашу династию, мне не понадобится и ее хвастливая летопись, а вам она, может быть, на что-то пригодится.

Клавдий развернул принесенное. Им был ларец с «Поминальным численником».

— Чем я обязан вам, Клавдий Лукич? — спросил Строганов, стараясь скрыть свое волнение и свое опасение за подвох, который можно было ожидать от Клавдия.

— Ровным счетом ничем, — ответил, широко и небрежно жестикулируя, еще более обрюзгший комедиант. — Разве только символической бутылкой «мадам Клико». Пятьдесят рублей. Можно и тридцать пять... Мама, извините, носит карманные деньги при себе, но прячет их там, куда не осмелится протянуть руку даже сын... Она стала изуверски скаредна. Ограбивший нас сэр, как вы знаете, отказал гроши, не достигающие миллиона... Видимо, в последние дни его совесть заставила расплатиться за старую доменку, которую он получил от шулера Топова, не уплатив ему и франка.

Соря словами, Клавдий рассказал, что Калерия Зоиловна решила купить в Екатеринбурге небольшой особнячок, а он будет создавать опереточный театр.

— Ведь доменка-то моя. Моя, мистер Строганов, а не ее... Да зачем ей столько тысяч, когда вот-вот ей нанесет визит престарелая мадам с адамовой головой и косой в руках... Извините за наготу моих предположений, но зачем же принаряжать близость ее конца в одежды розовых надежд... Ба-ба-ба! Это что у вас в графине? Не наша ли уж родная шальвинская медовушка?

— Да! Коли вы, Клавдий Лукич, не пренебрегаете народными напитками, я буду рад, если вы ее допьете.

— Я всегда любил народ! Жил для него. Слагал ему свои песни... И теперь выпью за него.

Говоря так, Клавдий наполнил медовушкой бокал и опрокинул его, допив остатки через горлышко графина.

Строганов тем временем проверил, лежит ли в ларце «Поминальный численник». «Численник» оказался на месте.

— Вот вам пятьдесят...

Клавдий небрежно сунул деньги в карман жилета и сказал:

— Если вам что-нибудь будет нужно из старинных безделушек, я буду рад перевоплотить их в более необходимое для жизни человека...

Закрыв дверь номера на ключ, Строганов вынул «численник» и переложил эту тяжелую книгу на дно дорожного сундука. От Клавдия всего можно ожидать.

Окончание письма Родиона Строганов дочитывал в поезде, когда Шалая-Шальва осталась за Уральским хребтом.

«Я признаю, что собственность цепкая сила... Она бывает и сильнее жизни. Несправедлив тот, кто скажет, что тебе ничего не принадлежит в Шальве. Ты очень много работал. Ты не только перекупал и присваивал чужое, но и создавал свое. Ты продвинул фабричное дело, ты, конкурируя, заставил окружающих тебя фабрикантов улучшать технологию и облегчать труд работающих. Ты внедрил страхование. Какими бы целями ни руководился ты, „сахарными“ или „пряничными“, все же наглядно показал, что рабочие могут жить лучше и есть досыта. Ты по закону твоего же „равновесия“ заслуживал вознаграждения. И ты что-то зарабатывал. Лично ты. Своим трудом. И все же при самой высокой оценке твой годовой заработок проживался не более чем в один день твоей семьей, теми, кто прислуживал ей, и всем, что создавало

роскошь твоего дворца, переименованного в дом и остававшегося дворцом.

Ты пожинал и пожирал в тысячи раз больше, чем сеял и взращивал.

По законам частной собственности ты мог продать свои заводы и по фабрикантской нравственности мог предать свою родную Шальву. Но кому ты продал и предал этот кусок России? Кому?

Тем, кто со мной и с твоими земляками разговаривал через переводчиков? Тем, кто не торгуясь с тобой, бросил тебе жирную кость не за шальвинскую землю, не за прикамские берега, а за то, что лежит в недрах этих земель, о чем не знал ты, сверкающая вершина своего рода, а они прознали давно через своих геологов-лазутчиков?

Дай они тебе вдесятеро больше, они выплатили бы частичку из того, что принадлежит России.

Ты вор! Тебя бы теперь прикончила и Мирониха!

Во все времена, с каменных веков начиная, изменивший своей земле наказывался смертью! Ты мертв для нас! Ты сожжен в нашей памяти... Тебя нет... Тебя нет, хотя ты и есть униженно побежденный, через авантюрного Гущина, твоей женой. Ты теперь стал ее „будуарной принадлежностью“, паразитически рантьерствующей на шальвинские миллионы, переведенные тебе при выгодном посредничестве того же Гущина. Сказал бы точнее, но воздержусь...

Пресмыкайся, пока пресмыкается! Но...

Но час придет, неизбежно придет возвращение всего созданного, добытого, воздвигнутого тем, труду которых обязано оно. И это неминуемо, как бы долго ни отодвигалось возвращение принадлежащего всем и захваченного немногими, убежденными, что это принадлежит им. Принадлежит только потому, что так утверждают ими же написанные законы.

Если до тебя не дойдет это письмо, оно дойдет до тех, кому вынужденно придется затемнять порабощение „равновесиями“ и придумывать различного рода „гармонии“, которых нет и не может быть в мире очарования темноты.

Впереди свет! Впереди солнце!

Р. и другие...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вениамину Викторовичу не довелось превратить свои черновые наброски в задумываемый роман-сказ, роман-притчу.

Он завещал это сделать тому, кого привлекут оставленные им записи, с обязательной заменой имен и названий заводов.

Строганов глубоко верил, что происходившее в Шалой-Шальве не пройдет бесследно для будущих времен и поколений.

Жизнь подтвердила и подтверждает сказанное и будет подтверждать...

1973–1976